



ДЕНИС БУЛЯКОВ • Перекааты

Пере ! кааты

ДЕНИС БУЛЯКОВ



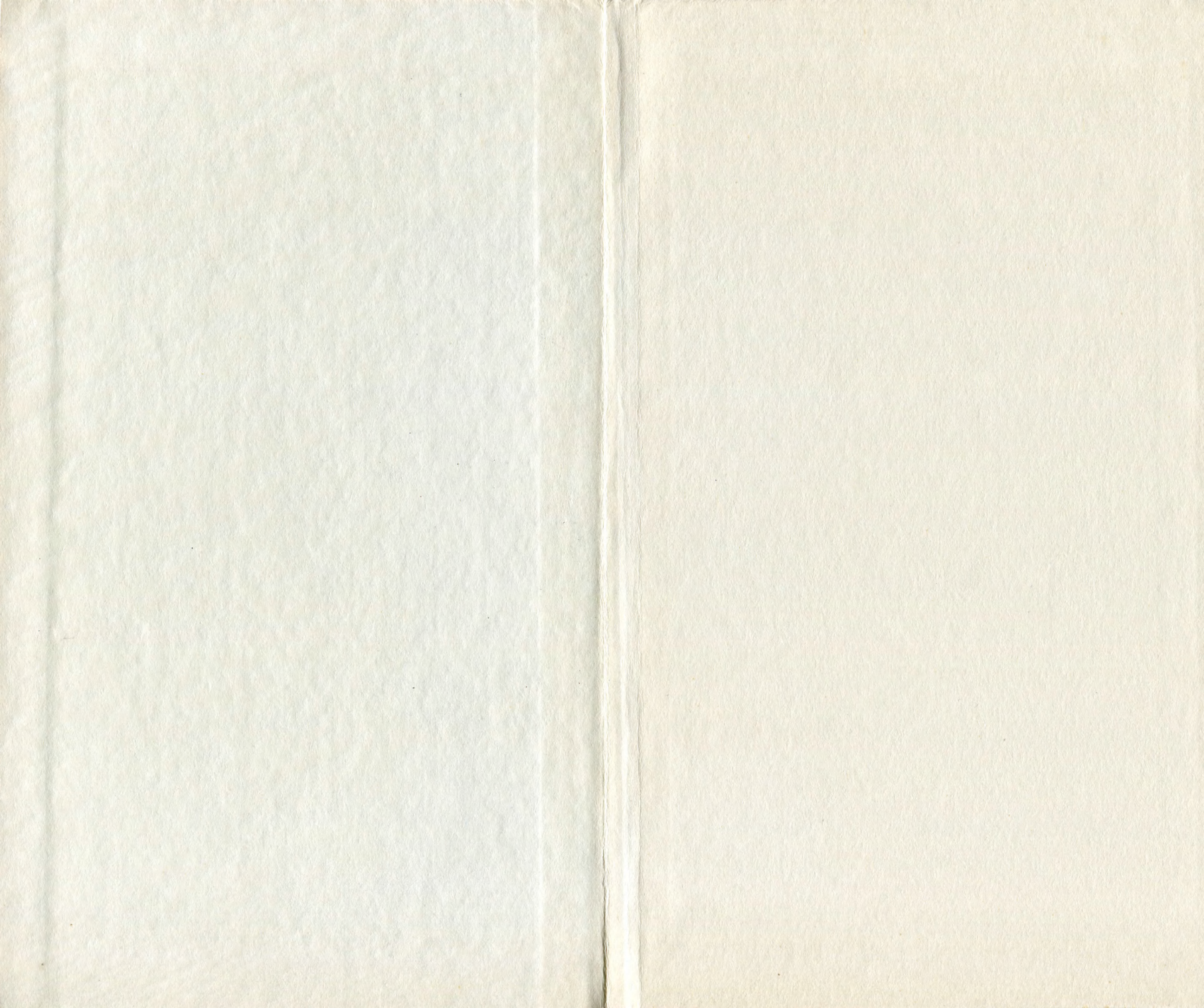
ДЕНИС БУЛЯКОВ

Пере- ! каты



5-11

5-11



Перекаты

ДЕНИС БУЛЯКОВ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ПЕРЕВОД С БАШКИРСКОГО ЯМИЛЯ МУСТАФИНА

МОСКВА
«СОВРЕМЕННОСТЬ»
1988

Рецензенты
Н. НЕФЕДОВ, Ю. ДУДОЛКИН

Буляков Д. М.

Б90 **Перекаты:** Повести и рассказы/Пер. с башкир. Я. Мустафина; Худож. С. Астраханцев.— М.: Современник, 1988.— 286 с.: ил.— (Новинки «Современника»).

У башкирского прозаика Дениса Булякова давно сложился свой круг тем и писательских пристрастий — сложные человеческие взаимоотношения, семья, извечное чувство любви... Жесткими, экстремальными обстоятельствами поверяет он нравственную сущность героев в повести «Перекаты». Психологически углубленно, с большим тактом раскрывается красивая духовная любовь старого художника к молодой женщине, пробудившей у него воспоминание о первой несбывшейся любви, о фронтовой юности (повесть «В час заката»)

Б 4702110000-078
 М106(03)-88 219-88

ББК84Баш7

ISBN 5—270—00254—X



С новестми 3



ПЕРЕКАТЫ

Ночью по Агидели неся длинный плот, составленный из двух звеньев. Чем стремительней и бурливей становилась на порогах река, тем собранней и напряженней работали плотгоны. Они словно не замечали рева и буйства реки.

На переднем плоту чуть мерцали головешки от костра, который давно погас от ливня. Здесь находился пожилой невысокого роста жилистый Сынтимер-агай¹. Вторым плотом управлял рослый двадцатилетний Нургали. Во тьме плотгоны едва различали друг друга. Каждый раз, когда приближался перекат, ведущий плотгон чутко прислушивался к грозному реву реки, делал два-три гребка тяжелым правилом.

¹ Агай — уважительное обращение к старшему по возрасту.

Молодой плотогон, перекрывая шум воды, надсадно закричал, плохо скрывая тревогу:

— Сынtimer-агай, мне в какую сторону голанить?

— Бери чуточку левее!

Услышав уверенный ответ, парень принялся проворно работать правилом. Но Сынtimer охладил его пыл:

— Ге-е-ей, Нургали, не части, не то плот развалишь, черт ты этакий!

— Сынtimer-агай, может, прибьемся к берегу? — вдруг умоляюще предложил Нургали.

— Не-е-ет! Ничего не выйдет, мырза!¹ — прислушиваясь к шуму реки, ответил пожилой плотогон.

— Почему же не выйдет? Ведь...

— Течение быстрое... Берега не видно....

— Что ж берег... Он, должно быть, где-то рядом... Может, костер разжечь? Все светлей...

— Чудишь! Какие же дрова нужны, чтоб в такую сырость разжечь? — Сынtimer не договорил и стал разгоряченно голанить рулем и вдруг крикнул во всю глотку: — Нургали! Родной! Выгребай в обратную сторону! В обратную! На скалы, черт возьми, несет, на скалы!

Некоторое время плотгоны с ожесточением работали правилами молча. Скалистый берег был где-то совсем рядом, это они почувствовали сразу, потому что плотный поток воздуха ударил в лица, стало трудно дышать. А бурливая вода прижимала их к гранитному берегу, изогнула плот дугой. Он наскочил на клыкастые камни переката, содрогнулся, закрипел.

— Нургали, быстрее ее ворочай! — захрипел Сынtimer.

Плот, распоров брюхо об острые выступы каменной преграды, вырвался на спокойную воду. И поплыл тихо, размеренно, похожий на гигантский поплавок. Но вскоре Нургали опять крикнул:

— Сынtimer-агай, впереди перекат!

— Нургали-и-и, ложись! Ложись, говорю!

В следующий миг по плоту ударили упругие ветви деревьев, растущих на прибрежных скалах. Сынtimer успел распластаться на бревнах и только потом осторожно поднял голову, поправил на себе брезентовую

¹ Мырза — обращение к младшему по возрасту.

куртку. Найдя под ногами фуражку, сбитую ветками, напаялил ее на голову и, почувствовав, что опасный участок пути преодолен, медленно встал на ноги.

«Теперь можно и к берегу прибиться», — устало подумал Сынтимер, оглянувшись и не поверил своим глазам — на плоту парня не было.

— Нургали! — закричал он, вглядываясь в темень и прислушиваясь к шуму дождя, барабанившему по воде.

Ответа не последовало.

— Э-э-эй, Нургали-и-и!

Сынтимер бросил правило и, скользя и падая, побежал по бревнам ко второму звену плота.

— Мырза! Нургали-и-и! — Плотогон оступился и сильно ушиб бедро. Когда Сынтимер осмотрелся, то со стороны скал, точно из-под воды донесся истошный крик.

— А-а-а! Ы-ы-ы!

Сынтимер моментально понял, что необходима помощь, и, намотав чал на руку, прыгнул в воду. Хорошо, Агидель на этом участке не была столь быстрой и глубокой. И все же Сынтимеру пришлось приложить немало усилий, чтобы выбраться на берег. Он торопливо закрепил чал за дерево и стал подтягивать плот к берегу... По запаху, который исходил от ломающихся под ногами веток, Сынтимер определил, что он привязал плот к черемухе. «Черемуха упругая, выдержит», — подумал плотогон, жадно вдыхая с детства хорошо знакомый запах. Однако увлекаемый течением плот вырвал дерево с корнем и понесся дальше. Опытный глаз Сынтимера заметил, что плот хотя и медленно, но прибавался к берегу.

Вырванная с корнем черемуха волочилась некоторое время по берегу и, зацепившись за ветви мощной ветлы, застряла. Натянутый, как струна, чал выдержал напор воды, и плот, вскоре присмирив, медленно пристал к берегу. Теперь уже Сынтимер окончательно закрепил чал к могучему стволу ветлы, а мысли его все время были заняты Нургали. «Куда же он мог подеваться?» Сынтимер, беспрестанно аукая, пошел вдоль берега. Он то и дело спотыкался о коряжины, обходил завалы бревен, принесенных в половодье, каким-то чудом избегал хлестких ударов веток, отяжелевших от воды... Промокшая насквозь одежда

прилипла к телу и мешала идти. Но Сынтимер упорно преодолевал тяжелую дорогу, продираясь сквозь густой кустарник, с трудом переставляя ноги в резиновых сапогах по размокшей глине, и продолжал неистово звать напарника.

— Нургали-и-и! Браток, где ты?

— Я здесь, Сынтимер-агай! — вдруг совсем рядом откликнулся парень, выбираясь из реки на берег.

Оказывается, когда проплывали теснину, на перекате его смахнуло с плота ветками, низко нависшими над водой. В первые секунды Нургали ничего не понял. Его понесло водой, он начал захлебываться и по чистой случайности зацепился одеждой за прочную ветку и повис над бурлящим потоком. Растерявшись, парень даже не успел крикнуть и позвать на помощь... Потом с большим трудом ему удалось как-то отцепиться от ветки, и он снова оказался в воде, откуда едва выбрался на берег.

— Ну, мырза, и везучий же ты! — хлопая парня по широкой спине, радостно говорил Сынтимер. — Ну и напугал ты меня изрядно... В такую погоду и днем-то нетрудно пропасть. Вот так вот, брат! — Оба плотогона вздохнули облегченно.

— Плот унесло? — в отчаянии спросил Нургали, вонзив тревожный взгляд в темную, грозную реку.

Сынтимер отмолчался и направился назад, продираясь сквозь густые кустарники, облепившие все побережье. Следом плелся парень.

— Радуйся, что сам живой остался, — буркнул Нургали через некоторое время. — Вот переждали бы ночь на берегу, как я говорил, глядишь бы, все и обошлось. А то давай, давай! Все торопил, словно кнутом меня подгонял.

Сынтимер шел молча, потом приостановился, достал из кармана портсигар, но, увидев, что в него попала вода, застыл в крайнем огорчении. Портсигар щелкнул, и он опять его сунул в карман.

— Прости меня, Сынтимер-агай, — неожиданно горестно вздохнул Нургали. — Во всем я виноват... Да-а-а, плотика нет, видно, на нижнем перекате застрял... Развалится... Лес-то был предназначен для сруба в основном... Какая жалость... — сокрушался парень, с трудом сдерживая внутренний протест против спокойного агая.

— Вот здесь и заночуем теперь,— сказал старший плотогон.

Нургали заметил раскачивающийся возле берега плот. От внезапно нахлынувшей радости парень порывисто обнял Синтимера.

— Агай! Какой же ты молодец! — тараторил в радостных чувствах Нургали.— Пребольшущее спасибо! Спасибо, агай. Такого смелого человека вижу впервые! Ты же рисковал жизнью, Синтимер-агай!.. Из-за моего плота, моих бревен...— Затем, чуточку поостыв, добавил: — Пока добирался сюда, я уже разные разности успел передумать. Ведь за эти бревна деньги выложены — и немалые. Дом мне надо поставить, сарай... Да что я тебе рассказываю, ты же и сам все знаешь.— И тут Нургали торопливо сбросил с себя стеганку, насквозь пропитанную водой, затем с той же поспешностью вошел в реку, по мелководью добрался до плота, взял оттуда широкую доску и перекинул ее мостком на берег. Молча бросил самодвольный взгляд на напарника, мол, как я распорядился? И стал перетаскивать по доске-трапу вещи с плота на берег.

Старший плотогон молча наблюдал за суетливыми действиями парня.

— Мигом палатку раскинем, Синтимер-агай,— деловито сказал Нургали, устремив взгляд куда-то в пространство.— У меня и сигареты должны быть сухие.— И тут он по-хозяйски занялся рюкзаком: развязал, порылся в вещах и вытащил бутылку водки.— На-ко, поддержи, агай!

Взяв в темное протянутую бутылку, Синтимер ворчливо сказал:

— С эгим всегда успеется. Давай-ка сначала вынесем на берег жезь, на которой костер разводили. Донеси с золой и с головешками в сохранности... Сам понимаешь, что за житье в эдакую темень без огня?!

Занявшись устройством ночлега, плотогон перенесли на берег все необходимые на первый случай вещи и сложили их под могучим вязом. Место оказалось относительно сухим и удобным.

Пока Нургали устанавливал палатку, Синтимер успел надрать бересты. И вскоре над железным настилом заплясали слабенькие язычки пламени. Капли дождя, падая на горячую жезь, шипели, пузырились.

Костер постепенно набрал силу. Не прошло и получа-са, как пламя костра уже металось по сторонам крас-ным полотнищем, заставляя причудливо плясать об-ступившие деревья.

Сынтимер подвесил над костром котелок с водой для чая и стал возле огня сушиться. Нургали тоже разделся донага и развесил близ костра одежду. Вско-ре от белья, одежды повалил пар.

— Теперь, пожалуй, можно и закурить,— предло-жил Сынтимер и прикурил от костра две сигареты. Одну дал парню, а второй затянулся сам, с наслаж-дением вбирая в легкие табачный дым, блаженно улыбался.

— Хо-ро-шо-о-о-то как! Мы тут словно лешие сто-им, хе-хе...

Старший плотогон подобрел лицом, исчезли мор-щины, пропала постоянная грусть в глазах.

— Агай, вот если бы сейчас кто-нибудь набрел на нас, то, наверное, со страху драпанул так, что ника-кая гончая не догнала бы! Ха-ха-ха! — Нургали раз-вел широко руки, растопырил пальцы, зашевелил ими, словно щупальцами, и был готов защекотать свою жертву как леший. Потом дико захохотал и подпры-гнул на одной ноге. Оба плотогона раскатисто засме-ялись. Недавно пережитые страх и тревога были на-прочь забыты. А когда еще хлебнули по полкружке водки, то мир стал для них необыкновенно красивым и добрым.

— Сынтимер-агай, вот если б сейчас из лесу вы-скочил медведь и стал преследовать нас, как забавно было б! — неуклюже ворочал отяжелевшим языком Нургали.— Ты только представь: убегая от медведя, мы в эдаком виде врываемся в деревню, а? Каково?!

— Не мели пустое,— прервал его Сынтимер,— тут в округе ни одной деревни, ни одной живой души нет. Драпануть тебе пришлось бы только по берегу.— Стар-ший плотогон окинул насмешливым взглядом пышу-щее здоровьем тело Нургали. Тугие мускулы парня так и перекатывались буграми под кожей, длинные сильные ноги крепко стояли на земле и уверенно дер-жали мощный торс. Затем Сынтимер невольно срав-нил себя с этим великолепно сложенным, сильным парнем. Разница между ними была такова, как между небом и землей. «Да, годы идут, жизнь проходит,

течение ее необратимо», — подумал он горестно с необъяснимой жалостью к себе. Затем он вдруг торопливо натянул брюки и пристроился на пеньке. И сам того не замечая, принялся поглаживать правую ногу. Эта покалеченная на войне нога всегда напоминала о себе, когда он попадал в холодную воду, ее начинало ломить, она ныла, не давала ночами спать. А все из-за проклятой войны!

Сынтимер оказался на фронте еще желторотым юнцом. Ему тогда и восемнадцати-то не было. Поначалу его обучили шоферскому делу. А он был так мал ростом, что в кабине его под нулевку остриженная голова едва была видна из-за руля. Чтоб не стать предметом едких насмешек острозыких солдат, он, сядя за руль, подкладывал под себя бушлат. Своим хилым телосложением он был обязан прежде всего голодному и потому неласковому детству. Дружеские подначки товарищей забывались, зато душу его всегда согревало гордое чувство солдата — защитника Родины, освободителя. И в такие минуты Сынтимер забывал о своем неказистом росте. Ведь в освобожденных селах и городах его так же сердечно обнимали плачущие женщины и старушки, девушки и мальчишки, как и всех его товарищей. Нет, рост был не помехой в освобождении народов от коричневой чумы фашизма. Пол-Европы проехал молодой башкир на военных машинах, возил боеприпасы на передовую линию. Несколько раз фашистское железо оставляло отметины на его теле. Вот и сейчас он сидит у костра, болезненно прикусив губы.

— Что, агай, опять нога? — спросил Нургали, чувствуя перед ним свою вину. Это из-за него старый солдат оказался в воде...

— Угадал. Ничего, думаю, скоро пройдет...

— А ты, Сынтимер-агай, ногу-то поближе к огню держи. Чтоб тепло в самое нутро проникло, — посоветовал Нургали. Затем оделся и, присев на рюкзак, спросил: — Как тебя ранило, агай, где?

Но тут же, поняв, что вопрос задан не совсем кстати, покраснел.

— Сам доездили... — ответил Сынтимер грубовато, видно огорченный бесцеремонностью напарника. Но, увидев искренне-недоуменный взгляд Нургали, помягчел душой и, несколько успокоившись, подумал: «Что

это я? Да разве он виноват в чем?» Еще раз бросил взгляд на напарника, усмехнулся своей взбудораженности, посидел некоторое время молча и, закулив новую сигарету, заговорил ровным голосом:

— Я ведь шофером воевал. Как-то отвез на позиции снаряды, а на обратном пути заехал в медсанбат. Забрал раненых и повез в госпиталь. Такой я тогда, значит, приказ получил. Еду я эдак по фронтовой дороге, мотор работает отменно. Машину я холил все равно что аргамака. Сам понимаешь, фронт есть фронт. Рядом со мной санитарка сидела, а в кузове, значит, раненые. И вдруг машину страшно тряхнуло и отшвырнуло в кювет. Взрывом снаряда выхватило с корнем всю моторную часть. Санитарку убило наповал. Сам я отделался вот...— и Сынтимер осторожно провел рукой по тонкой ноге.— А после меня вместе с оставшимися в живых ранеными тоже доставили в госпиталь.

Вода закипела, и Сынтимер прервал свой рассказ. Вдруг Нургали вскочил, побежал в сторону леса, взяв из вещевого мешка карманный фонарь. Вскоре он вернулся довольный, сияющий, держа в руках пучок душицы. Тут же и Сынтимер почувствовал пряный аромат полевых цветов.

— Как ты только нашел? — удивился старший плотогон.

— Здесь неподалеку, оказывается, поляна,— кивнул Нургали в сторону, откуда только что вернулся.— Мне даже показалось, что вдалеке собаки лаяли... А потом, агай, красивое и сладкое я за версту чую! — Лицо парня расплылось в довольной улыбке.

— Знать, только слышалось. Тут, мырза, поблизости — ни одной деревеньки. Я не раз здесь днем проплывал. Видно, показалось тебе...

Нургали задумчиво ответил:

— Нет, Сынтимер-агай, то был собачий лай...

А Сынтимер махнул рукой и бросил в кипяток весь пучок душицы. Вдохнул запах, прикрыл глаза, лицо озарилось улыбкой.

— Хоро-о-ошо! Давай подкрепимся.

Дождь уже почти перестал. По небу плыли надутыми матрацами мрачные тучи, и от этого казалось, что оно вот-вот упадет на землю.

Нургали вскинул голову и заметил:

— А дождь-то прошел!

— Не радуйся, скоро снова польет,— уверенно ответил Сынтимер.

Затем плотогоны поели и, попив чаю, расположились на ночлег. У костра было тепло, и в палатку перебираться расхотелось. Наблюдая огненную пляску костра, Нургали неожиданно приподнялся и сказал:

— Агай, ведь ежели пораскинуть мозгами,— начал он,— удастся ли нам еще когда-нибудь вот так вдвоем посреди темной ночи лежать возле огня. Вокруг горы, непроходимые дебри, может быть, сюда и нога человека не ступала...

— Да, брат, ты, пожалуй, прав, такое вряд ли еще повторится,— серьезно ответил Сынтимер и тронул прутиком костер. Искры мотыльками вспорхнули вверх и, треща, погасли. Лицо старшего плотогона стало задумчиво-печальным.— Ты понимаешь, мне это все напоминает фронтовую обстановку. И этот дождь темной ночью, и дым костра, и наркомовские сто граммов... Только единственная разница — вокруг тихо...

Прислушиваясь к ночной тишине, плотогоны замолчали. Но вскоре убедились, что кажущаяся тишина наполнена самыми различными звуками. Было слышно, как потрескивает костер, точно невидимые лилипуты ломали былинки. Временами какая-то ночная птица, перелетая с ветки на ветку, сбивала капли воды с листьев, и тогда по дереву пробегал тревожный шелест. Справа вдалеке где-то натужно ухал филин... Порой до слуха долетали странные звуки, издаваемые какими-то зверями. А ниже по течению рокотала на перекате Агидель. То и дело стонет и скрипит причаленный к берегу плот.

Нургали придвинулся ближе к огню и заговорил:

— Сынтимер-агай, честное слово, если до дома доплывем в добром здравии, то по осени на нашей свадьбе ты будешь сидеть на самом почетном месте.

— Спасибо, друг,— спокойно отозвался Сынтимер, прихлебывая уже остывший чай.

Нургали встрепенулся, резко вскочил на ноги. Подбросил в огонь хворосту. Мириады искр взметнулись над костром, устремились в черную бездну неба.

— Зачем такой сильный костер разводишь? Вдруг займется огнем вяз? Ты ж понимать должен, дерево

загубим! — недовольно сказал СынTIMER, полулежа наблюдая за действиями напарника.

— Хэ-э-э! Что там дерево, агай? — откликнулся Нургали, странно блестя глазами, но осекся и не закончил мысль. Он нервно продолжал ворошить костер палкой. СынTIMER молча следил за напарником и, пристально вглядываясь в него, уже который раз восторгался им — парень действительно был красив. Над его большими глазами словно ласточкины крылья распластались черные брови, над крутым широким лбом нависали пряди смоляных кудрей. Правильной формы нос с легкой горбинкой, чуть вытянутые к уголкам тонкие губы, квадратный подбородок — говорили о самолюбивом и твердом характере парня. С нескрываемым любопытством продолжал СынTIMER разглядывать своего спутника. И, придя в своих размышлениях к какому-то выводу, покачал головой:

— Еще раз спасибо тебе, брат, что хочешь посадить меня на своей свадьбе на самое почетное место. После таких слов, если даже не позовешь, не обижусь. Ты обрадовал меня.— В этот миг пламя костра качнулось в сторону СынTIMERа и высветило испещренное пигментными пятнами лицо его и глубокие складки морщин на лбу, лохматые брови и жесткий взгляд небольших глаз. Но в следующий миг он шумно вздохнул и вдруг оживился.— Знаешь, мырза,— обратился он к напарнику, скрестив ноги и усевшись по-турецки,— сколько я в своей жизни плотов прогонял по этой реке да сколько изб срубил?

— Сколько? — не удержался, спросил Нургали. СынTIMER засмеялся.

— Как тебе сказать...

— Но все-таки, СынTIMER-агай, вел же, наверное, счет?

— Должно быть, много изб в своей жизни я поставил, очень много...

— А если примерно все же прикинуть, около ста или более?

— Может быть, двести? Я не считал. Да и запоминать все — мудрено. Но вот одно меня иногда смущает, мырза.

— Что именно? — загорелись любопытством глаза Нургали.

— Сколько счастливых семей живут в домах, срубленных вот этими руками,— и Сынтимер любовно посмотрел на свои сухие широкие ладони, усмехнулся,— а сам я все еще в старой избе обитаю. Ты не удивляйся, мырза, я мог бы уже несколько раз поменять жилье, но привычка... Понимаешь, привычка... Недаром говорят: привычка — вторая натура. Если хочешь знать, поставить дом — это надо соединить сердца двух любящих друг друга людей. Сколько изб таким я срубил! Попробуй пересчитай...

— Выходит, Сынтимер-агай, ты в холостяках мыкаешься,— улыбнулся Нургали, как будто открывая для себя радостную новость и совсем не ведая, что ляпнул глупость. Но парень заметил, как на просветлевшее лицо Сынтимера будто напоззли тучи темнее тех, что висели над их головами. Кустистые, тронутые сединой брови его в крутом изломе низко опустились на глаза, взгляд стал мрачным, и никакой ясновидец не мог бы угадать, на какие мысли натолкнул Сынтимера бестактный вопрос парня. Помолчав, старший плотгон холодно сказал:

— Ты в мою душу не лезь, мырза. Ты молод еще. Все мое во мне...

— Оно конечно... Я брякнул не подумавши,— покладисто согласился Нургали, хотя его самолюбие и было уязвлено резким тоном старшего плотгона.

Парень смекнул, что он невольно сделал попытку вторгнуться в тайну души человека, который помогает ему сплавливать бревна для будущего дома. Дал согласие своими руками подвести сруб под крышу. Кто-кто, а Нургали знает, коль Сынтимер взялся за дело, то такой дом поставит, что любо-дорого будет посмотреть на него! Не дом — игрушка. Потому-то слава о золотых руках Сынтимера давно разнеслась по округе! Так что резкий тон мастерового можно снести, лишь бы он свое обещание сдержал.

А ведь какая молва ходит среди односельчан о мастерстве Сынтимера! Говорят, хоть трактором волоки любой дом, срубленный руками мастера, и ни одно бревно не сдвинется с пазов, ни одно стекло не треснет в окне, встанет дом на новый фундамент, как на прежний. И живи человек на новом месте припеваючи! Что и говорить, а руки у этого человека действительно золотые,

Однако случилось так, что за последние два-три года Сынтимер ни одного дома не возвел. Поговаривали, будто его мучит боль в пояснице, в ногах... Вообще-то, так оно, возможно, и было: сельчане замечали, как Сынтимер, в особенности весной или осенью, неделями ходил, болезненно припадая на раненую ногу. Да, наверное, ранения давали о себе знать. Однако никто в деревне не припомнит случая, чтобы Сынтимер отказывался от поручений бригадира в колхозе. Он всегда брался за дело горячо и доводил его до конца с отменной аккуратностью. Таким был этот бывший фронтовик. Он отдыха себе не позволял. Люди, хорошо знавшие Сынтимера, никогда не проверяли качества его работы. Они этим боялись его обидеть. Но так вот случилось в жизни этого человека, что он, как сапожник без сапог, остался без избы. И коротает Сынтимер свои дни в стареньком срубе. Зная, что он уже не занимается плотницким делом последние годы, люди постепенно привыкли к этому. Даже то, что меньше стало из-за него новоселий у молодоженов, сельчане воспринимали как должное, но все равно из других деревень шабашников не приглашали.

Однако когда к Сынтимеру пришел Нургали и попросил его помочь сплавить бревна для дома и потом поставить сруб, он преобразился. Чем уж парень расположил хворого, мрачного Сынтимера, неизвестно. Особенно сельчане много судачили, как это мастеровой согласился сплавливать лес по Агидели! С его-то ногой, простуженной спиной!

— Ну что ж, коль такая надобность приспела,— проговорил Сынтимер, многозначительно сверкнув глазами,— можем и бревна в деревню сплавить, и дом, какой тебе хочется, поставить! — На этом разговор и закончился. Цену за работу не назначали, бутылку за удачу не распивали.

В этих башкирских краях так уж заведено, что лес для дома покупают в леспромхозе, что в верховьях Агидели, затем сколачивают бревна в плоты и сплавляют вниз по течению. Дело это выгодное: за транспортировку денег больших не надо, да и лес в этом леспромхозе отменный — сплошная сосна. А Нургали так просто повезло: бревна для его дома придирчиво отобрал сам Сынтимер. Плот сбивал и связывал

тросами тоже сам СынTIMER, предоставив будущему молодожену лишь роль активного подсобника.

А характерец у СынTIMERа не конфетка, можно сказать, даже жесткий, с людьми сходится нелегко. Но на этот раз, как ни странно, а с Нургали плотник вел себя обходительно, разговаривал с доверительной почтительностью. А в сущности, никакой странности в его поведении не было.

...В армии Нургали отслужил штабным писарем — у него был красивый почерк. После демобилизации попытался поступить в институт, но преодолеть конкурсный барьер не смог и вернулся в родной дом, чтоб работать секретарем сельсовета, благо поднаторел в армии в бумажных делах, и вскоре был обласкан председателем сельсовета, человеком авторитетным, деловым. Председатель был так расположен к нему, что даже позволял пользоваться сельсоветским «Москвичом». И Нургали ездил на бордовом «Москвиче» в районный центр по делу и без дела. Он любил сидеть возле своего руководителя, явно давая понять всем, что он тоже не лыком шит.

...Так было и в тот день, когда Нургали катил из райцентра к себе домой и на полпути велел водителю остановиться: еще издали он заметил ковыляющего по пыльной обочине СынTIMERа.

— Садитесь, СынTIMER-агай, прокатим с ветерком! — самодовольно крикнул секретарь сельсовета.

СынTIMER строго посмотрел из-под лохматых бровей на недавнего солдата и молча сел на заднее сиденье. По дороге разговорились. И выяснилось, что односельчанин ходил в райцентр.

— Хотел фронтового друга разыскать, — просто-душно признался СынTIMER. — Да вот незадача, никто толком не сумел помочь.

— Видно, друг-то хороший был? — любопытствовал Нургали.

— Как тебе сказать... Вместе из когтей смерти выкарабкивались. Иван тоже шоферил. Была одна лишь разница между нами: я доставлял боеприпасы на передовую, а он вывозил оттуда покалеченных в тыл...

— На санитарной, что ли, шоферил?

— Ага, на санитарной. Бывало всякое. Когда Ване приходилось туго, я ему подсоблял. А как забавно мы с ним познакомились! Подружились мы уж после. Во-

дой не разольешь. А встретились мы так. Раздавали как-то фронтовую почту. Ты, конечно, не знаешь, как это происходило. Полевой почтальон приходил в каждое подразделение,— оживленно рассказывал Синтимер.— Тут его, значит, окружали со всех сторон, конечно, если была передышка. А уж коли бой, то почтальон проползал, как только мог, к каждому, кому было письмо. Но в тот раз обстановка была более-менее спокойная. Слышу, почтальон выкликает: «Где башкир? Ему письмо!» «Башкир — это же я», — подумал я и тут же бросился к почтальону. Ты сам служил, знаешь цену солдатскому письму. Но не тут-то было. Подбегает к нему совсем незнакомый солдат и вырывает письмо из рук почтальона. А сам улыбается и говорит мне: «Нет, дружище, это письмо мне!» Оказалось, что фамилия его Башкиров.

— Это и был Иван? — спросил Нургали.

— Вот именно. Потом-то мы уж крепко подружились с этим сибиряком...

Пока они ехали, переговариваясь о том, о сем, Нургали осенила мысль:

— Синтимер-агай, а что, если я попробую разыскать твоего друга? А? Принеси-ка завтра же мне в контору все свои бумаги...

Нургали поначалу принялся разыскивать фронтового друга Синтимера ради спортивного интереса, но потом втянулся, поскольку повсюду стали вести такие поиски, о них писали в газетах, и все это становилось важным делом, мимо которого уж никак не мог пройти секретарь сельсовета. И надо же было такому случиться, что его старания принесли желаемый результат.

Однажды секретарь сельсовета официально вызвал Синтимера, послав за ним рассылную. Когда фронтовик пришел в сельсовет, Нургали торжественно вручил ему адрес его фронтового друга. Что происходило далее, Нургали теперь не помнит, но до него дошла весть о том, что будто бы Синтимер съездил к своему другу. Все эти мелочи, касающиеся хромого фронтовика, больше его не интересовали, тем более что скоро подвернулся случай перейти на более интересную работу. Объявили набор на курсы экономистов. А Синтимер с того дня считал себя должником секретаря сельсовета, постоянно благодарил в душе Нур-

гали, который помог ему найти фронтового друга, по сути — кровного брата. Не иначе как со слов Сын timers утвердилась в деревне молва, что Нургали не только чуткий и добрый парень, но еще и дельный работник в колхозе.

И вот этот самый внимательный и умный Нургали является однажды к Сын timerу с просьбой помочь сплавить бревна и поставить дом. И Сын timer соглашается выполнить всю эту хлопотливую и нелегкую работу. С этого дня для Нургали в деревне не было человека ближе Сын timerа. Эти чувства еще более окрепли, когда его Бибинур заявила:

— Не выйду за тебя замуж, пока не поставишь свой дом.

Девушка этим условием думала чуть отложить свадьбу, ведь если даже расторопный Нургали купит лес, то плотников-то не так быстро найдет.

И вот теперь, сидя у костра, когда у берега покачивался плот из бревен для будущего дома, он — Нургали — уже видит свой дом, самый красивый в деревне, срубленный самим Сын timerом, а на крыльце дома — красавицу Бибинур... От такого воображения сладко закружилась чуть хмельная голова. «Срубить дом для меня должен обязательно Сын timer, потому надо вести себя с ним по деликатнее, — подумал Нургали, — постараться не наговорить лишнего, ненароком не разгневать мастера. Что он живет бобылем, так это его дело личное. Кто знает, может, такой образ жизни ему по душе. Да не так уж он молод». Поразмыслив, Нургали решил незамедлительно исправить свою ошибку:

— Прости меня, Сын timer-агай, за мои слова! — сказал он извиняющимся голосом.

— А что ты, друг, сказал? — встрепенулся Сын timer, словно проснувшись. Значит, они долго просидели молча, каждый думая о своем. Слова Нургали застали Сын timerа врасплох.

— Прости, говорю. Давеча сдуру не то ляпнул...

— А-а... — вдруг оживившись, благодушно отозвался Сын timer. Видно, искреннее признание парнем своей бестактности пришлось ему по душе. — Ну и что тут такого, мырза, вот и живу себе холостяком. А в жизни всякого с избытком отведено: и сладкого, еще больше горького...

— Война, должно быть, все это преподнесла...— высказал собственную догадку Нургали.

— Может быть... Но народ недаром говорит, что дыма без огня не бывает. Кто знает, может быть, во всем этом я сам и виноват.

Почувствовав перемену в настроении мастера, Нургали осмелился повести разговор на затронутую тему.

— Почему бы вам не жениться? — напуская на себя благодущие простачка, мягко заговорил парень.

У Сынтимера ни один мускул не дрогнул на лице. Казалось, что вопрос касался не его. Он спокойно во-рошил прутиком костер.

— Теперь уже поздно, мырза, — наконец откликнулся он грустно и подкинул очередную порцию хвороста в огонь. — Чему положено гореть, уже сгорело. Один пепел остался... — загадками заговорил Сынтимер.

Нургали не понял смысла его слов, но тем не менее счел нужным заметить:

— Но ведь и под пеплом порою остаются угольки. Вспомните, как мы разожгли вот этот почти было потухший костер! — Нургали хмыкнул, видно, был доволен своим остроумием.

— Потухший было... — задумчиво произнес Сынтимер и уставился на парня. — Неужели такое может быть, мырза? — спросил он, оживившись. И вдруг в его душе всколыхнулось совершенно ему непонятное, давно забытое желание вернуться в свои юношеские годы, сбросить с плеч груз прожитых лет, оказаться там... И его глаза залучились молодым блеском, радостью.

Нургали смотрел на старшего плотогона удивленно, не понимая столь резкой перемены в его настроении. Таким вдохновенным никогда еще ему не приходилось видеть этого замкнутого человека.

— Да, да, агай, — поспешил завершить парень, — может быть! Люди другой раз не знают, какой силы огонь в их душе!

Сынтимер молчал, с затаенной надеждой вглядываясь в своего собеседника. Вдруг его голова упала на грудь. Можно было подумать, что фронтовик уснул внезапно.

— А ведь, мырза... я был женат... — выдохнул тя-

жело Сынтимер дрогнувшим голосом и, помолчав, продолжил: — Получилось так, что семейная жизнь у меня не заладилась. С душой что-то приключилось. Рвалась она куда-то в дальние дали... — Сынтимер поднял голову, опять уставился на парня, как бы спрашивая, стоит ли перед ним во всем открываться? Но сам же не выдержал и заговорил: — Бывало, лежу я в постели, обняв свою жену, а мысли мои где-то далеко-далеко... Я и сам тогда еще не мог понять, куда меня эти шальные мысли влекли. Что за жизнь была, сам понимаешь.

От такой откровенности собеседника Нургали просто-таки ошалел. Ему подумалось, что в своей родной деревне Сынтимер до сегодняшнего дня жил как орех перасколотый. Станный он человек, оказывается, трудно его понять. Но тут ход его мыслей снова прервал Сынтимер.

— ...Пожили мы с ней недолго. Оба чувствуем, что в нашей жизни что-то не так. Откровенно поговорили. Она оказалась понятливым человеком, каких, честно говоря, теперь встретишь редко. Сошлись на том, что нечего нам мучить друг друга, и разошлись мирно, спокойно. Без суда и разных там разбирательств. — Сынтимер закурил новую сигарету. — Разошлись-то не сразу. После первого разговора еще два года прожили вместе. Какая-то жалость странная друг к другу между нами пробудилась. Может быть, потому, что был у нас ребенок, который, правда, прожил недолго... А на второго ребенка ни у меня, ни у нее уже смелости не хватило. Страшно хоронить малое дите... Если серьезно подумать, жизнь женщины подобна полевому цветку. Пока молода, она могла еще устроить свою жизнь. Зачем ей со мной горе мыкать? Так решил я и подался в свои родные края. Вот так-то вышло в моей жизни, мырза...

Сынтимер умолк и, как бы сбрасывая с себя тяжесть печальных воспоминаний, глубоко вздохнул. Сидел он теперь перед огнем совсем как старик — сгорбившись, опустив плечи. У Нургали невольно появилась к нему жалость.

— И ваша жена осталась там?

— Да, осталась... То было уже после войны. В те годы меня часто донимала раненая нога, потом вдруг с легкими стало худо. Доктора сказали, с войны это.

Мы познакомились с ней в больнице. Медсестрой она работала. Потом поженились. Хороший человек она, да и внешностью не подкачала. Вот и подумал я, стоит ли чужую жизнь калечить? В общем — разъехались. Но она потом несколько раз приезжала ко мне. Ты тогда еще был маленьким, должно, не помнишь ее. Любить она меня, наверное, любила, но приезжала скорее из жалости ко мне. А я не люблю, когда меня жалеют. — Синтимер замолчал, а потом заговорил еще горячее: — Зачем же свою нелегкую долю перекладывать на плечи доброго человека? Вот я и сказал, чтобы она больше ко мне не приезжала, а коль встретит человека по душе, то пусть выходит замуж, молода, улыбнется еще счастье. Я словно в воду глядел, встретила она стоящего человека. Хорошо живут. Откровенно говоря, с той поры мне стало вдвойне тяжелее. Никак не могу сам в себе разобраться. На роду, видно, написана мне такая доля... Когда болезнь отпустила меня, я охотно ставил людям дома, радовался их новоселью. Но стоило остаться наедине, бывало, плакал, готов был землю грызть. Вот так и жил, мырза... Однако прости... Что-то разоткровенничался я сегодня.

Синтимер замолчал, а Нургали тоже не подавал голоса. Лишь было слышно, как потрескивают в костре дрова да шумно катит свои воды Агидель.

Нургали находился под впечатлением услышанного и подумал: а мог бы он вот так прожить честно, делая людям добро бескорыстно и при таком здоровье, как у Синтимера? И парень не мог ответить себе. Больно уж они были разными людьми.

Жизнь у Нургали вся как на ладони. Пересказать ее в трех словах можно. Окончил неплохо среднюю школу, отслужил в армии, теперь экономист колхоза. Вот и все. А в душе Синтимера-агай море всего — и горечи, и радости. И они постоянно напоминают о себе. Разве может нормальный человек забыть голодные годы! А фронтовые дни и сегодня снятся... И Синтимер просыпается в холодном поту от воя падающих на него фашистских бомб или от собственного крика — умоляет хирургов не ампутировать ногу... А Нургали ведь только сегодня узнал немного из нелегкой жизни этого человека и поразился его жизнестойкости. И в то же время судьба Синтимера пока-

залась ему запутанной и таинственной. И как Нургали хотел проникнуть в душевную тайну этого человека! Для чего ему это, парень бы и сам не ответил. Но знал одно, что знать чужую тайну нелишне для него.

Однако в следующий миг Синтимер снова замкнулся и больше уже ни слова не говорил о себе. Видимо, он уже корил себя за то, что распахнул душу перед желторотым пареньком, который, видать, еще и любви-то настоящей не испытал.

Синтимер отломил хворостину, сунул ее в огонь, от нее прикурил новую сигарету, чуть отклонил голову назад и прищурил глаза.

— Ну и разговорились мы с тобой, мырза,— крепко затянувшись, сказал наконец Синтимер. Поперхнулся дымом, закашлялся.— И про чай совсем забыли, наверное, уже остыл. Но ничего, мы его мигом подогреем...— И он легко встал на ноги, поставил котелок на горящие головешки, затем добавил: — Пойду-ка погляжу плот...

Нургали, заметив перемену в настроении Синтимера в лучшую сторону, снисходительно улыбнулся и лег на спину, заложив руки под голову. Дождь вновь начал накрапывать и, кажется, теперь не собирался переставать. Изредка на лицо Нургали падали отдельные дождевики. И тогда он хмурился и с досадой думал: «Вот, черт, занесло нас! Пора бы и дождю перестать! Неужели Синтимер-агай и вправду пошел плот проверять? Чудак!»

Нургали с наслаждением, до хруста в суставах потянулся и притих. И вдруг перед его глазами появилась застенчиво улыбающаяся Бибинур. И парень оказался наедине со своей мечтой, и свидетелем было только густое, тяжелое небо, крепко запрятавшее даже звезды. И он представил скорую встречу с ней. А вообразить это было нетрудно, потому что Синтимер все еще не возвращался и он мог быть наедине со своими мыслями.

«Вся истосковалась по тебе»,— шепчет Бибинур, а сама застенчиво улыбается, заалевшие губы ее и щеки горят от страстной любви к нему. И кажется ему, что она зовет его...

— Кормовой плот я тоже подтянул к берегу и

привязал,— внезапно прервал мечты парня голос Сынтимера.

Нургали проворно вскочил, точно его уличили в чем-то непристойном, и сел, поджав под себя ноги. Его волнение выдавал необыкновенный блеск глаз да порозовевшие щеки.

— Кормовой?..— не зная, что сказать, повторил он слова Сынтимера.— А зачем другой конец привязывать?

Старший плотогон удивленно посмотрел на напарника и пояснил:

— Течение болтает кормовой плот из стороны в сторону, того и гляди сорвет.— Сынтимер снял с горящих головешек котелок, в котором чай давно уже вскипел.— Теперь плот спокойненько будет стоять у берега сколько угодно.

— Тогда это хорошо...— сказал Нургали.

Они снова наполнили кружки чаем. Спать им сейчас совсем не хотелось.

— Итак, браток, выходит, жениться решил? — шумно потягивая горячий чай, продолжил Сынтимер прерванный разговор.

— Ага, решил, Сынтимер-агай,— ответил Нургали, обрадованный тем, что разговор пошел на близкую для его души тему.

Парень подумал, что ему следует закрепить с эгим мастеровым человеком договоренность о строительстве дома. И он тут же представил, как по деревне идет прохожий и спрашивает у его односельчан: «Чьи это хоромы? Ведь недавно еще ничего здесь не было». А Нургали отвечает прохожему: «Это дом колхозного экономиста Нургали. Что, не знаете такого? Он недавно женился на самой красивой девушке. И вот теперь в собственном доме живет». Прохожий поначалу стоит, зачарованно разглядывая новенький, как игрушечный дом, затем, загоревшись любопытством, продолжает спрашивать: «А кто срубил-то?» И слышит восторженный ответ: «Сам Сынтимер поставил дом!» Тут лицо прохожего удивленно вытягивается. «Сынтимер срубил?» — переспрашивает он и долго еще восхищенно разглядывает новый дом, затем удовлетворенно подмечает: «То-то, я вижу, не дом, а хоромы». А односельчане Нургали после этих слов прохожего непременно скажут: «Да и сам Нургали

парень что надо!» — «Видимо, так оно и есть, — охотно соглашается прохожий, — не каждому Сынтимер-уста¹ поставит дом...»

Нургали более чем уверен, что разговор о его будущем доме непременно будет таким. Поэтому сейчас ему особенно хотелось, чтобы разговор зашел о его новом доме. Он даже польстил Сынтимеру:

— А ты знаешь, Сынтимер-агай, поначалу ведь Бибинур заупрямилась. Не пойду, говорит, за тебя, и все тут. Я ей говорю, мол, свой дом поставим и жить отдельно будем, а ей хоть бы что. И знаете, когда она согласилась?

— Интересно когда? — Сынтимер поставил кружку на землю и, горя любопытством, уставился на возбужденного парня и тут же, радуясь за него, подумал: «Любит, чертяка, он ее!»

— Ни за что не догадаетесь! — сверкнули радостью глаза Нургали.

— Ладно, говори, когда она осчастливила тебя?

— А вот когда я сказал ей, что дом нам поставит сам Сынтимер-агай! Вот как! Спасибо вам большущее, агай!

— Ну уж, — только и сказал плотник, изучающе поглядывая на парня, и опять принялся за чай.

Заметив, что Сынтимер словно бы пропустил мимо ушей его слова и попивает чай, уставившись в землю, Нургали насторожился, однако остановиться в своем вранье не мог. Бросив на Сынтимера лукаво-испытующий взгляд, он продолжил:

— Сначала Бибинур не поверила мне. Тогда категорически я сказал ей: Сынтимер-агай дал согласие поставить нам дом в благодарность мне за то, что помог ему разыскать его фронтового друга Ивана Башкирова. Тут-то она и сдалась, поверила. Что и говорить, такова уж натура женская, Сынтимер-агай. А вообще-то женщины упрямый народ, уму непостижимо!

Сынтимер сидел, вычерчивая на земле кончиком прутика какие-то затейливые клетки. Лицо его было задумчиво, и казалось, что он плохо слушает Нургали.

— Значит, решил жениться на Бибинур? — наконец спросил Сынтимер и метнул из-под лохматых бровей на парня испытующий взгляд.

¹ У с т а — мастер.

— Так точно,— совсем по-военному отчеканил парень,— все уже обговорено и обоюдно улажено. Мы категорично решили.

— Получается, что берешь дочь Акбирде?

— Вот именно, агай, точно так!

— Да-а-а...— многозначительно произнес Сынтимер и снова задумался.

Решив, что наступил наиболее подходящий момент, Нургали вновь достал из рюкзака бутылку водки. Остывший чай из кружек он выплеснул на землю.

Сынтимер наблюдал за действиями парня, однако к кружке с водкой не прикоснулся. Посидев некоторое время молча, он проговорил как бы для себя:

— Дочь Акбирде, значит...

— Ага, она самая,— заулыбался Нургали, встал и, накинув на плечи куртку, углубился в лес. Вскоре он вернулся, волоча кучу хвороста, и стал подбрасывать в догорающий костер ветки.

Сынтимер сидел, скрестив под собою ноги. Лицо его по-прежнему было печально, глаза чуть приоткрыты. Он устремил взгляд через костер куда-то в темноту и заговорил негромко:

— Браток, ведь покойный Акбирде был моим самым близким другом...

— Отец Бибинур был твоим другом? — удивился Нургали.

— Да, мы были друзьями,— по-прежнему спокойно продолжал Сынтимер.— А это значит, что твоя невеста Бибинур — дочь моего друга. Моего друга Акбирде...— Он словно только что заметил кружку с водкой, потянулся к ней.— Давай-ка выпьем за светлую память Акбирде. Не один рассвет мы встречали с ним вот так у костра, когда гоняли плоты по Агидели. Молоды были. Горячая кровь играла в жилах. Мечты наши были устремлены в будущее... А сколько разговору было у нас с ним об этом прекрасном будущем! В ту пору нам казалось, что вся наша настоящая жизнь только впереди. А теперь вот как вспомню о своей прожитой жизни, частенько назад оборачиваюсь. Да-а... Со шемящей тоской в сердце вспоминаешь прошлое и хочется кричать: «Какие времена промчались горячими скакунами! Не догнать теперь их и не вернуть!» Жизнь, она, мырза, преинтереснейшая штука! Хотя ты и молод, но скажу тебе, что ни

один человек на земле не живет без заветной мечты. Однако случается порою так, что в какой-то период жизни мы обгоняем свою мечту и она предстает в нашем воображении всегда прекрасной и постоянно живет в нас. Потом наши мечты продолжают потомки, и жить они будут лучше нас! — Сынtimer умолк и залпом осушил свою кружку. Нургали тоже не заставил себя ждать. Затем оба молча задымили сигаретами.

...И тут вдруг темный, сырой, притихший лес, закутанный густым пологом ночи, словно вздрогнул от внезапно всполошившихся галок, ворон, точно почувывших какую-то опасность. Нургали перестал курить, насторожился и прислушался к шуму, поднятому птицами. И тут еще глухо, будто простуженный, захукал филин. Вспугнутые птицы долго еще носились в небе, ища более безопасное место.

Сынtimer по-прежнему курил спокойно и будто не слышал тревожного карканья ворон и не замечал волнения парня.

Когда стих птичий переполох, откуда-то издалека донеслось громкое ржание перепуганной лошади, эхо долго носилось в воздухе, перекатывалось между горами, постепенно отдалялось и, наконец, затихло.

Нургали вскочил на ноги.

— Может, это какой зверь? Хотя и походит больше на ржание лошади...— тихо сказал Нургали.

Сынtimer-агай слушал своего спутника, уставившись на него. Потом перевел взгляд широко открытых глаз в темноту.

— Чему тут удивляться-то? — невозмутимо ответил Сынtimer, небрежно взмахнув левой рукой.— Разумеется, где лес, там и всякое зверье должно водиться. Было б странно, если б природа никаких звуков не издавала. И тут надо только радоваться! Ученые говорят, что и зверье разное, и орлы, и пичуги, и всякие там букашки, козявки имеют законное право на существование. Я полагаю, что у большой и мелкой живности есть свои права и обязанности. Может, даже хитрее, чем у людей. Устрой, скажем, природу на иной манер, на человеческий, тогда ой что может случиться!

— Уж больно противно каркают эти вороны,— заметил Нургали.

— Ну и пусть! Зато свой голос имеют. А если бы все пели соловьями, разве лучше было бы? А звери только б ржали как лошади! На что уж я коней люблю, и то не могу представить...— Глаза Сынтимера лукаво сощурились, по уголкам губ прошла усмешка.— Нет уж, мырза, пусть каждый говорит на своем языке. А ты не думал, что мы, люди, всегда меньше любим то, что плохо знаем или не понимаем? А то, что лес полон разными звуками,— это здорово! Помню, на фронте, в затишье между боями лежим и радуемся любому ясному звуку, воробью, галке... Ты, мырза, не бойся тех, кто имеет голос свой и открыто заявляет о себе... Ведь бывает, подползет иной к тебе тихонько, ужалил так, что будешь помнить всю жизнь.

Сынтимер и Нургали опять замолчали, казалось, что каждый думает о своем. А вокруг костра снова нависла тишина. Лес, казалось, тоже стал досматривать свои прерванные звуками сновидения. И эту тишину нарушил Сынтимер, он стал горячо говорить, видно стараясь высказать свои думы, которые не давали ему покоя.

— Я, братишка, опять же про отца Бибинур хочу сказать,— ворочая угольки прутиком, разглядывая их, медленно сказал плотогон.— Акбирде был, как и ты, сильным, красивым... Любая девушка охотно бы вышла за него замуж. Парень был он мировой! — Сынтимер тяжело вздохнул и на миг приумолк, затем с горечью продолжил: — Однако вот война всю его жизнь перевернула. А то бы он и до сих пор наслаждался жизнью. И был бы у тебя отличный тесть, сидел бы в красном углу твоего дома.— Сынтимер подвинулся к Нургали, взглянув ему в глаза, неожиданно выпалил: — Ты смотри у меня, не вздумай обижать Бибинур! Она единственная, кто может продолжить рано оборванную жизнь своего отца... Поскольку Акбирде был моим самым близким другом, я, пожалуй, поставлю тебе дом на славу! Правда, силенки уже не те, мырза, да и руки слабеть стали. Но тебе-то я отменный дом отгрохаю. Хочу видеть, как дочь моего друга заживет счастливо, красиво...

Нургали слушал Сынтимера, растянув в радостной улыбке рот до ушей. Глаза его озарились душевным теплом. Ему было приятно слышать, как о его

Бибинур хорошо говорит человек, повидавший мир, знающий жизнь да еще пожелавший поставить им для счастья дом. И парень в какой уже раз за сегодняшнюю ночь проникся необыкновенной нежностью к своей невесте. Охваченный внезапным порывом благодарности, Нургали горячо схватил руки Синтимера.

— Спасибо, агай! — выдохнул он единым духом. — Я никогда не забуду ваших слов, вашей доброты... Я буду достоин имени твоего друга, тебе не придется краснеть за меня... — Нургали говорил горячо, искренне, он то и дело называл Синтимера то на «ты», то на «вы», чем немало смущал старого солдата.

— Не благодари меня, мырза, — остановил его Синтимер, — самой лучшей благодарностью для меня будет ваша счастливая жизнь. — Он помолчал, как бы размышляя, стоит ли продолжать разговор на эту тему, затем махнул рукой и заговорил снова: — Впрочем, ты ведь будущий зять Акбирде, тебе, пожалуй, можно кое о чем рассказать. На мой взгляд, ты, парень, вроде бы благовоспитанный, порядочный... Вот потому-то я и полагаю, что ты должен знать о том, что я тебе расскажу. — Старший плотогон отбросил в сторону изрядно обгоревший прутик, взял потолще сук и ткнул им в лениво тлевший костер. Взметнулись вверх мотыльками искры, затрещали языки пламени, освещая печальное лицо Синтимера. — Так вот, росли мы с Акбирде вместе, — начал он, смотря на огонь. — Хотя жизнь у нас тогда была несладкая, мы испытали вволю и холод и голод, приходилось есть даже лебеду, но бодрость духа никогда не теряли. Откровенно говоря, вся тогдашняя молодежь наша была проникнута духом большого общего дела. Однако ты не думай, что я хочу упрекнуть нынешнюю молодежь в чем-то. Нет, вы живете в достатке, обу- ты, одеты, сыты. Так и должно быть. Есть, конечно, некоторые среди нас, которые любят брюзжать, мол, молодежь нынешняя живет припеваючи, никаких забот не знает. Я такого мнения не разделяю, хотя встречаетесь великовозрастные бездельники. Но я вижу в основном отличных ребят, девчат. Молодость она и есть молодость! Особая пора в жизни человека! Конечно, вашему поколению легче живется, что требует от вас и большой душевной стойкости. Вот мы могли разве в ваши годы иметь машины, ставить

пятистенную избу? Упаси бог! Мечтать не могли! Но землю свою, Родину, новый строй любили. Война доказала это. А ведь в нашем ауле тогда почти все избы были под соломой, а если мимо проезжала легковая машина, то весь аул выбегал. Смешно даже представить. Но жили, мечтали, не падали духом, и вот теперь вам дано все...

— Так прямо изба под соломой, агай? — поразился Нургали, недоверчиво поглядывая на собеседника. — А как же дождь?

— Да, под соломой... Издали, правда, наши избы были похожи на рваные огромные малахай. Вот так, мырза... Но это совсем не значит, что ваше поколение должно жить, как мы. Нет. Помнишь, в прошлом году загорелся колхозный лес? Кто по-настоящему смело боролся с огнем и отстоял деревья? Такие, как ты, парни и девчата, которые горазды и повеселиться, любители модно одеться. Времена меняют жизнь. Уверен, если будет война, вы не хуже нас станете бить врага. Так вот, Акбирде всегда был готов прийти на помощь людям. Если уж быть до конца откровенным, то я обязан ему жизнью... — Сынтимер примолк, видно вспоминая давние годы. — В ту пору мы уже стали парнями. Помню, случилось это весной. Тогда мы работали на снегозадержании в поле. Возвращались домой довольно поздно по льду Агидели. Пробежим — катимся, лед прогибается, трещит. Интересно! И вот как-то, увлекшись разговорами, и не заметили, как отдалились от берега и неожиданно оба бухнулись в полынью. Вынырнул я ошалело и вижу — Акбирде вода по плечи. Помнишь, я говорил, он был высок, статен... Я едва держусь за кромку льда, а ногами не могу достать дна. А течение затягивает под лед. Чувствую, стыну, от страха слова не могу сказать. И вдруг Акбирде крикнул мне:

— Сынтимер, забирайся мне на плечи!

Я ничего не могу понять. Как это забираться? Ведь мы можем вместе потонуть. Я брыкаюсь ногами, отнекиваюсь, глотаю воду, кричу:

— Нет, тогда ты потонешь!..

— Болтай меньше! Хватайся за плечи, говорю! — крикнул он. — Чем обоим тонуть, хоть ты выплыви!

— Тебе легче спастись, — отвечаю я, — бросай меня...

— Да не брошу я тебя! Лезь, говорю, на меня! Там на лед выберешься. Я ж стыну! — осатанело ругался он. — После тебя и я выкарабкаюсь...

И тогда я кое-как вскарабкался на него, пытался выбраться на лед, но соскальзывал, видно, замерз, руки одеревенели. Кричу.

— Спокойней, Синтимер, спокойней! — подбадривал меня друг и пытался помочь, поддерживал руками. И это в ледяной воде!

Но стоило мне чуть-чуть вылезти на лед, как он тут же с хрустом ломался. От холода дух захватывало, я не мог выдавить из себя слово. Теперь уж не помню, сколько времени мы пробарахтались в ледяной воде. Тогда мне показалось — вечность... Вот так я сидел на плечах Акбирде, а он крошил руками лед, да еще меня поддерживал, чтобы не упал, и подбадривал:

— Держись, Синтимер, терпи, еще немного — и берег...

Я чувствую, что друг мой замерз совсем. Возьми тогда я и скажи: «Бросай меня, ты один наверняка выберешься!» А он мне: «Молчи, не то твоей дурной башкой лед разобью!» Вот какой был Акбирде. — Синтимер прикрыл веки, облокотившись о колени, подпер руками голову и как-то весь сжался и стал похож на подростка, которого незаслуженно строго наказали.

— Вот такая катавасия приключилась тогда с нами, мырза, — выдохнул Синтимер и выпрямился. — Правда, я потом проболел, но не очень тяжело. А вот Акбирде тогда надолго слег.

— В больницу положили? — спросил Нургали.

— Больница? Откуда больнице быть в ту пору? — раздосадовался Синтимер. — Дома лежал пластом. Водкой растирали. Отваром душицы поили, медом... В бане до седьмого пота парили. Словом, отхаживали по деревенскому разумению. А тут война вскоре нагрянула... Нас вместе призвали. Он был здоровяк, я тебе уже говорил. Так вот, его зачислили в броневой бойцы, а меня, хилого, куда только не бросали: и санитарил, и кашеварил, и в кавалерии по тылам вражеским в рейд ходил, и шоферил... В общем, всякое было. Война есть война. Перед самым концом распроклятой войны Акбирде здорово покалечило.

Вернулся он сгорбленный, полусогнутый, словно перебитый в хребте, видно, и окопные холода и сырость тоже были тому причиной. Кто знает? Но и такого покореженного не отвергла его любимая девушка Магинур — мать твоей будущей жены. Бибинур была их единственным ребенком. А уж как они хотели детей иметь! Причиной слишком позднего рождения Бибинур были скорее всего фронтовые недуги Акбирде. А может быть, и ледяная купель в Агидели! — многозначительно произнес Сынтимер и, отчаянно махнув рукой, добавил: — А что было потом, мырза, ты и сам знаешь. Живите себе в добром здравии и согласии. Живите счастливо!

— Постараемся, агай! — машинально пообещал Нургали, а сам про себя отметил: «О дальнейшей жизни Акбирде вся деревня знает».

Вдруг неподалеку заржала лошадь, донесся собачий лай.

— Оказывается, ты был прав, — кивнул в сторону леса Сынтимер. — Вижу, у тебя острый слух...

Подстегнутый одобрительным отзывом собеседника, Нургали живо вскочил на ноги:

— Может быть, мне смотаться в разведку? Не помешает, Сынтимер-агай, если поблизости окажется хуторок и домик лесника?

Сынтимер пожал плечами, как бы предоставляя собеседнику полную самостоятельность.

— Тогда я пошел, — оценил молчание плотогона парень.

Шурша брезентовой курткой, Нургали направился в ту сторону, откуда доносилось ржание и слышался лай собаки. Парень вскоре исчез в темноте.

Сынтимер остался у костра наедине со своими воспоминаниями. Перед его глазами то и дело возникал Акбирде с неизменной широкой улыбкой, блеском ровных белых зубов. «Нет, не стоит рассказывать о тайнах покойного друга его будущему зятю», — подумал Сынтимер и даже обрадовался почему-то этой неожиданно простой, как ему показалось, и очень верной мысли. Как там ни говори, а память о друге для него — святая святых. Как это было давно! И в то же время кажется вот-вот, почти вчера...

...Оба они были влюблены в Магинур. Девушку душевную, приветливую, наделенную статью и красо-

той. Словом, она была прелестна во всех отношениях. Все трое они росли на одной улице, на игрища и гулянья всегда ходили втроем, колхозные работы частенько выполняли тоже втроем. Аульчане, как это было принято в те годы, радостно, исподволь наблюдали за дружбой неразлучной тройки. Иной раз, правда, некоторые пошляки (где их нет и когда таких не бывало!) едко бросали девушке: «Ты, Магинур, наверное, выйдешь замуж сразу за обоих дружков!..» Но были и такие, которые проявляли обыкновенный человеческий интерес к чистой юношеской дружбе—кого же из двух выберет девушка? Все были уверены, что предпочтение девушка отдаст Акбирде — рослому, красивому, работающему... Но и Синтимер мало в чем уступал своему другу. Да, Акбирде был красавец, душой широк. Однако подвижный, сухощавый, веселый Синтимер не отставал от друга ни на сенокосе, ни при скирдовании. Между друзьями шло негласное состязание — каждый старался быть лучше. На сабантуях Акбирде брал все призы по борьбе, а его другу Синтимеру не было равных в беге и лазании по шесту. Да, красивые были годы!

Синтимер самозабвенно любил Магинур, однако ему казалось, что его друг не сможет жить без нее. И поэтому он старался чаще оставлять их вдвоем, о друге рассказывал девушке только самое доброе, хорошее. Вернувшись с фронта, Акбирде неожиданно простудился и три месяца провалялся в постели. И тогда Магинур, несмотря на занятость, ни на шаг не отходила от больного, ухаживала и присматривала за ним, как за самым близким человеком. Вообще-то так оно и было. Старая, больная мать парня не могла уделять ему такого внимания.

А тут вскоре после окончания войны возвратился Синтимер. Ранения, пережитое оставили отпечаток на лице и в характере парня. Не стало былой веселости, узнав о болезни Акбирде и как за ним долгое время ухаживала Магинур, Синтимер тихо уехал в другую деревню. Он понял, что только Магинур может дать счастье его другу. А если еще учесть, как не просто в те годы было покинуть колхоз, то поступок Синтимера можно считать жертвой. И когда весть о женитьбе друга дошла до Синтимера, он написал ему письмо с искренним пожеланием долгой

и счастливой жизни. Сынтимер тяжело переживал замужество любимой девушки, но тем не менее ему искренне хотелось, чтобы покалеченный войной больной Акбирде хотя бы в семейной жизни был счастлив.

Акбирде с Магинур зажили хорошо. Их дружбе и согласию завидовало немало семей. Они умели уступать друг другу. Акбирде был мастер на все руки: катал валенки, сапоги тачал, отменно выделявал кожи, мастерил сани, хомуты... А когда пришла долгожданная Победа, она растопила ожесточившиеся за годы войны сердца. Вскоре стали возвращаться уцелевшие солдаты, те, кому повезло. Но таких было не так уж много. Люди, как ни странно, быстро привыкли к искалеченным войной. И Акбирде, нещадно покореженный, теперь уж не казался таким несчастным. Но судьба продолжала жестоко испытывать терпение Акбирде — у них не было детей. Врачи определили, что в этом повинен Акбирде. О своем горе и переживаниях Акбирде написал своему другу Сынтимеру, заодно поинтересовался, почему он до сих пор не женился, и сообщил, что по совету врачей проходит курс лечения. И вот после пятнадцати лет семейной жизни у них родилась дочь Бибинур. В тот же год Сынтимер вернулся в свой аул.

Сынтимер помнит, как сегодня, тот день, когда Акбирде, нежно прижав к груди малютку и весь лучась счастьем, прибежал к нему. Он был счастлив, его глаза светились отцовской гордостью. Сынтимер поздравил друга и был бесконечно рад за его счастье.

Но тут неожиданно подкралась непредвиденная беда! Это был предательский удар в спину. Верно говорят в народе — на чужой роток не накинешь платок. Подленький слушок, кем-то пущенный, пошел гулять по аулу из дома в дом. Дескать, ребенка Магинур родила не от больного мужа, а от другого кого-то, может быть, даже и от Сынтимера. Вот поэтому-то, мол, нашептывали злые языки, Сынтимер и вернулся в деревню, чтобы быть рядом с Магинур. Ведь все знали, как они любили друг друга.

Слово что воробей, вылетит — не поймаешь. Да еще смотря какое слово, а то и убить может. Так и случилось с Акбирде. Слух о дочери дошел и до не-

го. Выбрав удобный случай, он вечером, чтоб никто его не видел, приковылял к СынTIMERу. Стоя на пороге, прислонившись к косяку, с полными слез глазами, он, заикаясь, произнес:

— Ради бога, СынTIMER, скажи правду, эти слухи...

СынTIMER обнял друга и, глядя ему в лицо, сказал:

— Опомнись! Да как ты можешь такое думать? Пусть земля разверзнется под ногами и проглотит меня, если я позволил себе такое! — Потом усадил друга на табурет и грустно продолжил: — Значит, и до тебя, друг, дошел этот подлый слухок. Ну скажи, как ты мог такое подумать о Магинур?

— Не бывает дыма без огня...— слабо защищался Акбирде.

— Какую чушь несешь! Прекрати! — оборвал друга СынTIMER.— Этим ты свою жену оскорбляешь! Нашу дружбу перечеркиваешь!

— А она, она...— вскрикнул Акбирде и, закрыв лицо ладонями, затрясся в рыданиях. Он не верил слухам, но, когда жена однажды на его упрек, что мало отдает времени дому, бросила: «Выйди я за СынTIMERа, во сто крат была бы счастливее»,— он стал думать об этом. Эта мысль постоянно преследовала его большое воображение.

Через некоторое время Акбирде не выдержал злых слухов, надломился, видно, в какой-то момент человек, умер.

Магинур тогда и подозревать не могла, что она нанесла мужу последний удар... Тоже не сдержалась, едко выплеснула обиду. Но разве она думала, что так нелепо все получится! В отчаянии женщина не знала, куда себя деть. В голову приходили порою самые страшные мысли. В такие минуты силы ей придавала малютка Бибинур.

Обо всем этом СынTIMER запоздало узнал от самой Магинур.

С той поры СынTIMER носит в сердце боль за друга, что не сумел оградить его от подлых слухов. Почти на глазах погиб самый близкий друг, которого не смогли убить даже фашистские пули. После этого нелепого случая СынTIMER вычеркнул из своего сердца Магинур. Вычеркнул навсегда...

Так два ярких луча, всю жизнь согревавшие его душу, разом погасли.

Маленькая Бибинур, подрастая, все больше становилась похожей на отца. Жаль, что сам Акбирде не дожил до этих дней!

А что касается теперь Синтимера, то он непременно поставит Нургали дом. Как игрушечку отделает! На окна повесит кружевные наличники, карнизы, украсит тончайшими узорами. Ведь в том доме будет жить Бибинур, дочь его друга! «Это будет последний дом, который я срублю...» — решил Синтимер.

Он и не заметил, как потускнел костер, и не обратил внимания на говор и смех за кустами. Наконец, почувствовав прохладу, Синтимер кинул в костер полешко. Тысячи искорок взметнулись в черное небо.

Вскоре из леса вышел Нургали, рядом с ним шагал высокий, уже в годах мужчина, густая борода и пышные усы плотно закрывали рот.

— Синтимер-агай, вот хозяина в этой глуши обнаружил! — крикнул Нургали издали таким голосом, будто этого человека ему пришлось искать в течение долгих дней.

— Гостям всегда рады, — отозвался Синтимер степенно, а сам подумал: «Где только теперь люди не селятся! Не найти, пожалуй, такого места, куда бы не ступала нога человека... А этот, наверное, такой же плотогон, как мы, или же косарь...»

— Как живы-здоровы? — пробурчал бородатый, скинув с головы капюшон потяжелевшего от воды брезентового дождевика, и протянул обе руки для рукопожатия. Во всем облике незнакомца, его действиях была видна сдержанность и степенность, чувствовалось достоинство. Этим он сразу пришелся по душе Синтимеру.

— Пока вот живы-здоровы. Сам-то как поживаешь?

— Нормально...

Тут же в разговор встрял Нургали:

— Музафар-агай, — сказал парень, подавая пришельцу кружку с водкой, — вот это и есть наш Синтимер-агай, о котором я тебе говорил. В нашем ауле нет плотника мастеровитей его...

— Будет тебе,— отмахнулся недовольно Сынtimer.

А Нургали, словно не слыша упрека плотогона, возбужденно продолжал:

— Я ведь жениться собрался, Музафар-агай. Теперь вот все дело зависит от Сынtimer-агая, хи-хи-хи...— И замолчал, заметив, что старшие насупились. Но тут же заулыбался, обнажив крепкие зубы: — Да вы сначала познакомьтесь...

Выпив водку, Музафар вытер ладонью бороду и поведал не спеша, что он с братом и невесткой пасет здесь колхозный скот. Для них тут построен просторный дом, и они все лето в нем живут.

— До аула отсюда далековато,— продолжал рассказ бородач,— продукты завозим сюда разом и живем тут до самой осени. А к зиме возвращаемся домой. Здесь трава хороша! Скот быстро нагуливает жир.

— А сколько же у вас тут народу-то? — снова вмешался в разговор Нургали.

— Говорил же, вдвоем с братишкой. С нами еще живет его жена, невестка моя. Еду нам готовит.

— А не страшно троим в такой глуши? — спросил Нургали.

— Кого бояться-то?

— Мало ли кого...

— Пока вокруг тихо. В эту пору медведь сытый. На скотину не зарится.

— Сынtimer-агай, а я уже успел познакомиться с Ильсюяр-енгэ¹,— снова встрял в разговор старших Нургали.

— Да ты всегда всюду успеваешь! — улыбнулся Сынtimer.

— Еще как! Ильсюяр-енгэ даже медовухой угостила. Ух и ядреная!

— То-то язык у тебя словно с привязи сорвался...— заметил серьезно Сынtimer.

Дождь стал заметно усиливаться. Пастух гостеприимно предложил:

— Может быть, к нам пойдете? Чего же мокнуть? Тут недалеко. Дождь-то, видно, до самого утра зарядил.

¹ Енгэ — обращение к жене старшего по возрасту человека.

— Не знаю, как и быть? — замялся Синтимер. Нургали же загорелся желанием отправиться под надежный кров и уже успел сунуть початую бутылку водки в карман.

— Да что тут раздумывать, Синтимер-агай, — стал он уговаривать своего напарника. — Живут они в такой глухомани, людей совсем не видят... Сам подумай, как им будет приятно поговорить с живыми людьми.

Музафар решил увести плотогонов к себе, и как можно скорее, так как дождь продолжал усиливаться.

— Вещи можете оставить здесь. Никто их не тронет, — сказал он. — Айдайте. Отдохнете, посушитесь.

Жилье пастухов на самом деле было расположено поблизости. Прошагав минут пятнадцать по лесным тропинкам за бородачом, плотогоны уперлись в жердевую ограду.

— Вот мы и пришли, — торжественно объявил Музафар и, не открывая ворот, пролез во двор между жердей. Гости последовали его примеру.

Во дворе было так тихо, что слышалось фыркание лошадей, тяжелые вздохи сытых коров в загоне да звон колокольчиков. Пахло мокрой травой, сеном, навозом...

— Мы тут телят держим, — пояснил Музафар.

Двор был просторный, и не было видно ни сараев, ни жилья. Но вот впереди между деревьями замерцал огонек. И тут неожиданно откуда-то выскочили две собаки, но, узнав хозяина, радостно взвизгнули, весело залаяли.

...Поднявшись на высокое широкое крыльцо, ночные гости неторопливо вошли в длинные бревенчатые сени, источавшие запах свежей смолы.

В стене, отделяющей сени от избы, было прорублено небольшое оконце, где горела изрядно оплывшая свеча, бросая блеклые отблески на янтарно-желтый бревенчатый сруб и массивный, тяжелый пол из неструганых сосновых плах. Откуда-то сверху звонко капала вода. Заметив, что эта капля привлекла внимание гостей, Музафар поспешно снял дождевик, повесил его на гвоздь и пояснил:

— Я же говорил, мы тут живем временно, потому и не стали настилать потолок, — и, как бы оправды-

ваясь, сказал: — Крыша-то лишь лубом прикрыта, лето недолгое, как-нибудь стерпится.

У стены возле двери стояла деревянная кровать, застеленная цветастым стеганым одеялом. «Должно быть, здесь Музафар и коротает ночи», — подумал Синтимер.

Гости еще не успели как следует оглядеться, освоиться, как дверь, ведущая в дом, отворилась, и оттуда донесся грудной женский голос:

— Почему не входите? Я уже жаждалась вас!

— Ильсюяр-енгэ, мы сейчас, мигом! — с готовностью, как давно знакомому человеку, откликнулся Нургали.

Синтимер бросил на него осуждающий взгляд. Нургали не заметил предупреждения и смело шагнул в комнату, Синтимер тоже ступил за порог и увидел удивительно красивую женщину лет двадцати шести, и от такой неожиданности он оторопело застыл на месте.

— Проходите, я сейчас, — услышал он из сеней голос Музафара, который, видно, там что-то прибирал.

— Здравствуйте, сестричка! Можно войти? — наконец проговорил Синтимер, не зная, что сказать дальше.

Молодая женщина отступила чуток назад и от души рассмеялась.

— Разве спрашивают разрешения, когда уже вошли? — Переливы ее голоса напомнили Синтимеру журчание ручья, весело бегущего по разноцветным камушкам. И голос этот показался Синтимеру настолько знакомым, что он, охваченный чувством непонятного волнения, попытался вспомнить: «Где же я слышал этот голос? Где?» Но, как ни напрягал он свою память, так и не смог вспомнить. Тогда Синтимер стал внимательно вглядываться в Ильсюяр, которая отнесла куда-то их мокрую одежду, вскоре вернулась, улыбающаяся, довольная. Получалось у нее все красиво и ловко.

«Что за женщина? Неужели я ее где-то видел?» — ворочалась беспокойная мысль в голове Синтимера. Да, она красива ликом, фигурой, движениями, но встречать ее ему никогда не приходилось. И все-таки голос, этот голос, взволновавший его душу, он когда-то уже слышал. И смех ее, подобный журчанию

ручейка, так знаком ему... Когда и где он слышал все это?

Пока Сынtimer терзался, одолеваемый воспоминаниями, Нургали уже успел помыть руки и плутовато прошептал:

— А ведь енгэ великолепна!

— Она-то, может быть, и великолепна, а ты вот себя позоришь,— недовольно пробурчал Сынtimer, хотя с первого взгляда отметил, что Ильсюяр и впрямь обаятельна. Ее движения, жесты, уверенная поступь были грациозны, плавны. Голубое платье в белый горошек придавало ее лицу особую миловидность. Небольшой пестрый передник, перетянутый в талии голубым пояском, дополнял ее наряд и подчеркивал стройность фигуры. Ступала по комнате Ильсюяр мягко, несла свою красивую, полную сил фигуру с достоинством. Черные, цвета вороньего крыла волосы были аккуратно уложены копной на самой макушке. На лице то вспыхивала, то пропадала не очень вызывающая, а, наоборот, даже мягкая улыбка, и при этом казалось, что комната, плохо освещенная семилинейной лампой, висящей над столом, вдруг становилась светлей, уютнее... «Хороша! Чертовски хороша!» — невольно радуясь красоте хозяйки, подумал Сынtimer. И можно понять, почему Нургали увивается возле нее, то и дело льстиво повторяя «енгэ да енгэ!» — Сынtimer отводит от хозяйки глаза в сторону.

А Нургали в этот миг забыл обо всем на свете. На его лице написано откровенное восхищение красивой женщиной. Он даже не пытается скрывать свои чувства. Она, конечно, тоже хороша: делает вид, что ничего не замечает. Больше того, она, как нарочно, обожгла многообещающим взглядом парня... Нургали вздрогнул и принялся суетливо расставлять табуретки вокруг стола. Тут появился Музафар, неся из сеней курут¹ и графин янтарной медовухи, отдающей запахами лесных цветов, меда, хмеля...

— Садитесь, небось заждались,— пригласил хозяин.— Горяченького, невестушка, не мешало бы,— нежно глядя на женщину, сказал Музафар.— Братишка в деревню поехал,— продолжал бородач, когда Ильсюяр ушла на кухню за супом.— Сегодня уже че-

¹ Курут — сушеная брынза.

твертый день, как его нет.— Затем, понизив голос, заговорщицки добавил: — Что и говорить, народ они молодой, горячий, иной раз, бывает, и поссорятся по пустякам. Она больно уж заносчива, с мужем-то не очень считается,— откровенно, как добрым знакомым, рассказывал Музафар.— А он в ответ неделями молчит, храня в сердце обиду. Вот так вот. Вы слушайте, да не забывайте наливать медовуху. А смотреть на них со стороны просто чудно...— Хозяин махнул рукой.— Образумятся. Куда денутся. Думаю, братишка не сегодня-завтра вернется. А мне одному трудновато. Вообще-то теперешняя молодежь в семейных вопросах хлипкая. Не уступают друг другу ни в чем. Вот и разводы частые, а страдают от этого дети... В газете я как-то прочитал: одна треть молодоженов разводится через год после свадьбы.

— Ну, Музафар-агай, это кто как женится,— отхлебнув из граненого стакана медовуху, заметил Нургали.— Если без любви, то оно конечно... А вот, скажем, женятся по любви, то уж тут того...— Красивое лицо парня расплылось в мечтательной улыбке.

— Может быть, может быть,— ответил Музафар и доверительно продолжил: — Я уж сам не рад, что вытянул сюда братишку. Работал бы преспокойно в своем леспромхозе... А они оттуда почему-то переехали в деревню...

Гости, дав понять, что в данной ситуации они не очень-то дельные советчики, сочувственно слушали Музафара и в знак солидарности с ним кивали головой. Улучив момент, Нургали протянул руку к своей бутылке, но, заметив, что стаканы заняты, вопросительно посмотрел на старших.

— Ладно уж, молодой человек, не поленись, сходи на кухню,— сказал Музафар,— там найдешь посуду.

Выражение лица хозяина дома было простодушно-спокойным. Он явно был склонен к полноте. «Наверное, характер этого человека соответствует башкирской поговорке: для него все равно — козь бык околеет, обрадуется, мол, мясо будет; козь телега сломается, воскликнет — дрова будут!» — подумал Сынтимер, приглядываясь к своему новому знакомому. И тут он услышал со стороны кухни хрустально-чистый смех Ильсюра. Сынтимер снова насторожил-

ся, прислушиваясь к этому смеху, который, казалось, был ему настолько знакомым, будто он только вчера слышал его... И он снова озадаченно подумал: «Где же я все-таки слышал этот голос?» Но сколько он ни напрягал свою память, вспомнить так и не мог.

Сияя улыбкой, из кухни появился Нургали. Он поставил перед каждым граненый стакан, разлил поровну на четыре части водку. Вскоре с двумя тарелками ароматного супа из баранины показалась Ильсюяр. Черные глаза ее были точно омытая дождем смородина, сквозь нежную кожу на щеках пробивался легкий румянец. Женщина поставила тарелки перед гостями и, как послушница, смиренно села за стол напротив Нургали. Руки с ямочками на суставах, как у детей, еще не испорченные тяжелой физической работой, положила на стол.

— Что ж, выпьем за знакомство! — произнес Музафар равнодушно и, никого не дожидаясь, тут же осушил свой стакан. Гости поддерживали его тост. Ильсюяр жеманно поджала алые губы и коснулась ими краешка стакана, при этом сморщилась и отставила стакан с водкой в сторону.

Незаметно между мужчинами завязался оживленный разговор.

Хозяин дома удивлялся тем людям, которые бросают хозяйство и едут в города, где прописываются по лимиту и живут на положении временщиков. Сынtimer упрекнул тех людей, которые живут в деревне, но не держат ни коров, ни овец, ездят за продуктами в город.

— Деревню приблизили к городу! — хихикнул Нургали.

Хозяин хмуро посмотрел на парня, а Сынtimer строго заметил:

— Твоя шутка, мырза, не к месту!

Нургали вспыхнул было, но вовремя подавил в себе бурю недовольства. Из-за слабого света лампы никто не заметил, как зарделась у него крепкая шея. Потом мужики закурили и, перебивая друг друга, стали рассказывать о жите-бытье, задавать интересные их вопросы. И получалось все это теперь у них почему-то смешно, весело, а главное — каждому было все понятно. Молодая женщина, глядя на них, улыбалась.

Тем временем на дворе дождь припустил еще сильнее. Глухие удары о лубяную крышу ядреных дождевых капель заметно участились. Плотогоны испытывали радостное чувство оттого, что им все-таки сегодня повезло: встретились с этим пастухом, который зазвал их в такую ненастную погоду в свою теплую избу.

— Музафар-агай, как хорошо, что я набрел на тебя этой проклятой ночью! — восторженно проговорил Нургали. — Останься мы в своей задрипанной палатке, промокли бы насквозь.

— Так уж и подвезло... — опустив голову, застенчиво пробурчал Музафар и провел ладонью по жесткой густой бороде. — Вообще-то всякое могло случиться!

— Ха-ха-ха! — раскатисто рассмеялся Нургали. — Ну и что ж могло случиться?

— Как что могло? — продолжил Музафар. — Всякое могло случиться! Скажем, мог бы пропасть, заблудиться в лесу в тот момент, когда собрался жениться! — И Музафар от души рассмеялся, считая, что он крепко пошутил. Вообще-то обычно немногословный, сегодня он был весел и охотно поддерживал разговор.

Дни и ночи одиноко бродившему пастуху, мечтавшему встретить хоть одну живую душу, сегодняшний день и впрямь стал праздником. И сейчас ему вволю хотелось насладиться так неожиданно привалившим счастьем.

Ильсюяр чутко прислушивалась к разговору мужчин и не преминула спросить, озорно взглянув на парня:

— Нургали, выходит, ты жениться собираешься? — И, помолчав, многозначительно добавила: — А жаль. Хотя мой деверь сидит рядом, но я не боюсь сказать, что я б с удовольствием вышла за тебя, если б не мой Ягафар. Ха-ха-ха! — рассмеялась она своей шутке, в которой, видно, была и доля правды или, скорее всего, досада на своего строптивого мужа, оставившего ее в этой глуши.

— Ты полагаешь, Нургали женился б на тебе? — спросил вдруг серьезно Сынтимер.

Ильсюяр рассыпалась серебристо-журчащим сме-

хом, самоуверенно и вызываяще поглядывая на мужчин.

— Боже мой, неужели вы сомневаетесь в этом? Мне даже странно слышать ваши слова!

«Ну и заноза!» — незлобиво подумал Сынtimer, любуясь молодой женщиной.

Прервав шутливую перепалку, в разговор вступил Музафар:

— Ну что ж, невестка, может, вынесешь еще графин того самого сладенько-кисленького напитка в честь предстоящей женитьбы Нургали?

— Можно, почему же! — двусмысленно ответила Ильсюяр и, окинув мужчин многозначительным взглядом из-под пушистых ресниц, павой выплыла на кухню.

Хозяйка вернулась быстро, неся в зеленом эмалированном чайнике медовуху. Она до краев наполнила стаканы хмельным напитком. С ее уст не сходила таинственная улыбка.

— Если хозяйка сама не отведаст медовухи первой, я даже не прикоснусь к стакану! Кто знает, а может быть, она что подсыпала? — грубо пошутил Нургали.

— Нет, нет, что ты! — вступился за невестку Музафар. — Как такое тебе могло в голову прийти?

— Шутит, шельмец! — рассмеялся Сынtimer.

— Э-э-э, разве что шутит... — оживился пастух. — Хотя над молодухой и подшутить не грех! Что ж, невестушка, возьми да и опрокинь стаканчик!

— Может, и впрямь следут выпить в честь гостей? — озорно сверкнула глазами Ильсюяр.

— Давайте, гости, поднимайте стаканы! — заторопил Музафар.

— Посмотрим сначала, как енгэ выпьет... — продолжал настаивать Нургали.

Молодая женщина метнула на него хитроватый взгляд и, залпом осушив стакан до дна, с лихим приступком поставила его перед оторопевшим парнем.

— Ну и что, посмотрел?!

— Ага... — засмеялся Нургали.

Все рассмеялись.

Сынtimer все еще приглядывался к Ильсюяр и пытался вспомнить, где он слышал этот голос?

Вскоре хозяин потянулся за кураем¹, что лежал на гвоздях, прибитых к матице.

— Ну, кого заставить поплясать, а? — спросил он, ласково посмотрев на свою невестку. Музафар поднес курай к губам, чуть мечтательно прикрыл веки, и тут же полились плясовые наигрыши «Байык», «Семь девушек». В них слышались звуки бегущих родников, всплески волн Агидели, птичьи голоса, шум уральских лесов.

— Что же это никто не выходит плясать? — прекратив играть, спросил Музафар.

Ильсюяр кивнула в сторону Нургали, а тот хотел, чтобы первой сплясала она. Тогда Музафар, раздорившись, обратился к невестке:

— А ну-ка, покажи гостям, как ты ладно пляшешь! — И он лихо заиграл мелодию «Зарифа».

Ильсюяр поднялась и, пока гости передвигали стол к стене, подтянула повыше лампу, игриво повела плечами, провела руками по груди, бедрам, томо улыбнулась. Парень не выдержал и крикнул:

— Айда, энгэ, спляши! — и захлопал в ладоши, припевая: — Жизнь твоя вот-вот промчится...

Ильсюяр снова обожгла парня взглядом и выбежала на середину комнаты. Ах, как звонко и ладно она притопывала стройными ножками и как была стремительна. Красивые, плавные взмахи рук напоминали шеи грациозных лебедей.

Позабыв обо всем на свете, парень восторженно следил за Ильсюяр. Почувствовав на себе неравнодушный взгляд Нургали, молодая женщина закружилась с еще большим вдохновением. То она трепетной бабочкой проносилась рядом, то веретеном кружилась на одном месте.

Сынтимер сидел в сторонке и тоже восхищенно наблюдал за торжеством юности и красоты, что булствовала в этом одиноко стоявшем в лесу доме. «Счастлирое поколение! — думал он про себя. — Не о таком ли счастье мечтали и мы в наши юные годы?»

Вдруг в окно на свет лампы ударила летучая мышь. Все разом обернулись в сторону, откуда донесся глухой удар.

Пляска, так стремительно начавшаяся, внезапно

¹ Курай — свирель из тростника.

оборвалась. Ильясюр, молча склонив голову на грудь, торопливо прошмыгнула на кухню.

— Чуть свет скотину надо выгонять,— проговорил, поднимаясь, Музафар. Он слегка покачнулся. Видать, усталость взяла свое.— Эх, Ягафара нету дома. Вот он бы показал вам, как нашенские умеют плясать!

Странная тишина установилась в доме после слов Музафара. Сынтимер и Нургали тоже поднялись из-за стола... Пока они стояли, удивленно переглядываясь друг с другом, Музафар крикнул:

— Невестушка, гостям постели на полу!— Затем обернулся к плотогонам:— Ни пуховых перин, ни кроватей тут у нас нет... Чем богаты, тем и рады. Так что вы уж не обижайтесь...

— Спасибо, пожалуй, мы пойдем к себе в палатку,— сказал Сынтимер и шагнул к двери. Нургали же стоял истуканом и не знал, что сказать. На его счастье, хозяин дома категорично возразил Сынтимеру.

— Это еще что? Вы мои гости и никуда отсюда не пойдете!— сказал он и расхохотался.— Ишь какие, оказывается, у них палатка имеется! Палатка палаткой, а спать будете здесь. Я сейчас попрощаюсь с вами, потому что ухожу рано.

— А удобно ли это будет?— робко спросил Сынтимер.

— Что еще за разговоры! Располагайтесь на полу, места вдоволь, всем хватит,— строго, не терпящим возражения голосом сказал хозяин.— Спите себе в удовольствие. Утром невестка чаем напоит,— последние слова он произнес подчеркнуто громко, чтобы их услышала на кухне Ильясюр. Но в ответ не прозвучало ни слова. Помолчав, Музафар громко продолжил:— Как хорошо, что вы набрали на нас. Большое спасибо вам, на душе весело стало.

Согласившись заночевать, гости вместе с хозяином вышли на крыльцо подышать свежим воздухом. Музафар пошел посмотреть скотину.

Дождь все еще продолжал накрапывать. После теплого дома улица показалась еще более стылой, неуютной. На небе не проглядывалась ни одна звездочка. Сынтимер нутром чувствовал, что всю округу обложили тяжелые тучи, и вдруг ему не стало хватать

воздуха, сдавило грудь. «Хотя бы ветерок подул, что ли!» — подумал Сынtimer, когда сердце стало колотиться с перебоями. Он взглянул на Нургали, но тот стоял, нервно переступая с ноги на ногу.

— Мырза, может, нам все же податься к нашему плоту, а? — приглушенно спросил Сынtimer.

— Хозяев обидим... — после некоторого молчания ответил парень. — Потом больно уж темно, сыро...

Когда хозяин вернулся, все трое молча вошли в дом.

Музафар лег спать на своей скрипучей кровати в сенях. Плотогоны протопали в комнату, обувь оставили возле дверей и улеглись на ватные матрасы. Ильсюяр постелила себе в переднем углу. Убедившись, что свет больше никому не нужен, женщина вышла из кухни, задула лампу, унесла обувь гостей сушиться и только потом легла спать.

За окнами по-прежнему шумел дождь, гулко шелестели мокрые листья. Дом погрузился в тягостную тишину. Лишь за печкой верещал грустно сверчок да с присвистом храпел в сенях Музафар.

Сынtimer долго не мог уснуть. Его будоражили тихие ночные звуки, в голову лезли разные мысли: сверчок напомнил детство, когда длинными зимними вечерами он с братишками забирался на печь и каждый слушал своего сверчка, потом чужого, спорили, чей сверчок лучше поет. Вдруг вспомнилась война — в такую же вот дождливую погоду перешли свою границу и погнали врага уже на его земле. Солдаты с благоговением разглядывали израненный пограничный столб, заваленный землей, святую реликвию, многие даже плакали. Неожиданно вспомнился смех хозяйки и взбудоражил душу.

Нургали заснул мгновенно, как только голова коснулась подушки. Молодость взяла свое. Казалось, что у него нет никаких забот и печалей. «А вообще-то, что мне душу гложет забота? — подумал Сынtimer. — Никто меня не ждет, никто не тоскует. Дел особых тоже нет. Ну и что одинокому нужно? Изба есть, пенсию как инвалиду войны хорошую оформили в этом году, аульчане уважают!» И все же душа его чем-то не удовлетворена, какой-то уголок сердца ноет... Возможно, одиночество навеивает тягостные мысли? Хотя он уже давно свыкся со своей судьбой. Не

каждому же предназначено найти заветную подругу жизни и завести счастливую семью. Вот и жизнь его промелькнула в вечном ожидании чего-то необычайного, видимо, даже неосуществимого. Жизнь, видно, похожа на человека, который, проснувшись однажды в полночь, ищет на небосводе солнце. Ему уже давно перевалило за пятьдесят, а над горизонтом его жизни слишком редко были ясные рассветы. Но значит ли это, что он человек из несчастливых? Может быть, кое-кто и считает его несчастливцем, кто знает... Если так, то эти люди сильно ошибаются. Ведь нельзя же счастье понимать как семейное благополучие, полный достаток с личной машиной в гараже... Счастье, пожалуй, понятие и социальное, как теперь часто любят выражаться ученые люди. А почему бы и нет? Он от имени своего поколения может твердо сказать любому, что его поколение прожило тревожную и счастливую молодость! И взгляд на понятие «счастье» у них свой... Вот он поставит избу молодым, разве это не принесет и ему счастья? Ведь все зависит от того, как понимать счастье — эту синюю птицу. А уж если пораскинуть мозгами, то ведь и среди несчастливых есть самые счастливые...

И вдруг Сынtimer вздрогнул: снова, уж в который раз, он явственно услышал тот самый волшебный смех, так похожий на журчание ручья и воркование горлицы. Может быть, это от бессонницы? Подняв голову и вытянув шею, он посмотрел в передний угол, где спала Ильсюяр, может быть, она проснулась? Или ему в конце концов мерещится? Но в доме — ни звука. Сынtimer довольно долго пролежал затаив дыхание и прислушиваясь. Что это за знакомый голос, который то и дело накатывает, тревожит душу, вызывает в памяти чей-то знакомый образ? Сердцем он чувствует, что этот голос принадлежит очень дорогому для него человеку. Но кому? Кому? Ему кажется, если перед ним откроется эта тайна, на душе станет намного легче.

Долго пролежал Сынtimer, ворочаясь с боку на бок. И все-таки сон одолел его. И приснилось ему, будто перед ним раскинулся сплошь усеянный цветами луг. Трава достигала пояса и мешала идти сильно помолодевшей Магинур, которая была одета в длинное белое платье. Следом за Магинур крупными

снежинками летели белые бабочки. Магинур откинула голову назад, широко развела руки в стороны и громко рассмеялась. В стремительном беге она то и дело отрывается от земли и взлетает над лугом. Потом она села и стала плести из цветов венки. Руки ее плели так быстро, что за ними невозможно было уследить. Синтимер завороченно смотрел на ловкие пальцы любимой, счастливо улыбался. И вдруг заметил, что по цветам к Магинур приближалась огромная гадюка. Девушка была настолько увлечена венком, что не заметила опасности... Синтимер хотел броситься к Магинур, чтобы спасти ее от надвигающейся беды, но высокая трава перевила ноги, сковала движения... И тут неожиданно появился Акбирде, одетый в белую рубашку, белые штаны, с занесенной для удара косой. Но первый же удар пришелся мимо. Змея ускользнула и, высунув двойной язык, зашипела. Наконец Магинур заметила змею и попыталась бежать, но ее опутали толстые паутины.

— Акбирде, руби гадюку, руби! — закричал Синтимер. Но тот не услышал.

Тогда Синтимер догнал Акбирде, вырвал из его рук косу и замахнулся на змею. Но тут Магинур предстала в облике незнакомой женщины и сказала повелительно:

— Беги, Синтимер, бросай косу! Сейчас она тебя укусит! Беги! Беги!

Женщина была незнакома, но голос ее он уже слышал когда-то...

Синтимер проснулся в холодном поту и едва сообразил, где он...

Во дворе, возле крыльца, истошно лаяла собака. Синтимер окончательно пришел в себя лишь после того, как коснулся рукой Нургали, который спал, словно дите, свернувшись калачиком. Синтимер сел. Напомнила о себе занывшая раненая нога. «На погоду, скоро дождь пройдет», — потирая ногу, безошибочно определил старый солдат. Прислушиваясь к ночным звукам, плотогон нащупал в кармане сигареты и, прихрамывая, вышел в сени. Только он чиркнул спичкой, как поблизости раздались два выстрела. Рука Синтимера дрогнула, и он выронил спички. Кровь ударила в голову. Кое-как прикурив, Синтимер вышел на крыльцо. Со стороны хлева, шлепая

по лужам, шагал с ружьем за плечами Музафар. Он ничуть не удивился, увидев Сынтимера, сидящего на крыльце и курившего сигарету.

— Дай-ка закурить,—спокойно, будто зная, что гость должен был встречать его, попросил Музафар. Затем снял с плеча двустволку и прислонил ее к стене. Взяв протянутую папиросу, он затянулся с наслаждением.

— Косолапые пожаловали... Два медведя...— проговорил пастух, сдержанно улыбнувшись.—В последнее время еще не было случая, чтобы они так озорвали. Обнаглели, хотя в лесу ныне ягод полным-полно. Жратвы им по горло...

Распахнулась дверь избы, высунулась голова Ильсюяр. Большие глаза смотрели удивленно-настороженно.

— Ушли? — спросила она.

— Драпанули,—спокойно ответил Музафар и тут же попросил: — Поддай-ка мою стеганку. Под плащ поддену.

— Снова пойдешь? — спросил Сынтимер.

— Надо. Второпях, оказывается, ружье зарядил мелкой дробью,—сказал Музафар, надевая под плащ стеганку, вынесенную Ильсюяр.— Кажется, задел разбойников. Теперь они злые, как бы чего не натворили.— Затем обратился к Ильсюяр: — Иди в дом, не мерзни, ложись и спи спокойно.

Женщина бесшумно скользнула в дом.

Немного погодя до Сынтимера донесся из избы приглушенно журчащий смех женщины. Опять знакомый голос преследовал Сынтимера и во сне и наяву. Хотя он и был озадачен этим, однако поспешил спросить у Музафара:

— Собаки учуяли?

— Ага. Было у меня их три. Одну в начале лета потерял. Хорошая была собака.

— В медвежьих лапы угодила?

— Вот именно. Косолапый пытался сломать изгородь и пробраться в хлев, а разъяренный Полкан бросился на него. Я не успел выстрелить. Медведь разорвал его...

— Жалко собаку... Оказывается, опасная у тебя работа,—посочувствовал Сынтимер, а сам все при-

слушивался к приглушенному женскому смеху, доносившемуся из избы.

— Дело привычное. Только одно меня тревожит, что-то Ягафар долго не возвращается... Жалко мне его — с одной-единственной женой не может справиться. Вообще-то невестка сама по себе неплохая, сам видишь — все при ней... Дурного о ней ничего не скажу. И готовить мастерица, и человек по себе добрый. Между прочим, когда я был молодым, супружница моя поначалу тоже пыталась показать норов. Но я поставил вопрос ребром: или живешь мирно и дружно, или, пока нет детей, убираешься своей дорогой... И остепенилась. Правда, мы жили в иное время. Впрочем, что мне объяснять тебе, семейному человеку... — смущенная улыбка исчезла под усами.

«Семейный человек»! — Сынтимеру было тяжело слышать такие слова. Он хотел было рассказать о своей жизни, но поперхнулся первым словом и вздохнул тяжко.

— Так-то оно так... — с трудом выдавил он и глупо затаился табачным дымом.

А Музафар продолжал свое:

— Знаешь, кордаш¹, одному удивляюсь. Они без конца долдонят друг другу «люблю, умру за тебя» и в то же время живут как кошка с собакой. Смешно. Однако вот чего я остерегаюсь: как бы мой братишка из-за своей любви глупостей не натворил, уж больно горяч. Прошлой осенью я был в Москве, в Ленинград заезжал. Сраму навидался! В метро, прямо на эскалаторах, парни с девушками стоят обнявшись и вот целуются! Вот тискают друг друга! Тьфу! — Музафар плюнул под ноги, посуровел глазами, видно, ждал вопроса. — В вагонах метро лапаются, дергаются. Ведь собаки и те стесняются посторонних глаз...

— Чё в Москве? Я в Уфе в трамваях видел таких же, — буркнул Сынтимер.

— Впрочем, нам трудно понять современную молодежь, — продолжал грустно пастух. — У нас было по-иному. Помню вот, отец поехал сам, повидал будущую невестку, договорился обо всем с ее родителями — и на том все и закончилось. Живи себе в добром согласии... И тут, конечно, немало было накладок, слез... но совестливости было больше...

¹ Кордаш — ровесник.

Музафару, видно, очень хотелось подольше поговорить, излить душу. Да и Сынтимер после встревожившего его душу сновидения тоже не торопился снова в постель. Собеседники запалили по новой сигаретке.

— Вот, помню, в детстве я как-то поймал лисенка,— перевел разговор Музафар опять на себя.— Отец у меня был тогда лесником. Когда я сказал, что выращу лисенка сам, он не стал возражать. Соорудил я, значит, ему клетку, а тут мой брат еще одного лисенка из лесу притащил. Последний оказался лисой, а мой был лис. Мы обрадовались и очень надеялись, что они подружатся. И что же ты думаешь? Они рвали друг друга, буквально ненавидели. А мы все держали их в одной клетке. Однажды утром моего лиса нашли в клетке мертвым. Вот так. Ну ладно, кордаш, я что-то заговорился,— неожиданно оборвал беседу Музафар.— Спасибо, что заглянул к нам. Остаток ночи я проведу возле скотины. А то ненароком косолапые опять заявятся. Жалко их, конечно, ну а уж если полезут, придется ухлопать...— Музафар протянул собеседнику руку и закинул ружье за спину.— Если суждено, то еще как-нибудь встретимся...

— Говорят же, только гора с горой не сходится. Ну что ж, бывай здоров!

— А вот сигареты твои мне понравились.

Сынтимер полез в карман:

— Так на, бери всю пачку.

Музафар стал было отказываться, но Сынтимер настоял на своем:

— Бери, бери, в палатке у меня еще есть.

— Ну, спасибо. Без курева никак не могу.— И Музафар зашагал со двора.

Сынтимер зябко передернул плечами. Беседа с Музафаром явно доставила ему удовольствие, на душе стало легче, и боль в ноге вроде бы тоже унялась. Сынтимер докурил сигарету и, швырнув окурки в темноту ночи, вошел в сени и закрыл за собой дверь. Стоило ему оказаться в избе, как снова хлынули в его душу тревожные видения кошмарного сна. Ошупью добравшись до постели, он лег, поправил одеяло Нургали, который по-прежнему спал крепко. И снова Сынтимер не мог уснуть, хотя домашнее тепло, сладковато-кислый запах молока, хлеба, впрок

заготовленных лука, мяты, укропа, запахи, характерные для неоштукатуренных просторных деревянных бревенчатых изб, напоминали детство, и он позавидовал Нургали, у которого будет всегда уютно в доме и счастье никогда не отвернется от его семьи. Сердце Сынтимера снова сжалось, вспомнил покойного Акбирде, его жену, так странно приснившихся...

Сынтимер не заметил, как он задремал, и опять приснился ему странный, непонятный сон. Он явственно слышал тихие голоса мужчины и женщины. Чем внимательней он прислушивался, тем отчетливей слышал разговор...

— ...Не проснется он? — спросила женщина.

— ...Нет, спит без задних ног, — ответил мужской голос. — Я хорошо знаю его...

И странно, когда голоса затихли, Сынтимер окончательно проснулся. Ему уже не казалось, что он голоса слышал во сне, понял, что это было наяву. Он осторожно протянул руку к Нургали. Постель его была пуста... Сынтимеру не хотелось верить своей догадке, он тут же отбросил ее. Может, парень просто вышел во двор, а он черт знает о чем подумал! Старый брюзга! Сынтимер спокойно стал ждать возвращения Нургали. Прошло немало времени, а парня все не было. Лишь слышно, как в каком-то углу на пол капает вода с потолка... «Надобно бы тазик поставить», — подумал Сынтимер, боясь шевельнуться и предчувствуя, что вот-вот что-то должно случиться.

И вдруг Сынтимер отчетливо услышал голос Нургали со стороны переднего угла, оттуда, где спала Ильсюяр.

— ...Да не бойся ты! Это вода с потолка капает...

— ...Верно... — облегченно вздохнула женщина, кажется, даже беззвучно рассмеялась. В тревожной ночной тишине послышался звук поцелуя...

Теперь Сынтимер окончательно понял, что это за голоса. Он боялся шелохнуться, лежал, одеревенело застыв, и не знал, как поступить. Ему вдруг стало душно, он проклинал себя, что стал невольным свидетелем прелюбодеяния.

А голоса в переднем углу все слышались отчетливей, точно эти двое проверяли его выдержку.

— ...Мне кажется, что я знаю тебя всю жизнь!.. — прошептал Нургали.

«Врешь! Мелкий воришка! — хотел крикнуть Синтимер. — Вы украли чужое счастье! Вы обворовали свою душу!» И тут он невольно представил дочь своего друга замужем за Нургали, и ему стало жутко, сердце снова начало давать перебои.

Не зная, как дальше вести себя в этой ситуации, Синтимер решил уйти, осторожно поднялся с постели и, стараясь не скрипнуть половицей, направился к двери... К счастью, дверь была не на крючке и открылась легко, беззвучно. «Подлец, и тут наврал! — подумал Синтимер. — Уйти! Бежать, бежать!»

В темных сенях он долго не мог найти свой плащ. Старался делать все тихо, но получалось шумно и неуклюже. И тут он вспомнил, что плащ и обувь отнесли куда-то сушиться. Как же быть? Ему надо быстрее бежать отсюда, куда угодно, но уйти немедленно! Как быть? Что делать? Ворваться в избу и крикнуть: «Что же вы делаете, подлецы?» Избить Нургали и вышвырнуть его? Но это выше его сил! Оставаться вот так, затаившись, делая вид, что ничего не видел, ничего не слышал? Значит, быть соучастником. Ну как же поступить? А вдруг сейчас возвратится Музафар? Может подумать, что он, старый калека, специально вышел в сени, оставил их одних...

Ну как, как он мог уснуть так крепко, что не слышал исчезновения Нургали?

От этих мыслей его бросило в озноб. И тогда он, обессиленный и беспомощный, упал на койку Музафара. Такое же состояние Синтимер испытал под первой бомбежкой, когда он, как и многие его товарищи, выбросился из горящей теплушки и не нашел ничего лучше, как упасть неподалеку от эшелона, охваченного огнем, хотя рядом были кюветы, густой лес... Несмотря на жару августовскую, у него от холода не попадал зуб на зуб... Вот и сейчас его бил такой же озноб.

Синтимер почти с головой укрылся теплым одеялом и сразу же обмяк. Он чувствовал себя виновным перед Музафаром, его братом, будущей женой Нургали... Он корил себя за то, что согласился прийти в этот дом, будто бы не мог переждать дождь в палатке, проклинал тот час, когда поддался уговорам

хозяина и остался ночевать... Как он утром посмотрит в глаза Музафару? Что он скажет?

Тревожные мысли Сынтимера были внезапно прерваны необыкновенной тишиной и лесной прохладой, вползающей в сени через дыры и щели крыши. «Дождь перестал», — догадался Сынтимер и вдруг подумал, а что он скажет Ильсюяр, если она ненароком увидит его здесь? «Проводил Музафара, остался спать на его кровати!» Но она же слышала, как он лег на пол, возле Нургали. Даже ей, этой... надо врать, прикидываться, что ничего не видел, ничего не слышал! Может быть, он прямо скажет, чего она стоит? А будет ли он прав? Имеет ли вообще на это право?

И тут старый солдат увидел над головой сквозь щель лубяной крыши оранжевую краюху молодого месяца. Это было так неожиданно после дождливой темени, и Сынтимер невольно загляделся на необыкновенную, надменно-гордую красоту молодого месяца. На миг забылись только что пережитые минуты душевного волнения, переживания. Сынтимер незаметно для себя предал забвению жестокость предательства, невольным свидетелем которого он стал. А широкая улыбка щербатого месяца выудила из памяти тридцатилетней давности очень дорогие и нежные для его сердца события...

...Была вот такая же ночь. Он, раненый, лежал на сеновале какого-то сарая. Пахучее сено напомнило Сынтимеру родные луга, леса. Он долго не мог понять, где находится, что с ним. Попытался было дотянуться правой рукой до пистолета и невольно вскрикнул от дикой боли в плече. И только тут догадался, что тяжело ранен. Захотелось пить, и тут же он подумал, кто и когда затащил его на сеновал? Он хорошо помнил, как его в числе раненых везли на машине в тыл. Потом их колонну неожиданно атаковали фашистские самолеты... Больше Сынтимер ничего не помнит.

Тот, кто притащил его сюда, видимо, был человек опытный и предусмотрительный — раненый пошарил возле себя левой рукой и наткнулся на бидон с водой. С трудом повернувшись на левый бок, Сынтимер приник губами к краю бидона. Пил он долго и жадно. Утолив жажду, снова лег на спину и увидел в ог-

ромной щели крыши молодой, видать совсем недавно народившийся, месяц. Казалось, небесное светило улыбалось широко и беспечно и спрашивало солдата, как он оказался здесь? И от этой безмолвной улыбки притупилась боль в плече, и он вспомнил поверье, о котором ему рассказывала мать: если увидишь заходящий месяц слева, то быть удаче. И вот сейчас Сынtimer увидел, точнее сказать — месяц сам заглянул к нему как раз слева. Значит, быть удаче! И тут же его губы скривились в кислой улыбке — о какой удаче может думать человек в его положении? Однако солдат хотел верить этой примете. Ведь мама говорила о ней!

А щербатый месяц поджаренной краюхой, казалось, даже чувствовался запах свежесвепеченного хлеба, который он источал, завис над солдатом, вот протяни руку и достанешь его.

Непредвиденный покой раненого нарушил скрип открываемых ворот сарая. Кто-то осторожно вошел, взял лестницу и подставил ее к сеновалу... Сынtimer напрягся каждой клеткой измученного тела, затих, даже дышать перестал. Только месяц по-прежнему ласкал его лицо мягким светом, словно подбадривал...

Человек влез на сеновал и, почти не скрипнув ни одной жердиной («Видать, не впервые он здесь», — подумал Сынtimer), подошел к раненому. Чуть приоткрыв глаза, солдат увидел женщину. В сумерках трудно было определить, сколько ей лет.

— Ты кто? — как только мог спокойней спросил Сынtimer.

— Ой! — испуганно вскрикнула женщина и тут же обрадованно сказала: — Миленький, наконец-то пришел в себя! А я-то уж, я все глаза проплакала, думала, не очнешься...

— У меня должен быть пистолет, где он? — строго спросил Сынtimer.

— Спрятала его, миленький, спрятала. Боялась, вдруг придешь в себя и в темноте еще в меня пальнешь... Я сейчас, мигом. — И женщина, отойдя в угол сеновала, порылась там и принесла пистолет. — Вот, бери...

Потом она перевязала рану, накормила горячим, только что выпеченным духмяным хлебом, молоком.

«Так вот почему месяц хлебом пах»,— догадался солдат. А щербатый месяц, казалось, теперь откровенно улыбался и спрашивал: «Ну что, солдат, верна примета матери?»

Тогда же Сынтимер познакомился со своей спасительницей. Женщину звали Мария. Перед самой войной она вышла замуж за Василия, тракториста. И вот где он, как он там, не знает...

Хотя из деревни немцы ушли давно, но Мария старательно прятала Сынтимера, боялась, что найдется предатель и сообщит полициям. Говорила, что, судя по артиллерийским раскатам, бои идут где-то неподалеку.

Сынтимер чувствовал, как с каждым приходом Марии он креп телом, верил в скорое излечение. Ему особенно нравился ее воркующе-звонкий смех и синие-синие глаза. Она была молода — лет двадцати двух — и очень красива. Когда же стало ясно, что немцы больше не вернутся в деревню и убежали все полицаи и староста, Мария решила вымыть Сынтимера в бане. Солдат упрямо и твердо отнекивался, краснел, потом сказал, что он слаб и не может пока ходить... Мария расплакалась и впервые за долгие недели призналась ему в любви...

— Я тебя тоже люблю, Мария,— поглаживая ковыльно-льняные волосы женщины, ответил солдат.— Очень люблю. Но в баню не могу... Не обижайся, не могу... Пойми меня правильно, Мария, твой Василь воюет где-то, может, раненый, а я с его женой...

И тут Мария закрыла лицо руками, и ее покатые плечи затряслись от рыданий.

— Я мерзкая, мерзкая! — стонала она.— Прости меня, Василь! Прости, Сынтимер... Я правду говорю, я люблю тебя, Сынтимер... Ты мне стал самым дорогим человеком... О чем это я? — неожиданно выпрямилась Мария, вытирая ладонью слезы. Белки больших синих глаз покраснели, веки припухли.— Ты, может, и прав, Сынтимер... — И она вдруг нарочито захохотала. И смех ее был похож на воркование горлицы.

— Зачем ты так? — жалостливо взглянул Сынтимер на свою спасительницу.

— Как? — гордо вскинув голову, вызывающе спросила Мария, пытаясь при этом улыбаться. Но вместо

улыбки у нее получилась гримаса, словно она сдерживала невыносимую боль.

— Смеешься, говорю, зачем так, Мария?

— Люблю, Синтимер, тебя я, ой как люблю. Ведь мы, женщины, в любви бездумны... Мы сердцем живем...

...Потом их дороги разминулись: подошли советские части, Синтимер оказался в тыловом госпитале. Командование объявило Марии благодарность за спасение жизни солдата. Прощаясь, Мария сказала Синтимеру, что она будет ждать его... После госпиталя Синтимер заехал в ту деревню, чтоб повидать свою любовь, свою спасительницу, но ему сказали, что она получила похоронку на Василя и медсестрой отправилась на фронт...

Воспоминания Синтимера прервали открывшаяся дверь и появление в сенях улыбающейся Ильсюяр. Увидев на кровати Синтимера, женщина на миг остолбенела, но, поняв, что тот спит, поправила волосы и заворковала довольным смешком. «Вот он, тот смех!» — чуть было не крикнул Синтимер, но лежал с закрытыми глазами. Воспоминания фронтовых лет снова нахлынули горячей волной и заставили учащенно биться сердце. Смех Ильсюяр напомнил тот давний смех далекой женщины, но как он разнился! Тогда Мария смеялась сквозь слезы, это уже был деланный смех, смех защиты своей минутной слабости, смех обиженной женской души. А красивая Ильсюяр смеется так потому, что чувствует свою неотразимость, прекрасно знает, что перед ней редко кто устоит и она может соблазнить каждого... Синтимеру очень хотелось именно сейчас взглянуть на Ильсюяр. О чем она думала? Чему радостно смеялась? Какие чувства она сейчас испытывала, увидев в сенях Синтимера? И как назло, в это время осколок щербатого месяца неожиданно скрылся за тучами, и в сенях снова стало темно, и красивое лицо молодой женщины, за которым осторожно наблюдал Синтимер сквозь полуприкрытые глаза, растворилось, а ее смешок стал звонче и многозначительней.

— Ильсюяр, душа моя! Я тебя всю жизнь искал! — говорил Нургали.

«Они даже меня не стесняются! — с ужасом поду-

мал Сынtimer.— Выходит, я для них не человек уже или они просто верят, что я не выдам их...»

Ильсюяр привычно быстро оделась — набросила телогрейку, обула сапоги, повязала на голову шерстяной платок. Потом взяла подойник, полотенце... Поэтому, как она делала все быстро и складно, чувствовалось, что у нее хорошее настроение и работа была привычной.

Сынtimer сдерживал себя, чтобы не вскочить и не бросить ей в глаза уничижительные слова. Ему казалось, что он уже вечность лежит в этой постели и она так неудобна, так колюча, что хочется вскочить и бежать к реке, к плоту...

Наконец-то женщина оделась и вышла. Брякнул подойник, ударившись обо что-то.

Когда затихли ее шаги, Сынtimer вскочил с постели, рывком открыл дверь и увидел, что Нургали уже перешел на свою постель и спал сном праведника, на его красивом лице застыла довольная улыбка. На какой-то миг Сынtimer даже подумал, что все это ему привиделось, что он ослышался, такой блаженный вид был у парня. Сынtimer хотел было растолкать его и спросить, может быть, он и вправду с ночи спит так? Но тут же отчетливо услышал слова Нургали: «Ильсюяр, душа моя! Я тебя всю жизнь искал...»

«Нет-нет, я ему потом, там выскажу! — убеждал себя Сынtimer.— Тут нельзя. Беда будет...» — И он прошел, прихрамывая, на кухню.

Предрассветные сумерки уже пробивались сквозь оконные стекла. Подойдя к печке, Сынtimer увидел свой плащ, висящий на деревянном гвозде, сапоги, аккуратно поставленные на табурет. Быстренько одевшись, он вышел в сени и хотел только одного, чтобы не встретиться с Ильсюяр. Он боялся, что ей-то он может в сердцах высказать все. Сынtimer с жалостью посмотрел на кровать Музафара, и ему показалось, что там спит муж Ильсюяр — Ягафар, хотя он его ни разу и не видел, и осуждающе смотрит на него, словно говоря: «Что ж, Сынtimer-агай, ты не защитил мою честь? Не боялся фашистов, жизнь нашу отстоял, а тут спасовал, ненужную деликатность проявил, их самолюбие пощадил, а мое? Ведь они даже

тебя не постеснялись... Эх, Синтимер-агай, а еще солдат!»

Наконец Синтимер выбрался за ограду. Последний раз окинул взглядом большую и красивую снаружи избу, которая теперь довольно отчетливо вырисовывалась сквозь рассеивающийся туман. Видны были пики высоких елей, кудрявилась рваными клочьями нефритовая зелень вековых лип. Вдали очертились ломаной линией могучие горы. Над ними завис месяц. «Вот тебе и счастливая примета!»

— Синтимер-агай, куда же вы? — внезапно окликнула его молодая женщина. — Парного молока попейте, сейчас самовар поставлю...

«Какая змея!»

Синтимер быстро определил по свежему ветерку, дующему со стороны Агидели, где их плот. Он вышел на довольно хорошо различимую тропу и широко, по-солдатски зашагал к реке. Обильная роса моментально отяжелила полу плаща, щедро окропила сапоги. Запахи разнотравья бодрили усталое тело. Робко просыпались лесные пичуги. Они явно ждали первых лучей солнца...

Как ни старался Синтимер отвлечься от ночных волнений, как ни хотел погасить в себе неприязнь и отвращение к невыдержанности Ильсюяр и подлости так полюбившегося ему Нургали, а мысли нет-нет да и возвращали его в избу на кордоне. Он сейчас боролся со своим чувством ненависти к парню и не знал, как ему поступить при встрече с ним, как держать себя? Как? Он, конечно, может все высказать ему в лицо, если будет повод, а то и влепить пощечину, но будет ли прок в этом? Хорошо, он, как старший товарищ, постыдит его, ткнет его, как нашкодившего кутенка, носом, скажет ему, как подло и низко он поступил по отношению к Музафару (который пригрел их, дал ночлег), украл любовь у его брата, больше того — обворовал себя! Где же предел подлости? Ведь и дня не прошло еще с тех пор, как он соловьем заливался о своей любви к Бибинур, мечтал о красивой жизни, верной любви. И он, старый солдат, человек, немало проживший, знающий плохое и хорошее в жизни, развесил уши, сразу же поверил проходимцу, для которого нет, оказывается, ничего святого. Когда и где Нургали научился этому?

Вот, пожалуй, корень зла и главный вопрос сейчас для него. Ведь Сынтимер может и отказаться от своих слов и не поставить ему избу. Ну и что из того? Нургали наймет другого плотника, который срубит дом, пусть хуже, ну и что? Ведь и тут Нургали не был с ним откровенен, в нем взыграло честолюбие. Парень просто хотел говорить всем, что дом ему поставил самый знаменитый в округе мастер — Сынтимер-агай, который уже давно никому не ставит избы! Это было бы для него престижно, а не потому, что он хотел сделать подарок для своей любимой. И как это он, старый солдат, не раскусил его! Понятно, заслушался рассказов парня о любви к дочери покойного друга, и сердце, переполненное радостью за счастье близкого человека, давно не слышавшее таких возвышенных слов, искренне поверило Нургали... Но разве можно ругать сердце за доверие, за слабость, за умение радоваться чужому счастью, переживать чужую боль? Нет-нет, он, Сынтимер, не виноват, что поверил краснбайству Нургали. Ну а как жить без доверия? Разве бы он выжил в войну, если б не верил в товарища, друга, соседа? Сколько радостей все испытывали, когда кто-то получал добрую весть от любимой!

Хорошо, допустим, он скажет Нургали все, что он о нем думает, пристыдит. Но парень может ответить ему: «Какое ваше дело, Сынтимер-агай? Ильсюяр ваша жена? Может быть, ваша дочь? Чего же вы лезете не в свое дело!» И что тогда он ответит подлецу? Единственное — остается ударить... «И зачем я дал согласие остаться ночевать? Зачем? — не замечая крупных капель воды, падающих с листьев на лицо, размышлял Сынтимер. И тут же он попытался успокоить себя, оправдать свой поступок. — Если б не сейчас, то подобный же поступок он сделал бы позже. Может быть, бросить все и уйти? Пусть возится с плотом сам. Догадается, почему он покинул его, — хорошо, не догадается, значит, ему же хуже». Когда решение, казалось, так легко нашлось, Сынтимер услышал рев реки на перекатах, ниже закрепленного к берегу плота. «Видать, в сторону взял», — подумал Сынтимер и тут же представил разъяренную Агидель на этих порогах, самом быстром и опасном месте реки. И мысль, так счастливо пришедшая ему в голо-

ву, оставить Нургали одного и разминуться с ним, немедленно покинула его. «Пропадет он здесь один, не вытянет,—тревожно подумал он и тут же в отчаянии решил:—Ну и пусть! Захочет жить, выберется... Это ему будет мое отмщение за его подлость, предательство...—Лицо Сынтимера озарилось мстительной улыбкой, точно он уже казнил предателя, и до скрипа в суставах потер ладони.—Вот и посмотрим, Нургали, хватит ли тут твоей смелости? Судьба проверит твое мужество! Это тебе не чужую любовь красть в отсутствие мужа! Вот когда жизнь проверит тебя на прочность! И не надо теперь вмешиваться в твою судьбу! А я-то, дурак, искал, как отомстить за поруганную любовь! Нет, справедливость есть на свете, есть! Это я говорю, старый солдат!»

Сынтимер заторопился к реке, точно боялся, что если он пойдет медленнее, то пороги исчезнут и Нургали тогда останется безнаказанным.

...Плотогон подошел к реке, рассвет разгорелся вовсю. На горизонте высветились в алой полосе лес и горы. В мокрых вершинах деревьев лучи восходящего солнца преломлялись алмазным сиянием. Несмотря на внезапно поднявшееся настроение, радость предвкушаемого мщения, Сынтимер тяжело спустился к воде с крутого берега. Почему-то вдруг грудь охватило огнем, под левой лопаткой закололо, словно ударили тупым гвоздем. Он всмотрелся в серо-тяжелые волны Агидели с таким ощущением, как будто видел реку впервые. Река, задержанная рваным туманом, казалось, источала клубы дыма. Плот, привязанный с двух концов веревками к берегу, то и дело бился с глухим плеском о берег. Это на волнах Агидели покачивался будущий дом Нургали... «Самый красивый дом в ауле!—Губы Сынтимера скривились в едкой улыбке.—Самый красивый! Жена самая красивая! Жизнь самая красивая! Не много ли для одного?»

Примерно метрах в двухстах ниже по течению Агидель делала крутой поворот вправо—это огромная, совершенно голая скала как бы хотела преградить путь реке. Ударяясь о скалы, зловеще грохоча, Агидель вынуждена была свернуть вправо...

Сынтимер хорошо знал этот участок реки, здесь он проплывал не раз, гонял плоты большие и малые.

В народе эту скалу называют Хандыктау (Сундук-гора), и плотогоны больше всего боятся ее. Кроме крутых поворотов, тут подстерегают опасные перекиды. Местами скалы выступают из-под воды острыми клыками, разрезая и буравя не только упругие волны, но и все, что попадает на них. Стоит на миг рулевому зазеваться, как плот разнесет в щепки.

Вдобавок на этом месте река делится на два рукава. И надо иметь большое искусство и выдержку, чтобы на крутом повороте не угодить в бурный правый поток. Если же сюда попадет неуклюжий плот или даже лодчонка, считай, дело гиблое. Разъяренная река, подобно необъезженному жеребцу, бешено швыряет о гранитный утес все, что несут ее волны. Тут уж не о плоте следует печься, а скорее о себе надобно позаботиться. Не раз бывали случаи трагические, когда плотогонами оказывались люди случайные. Но уж если ты сумел направить плот в левую протоку, то мимо Хандыктау проплывешь. И вообще, если удастся миновать грозную скалу без приключений, то можно преспокойненько плыть до самой Камы...

Сынтимер стоял, прижав правую руку к левой груди, которая так и пылала, и мысленно представил себе опасный путь, который подстерегает Нургали.

Туман над рекой уже рассеялся, и вода отражала платиновый блеск солнца. Слышнее стал рев реки на порогах у скалы Хандыктау, раньше он был словно приглушен туманом. А там, куда падал свет утренней зари, вода плескалась расплавленным металлом. Вдруг лицо Сынтимера потемнело, тронутые серединой брови сошлись на переносице. Как только он начал собирать свои вещи в палатке, так сразу же подумал: «Что же я делаю? Поддался чувству мести? Может быть, перед уходом Нургали надо было разбудить и по дороге сюда все высказать. Не исключено, что парень и сам не понял до конца подлость своего поступка! Вон же обнимаются, тискаются иные теперь открыто на людях... И ничего. Может, нравы изменились и он что-то не понимает? Да ладно, в ауле разберемся. А бросать его нельзя — погибнет!»

И только сейчас Сынтимер обратил внимание на скосившуюся палатку. Видно, Нургали непрочно забил колья, «Весь он дерганый, неосновательный»,—

подумал в сердцах Сынтимер и почему-то впервые пожалел его.

Собрав свои вещи, Сынтимер прошел на плот, положил поперек бревен две широкие доски, лег на них, подложив под голову дождевик.

Матовая синь неба пологом нависла над ним. Плот слегка покачивало на волнах, и от этого кружилась голова, его подташнивало. «Сдают нервы»,— решил Сынтимер, прикрыл глаза, и ему показалось, что он качается в гамаке. Невольно вспомнилось бо-соное детство, качели, на которых проводил время в осенние дни (летом работали на полях наравне со взрослыми до упаду). Качели так взмывали вверх, что дух захватывало... А потом спорили, что у летчиков тоже бывает такой полет.

От легкой качки или от того, что немного отдохнул, отвлекся от Нургали, и сердце несколько отпустило, боль стала не такой острой, дышалось легче. Сынтимер открыл глаза и увидел в небе поблекший месяц. Он быстро уплывал за бархатную синь западной части неба. Снова заняло сердце — Сынтимеру стало жалко уходящий месяц, его, казалось, чуть грустной и равнодушной улыбки. Опять вспомнилась Бибинур. Как-то она станет жить с Нургали? Получится ли хорошая, крепкая семья или она будет похожа на судьбу Ильсюяр? И он явственно услышал вопрос Бибинур: «Сынтимер-агай, вы заменили мне отца, скажите, достоин ли Нургали моей любви?» И что он ответит? Может, парень оступился, а может быть, это в его натуре... Какой тут можно давать совет?

Покачиваясь на волнах, плот убаюкивал Сынтимера. Его глаза невольно смыкались, видно, сказывалось пережитое и то, что он почти не спал ночью. И приснилась ему Мария... Улыбчивая, ласковая, она корила его за потерянную любовь, за его нерешительность, робость... А ведь как она его любила! Потом вдруг приснился фронтовой друг Иван Башкиров.

«Ваню-то Башкирова нашел после войны, а меня — нет. Эх, Сынтимер, Сынтимер! — укоряла Мария. — Вон как теперь счастливо живут Иван и Алтынчеч!»

«Ты же не знаешь Алтынчеч, — ответил Марии Сынтимер. — Я тебе рассказывал только про Ивана.

А встретились они на передовой, уже после того, как ты мне спасла жизнь».

Сынтимер проснулся с бьющимся от волнения сердцем. Голос Марии был так явствен, что он и сейчас звучал в ушах. «Столько лет прошло, а она до сих пор не выходит из памяти. Может быть, правда, он плохо искал ее после войны? Вон Иван-то нашел Алтынчеч, а я — Ивана... А ведь помог мне в этом Нургали. Ну как тут не благодарить паршивца? Но избу я ему ставить все равно не буду... Ни за что! А Иван хорош! Первым долгом спросил о Марии: «Не с той ли голубоглазой живешь, которая тебе жизнь спасла?» Пусть на этот вопрос нелегко было ответить, однако Сынтимер благодарил друга за добрую память о Марии, которую знал-то он по его словам.

«Жалко, жалко, что не встретились,— сказал тогда Иван.— Таких женщин беречь надо, любить до последнего своего вздоха! Попомни мои слова, друг, такие женщины не исчезают бесследно, возможно, она где-то рядом с тобой живет...»

И эти обыкновенные слова Ивана согрели сердце Сынтимера, определили смысл его жизни. Пусть он не нашел ее, свою Марию, но разве он все эти годы не жил мыслью о ней? Разве он не просыпался каждое утро с надеждой, что все же встретит ее, и верил, что есть где-то человек, который тоже думает о нем и желает ему счастья... Сколько раз образ Марии спасал его от бед, придавал уверенность в самые тяжкие минуты жизни... И всегда он хотел быть лучше, старался делать людям добро и верил, что за такие поступки Мария обязательно сказала бы ему хорошие слова, ласково улыбнулась... И чем старше становился Сынтимер, чем дальше уходил светлый образ Марии, тем основательней понимал он суть человеческой жизни...

В добром и чистом, как родниковая вода, деянии своем видел смысл жизни, и тогда одиночество не казалось таким горьким и обреченным. И он пришел к выводу, что человек не может быть одиноким и забытым, если тепло сердца отдает людям. Эта истина известна, пожалуй, каждому, но не каждому, видно, дана щедрость души, и не всякий понимает величие такого простого человеческого поступка. А он-то разве

сразу домыслил до этого? Нет. Любовь к Марии, тоска по ней пробудили в нем светлые, возвышенные чувства...

...Мысли Сынтимера внезапно были прерваны шумом: кто-то торопливо бежал по прибрежным кустам. Сынтимер поднял голову и кинул взгляд в ту сторону, откуда доносились шаги. В суматошном беге, тяжело дыша, в одной рубашке к берегу несли Нургали. Он стремительно спустился к кромке воды и, увидев на плотике Сынтимера, снова стремительно взбежал на берег, сорвал палатку, суетливо побросал в нее вещи, свернул и все это бросил на плот. Сынтимер не успел открыть рта, чтобы спросить, что творится с парнем, как у того в руках блеснул топор и он одним взмахом перерубил чал. Плот качнулся и стал медленно отплывать от берега.

Сынтимер все еще удивленно и ничего не понимая смотрел на взъерошенного, с перекошенным от испуга лицом парня. «Неужели на косолапого напоролся?»

— Сынтимер-агай! — наконец крикнул Нургали, давясь словами. — Давай скорее отчаливать отсюда, скорее!! — и, задохнувшись, рухнул на плот.

Слова парня окончательно убедили старшего плотогона в том, что Нургали явно встретил медведя.

Немного передохнув, парень поднял голову и удивленно взглянул на Сынтимера, который продолжал спокойно лежать. И вдруг он стал умолять:

— Сынтимер-агай, ради бога, вставай... агай! Зачем ты меня не разбудил? Зачем там оставил одного? Меня... меня...

Сынтимер жестом показал на перерубленную чалку, мол, зачем это сделал? Однако Нургали находился в таком состоянии, что ничего не понимал, а между тем плот разворачивало течением поперек реки.

Нургали, продолжая лежать, заикаясь, упрекнул:

— Почему оставил меня? Вв-вернулся... дом-мой вв-вернулся... Я-ягафар домой вернулся... Бросился на меня... А я ведь даже пальцем не коснулся его жены... Как уснул с вечера, так и лежал! Сволочь! Вслед мне из ружья пальнул! Убить же мог, гад! Почему не разбудил, Сынтимер-агай?

Старший плотогон с трудом сдерживал себя, чтобы не закричать: «Подлец! Нашкодил, а теперь в кусты!» Но страх и растерянность парня смутили его

и растопили накопившуюся в душе злость и оскорбление. Нургали был жалок и, казалось, отторгнут всем миром. Красивое его лицо было искажено страхом.

— Возьми себя в руки, мырза, не трепыхайся,— как можно спокойней сказал Сынtimer.— Ты напрасно перерубил чалку, она могла пригодиться.

И только тут, придя в себя, Нургали вскочил на ноги и с надеждой посмотрел на старшего товарища. А плот почти уже развернулся поперек реки. Зная, чем это может закончиться, Нургали схватил топор и побежал к закрепленному концу плота. Однако он не успел добежать до другого конца плота, как под напором стремительной реки плот задрожал всеми бревнами, готовый вот-вот развалиться, как струну натянул чалку.

— Руби чалку! Чего смотришь? — с трудом поднимаясь, закричал Сынtimer и, едва передвигая ноги, двинулся к рулевому веслу.

Однако его команда оказалась запоздалой. Плот, словно пробуя прочность чалки, рванулся, раздался легкий треск, и пеньковая веревка, не выдержав напора воды, лопнула. Плот, неуклюже став своей огромной массой поперек реки, стремительно понесся по течению. Сынtimer повис на правиле и пытался хоть как-то выровнять плот. Но ошибку Нургали теперь уже невозможно было исправить. Мощное течение несло плот к середине реки. Тревожный рев подстерегающего впереди переката становился все ближе, рычал все угрожающей...

— Греби! Сильнее греби! — кричал Сынtimer Нургали, который стоял и очумело смотрел на переднее весло. И вдруг он прикрыл лицо и заголосил:

— Пр-роп-пали, Сынtimer-аг-гай! Про-па-ли!

— Рано пропадать, мырза,— скрипнув зубами, выдавил Сынtimer. Он из последних сил работал веслом и шептал про себя: «Нет, нам еще рановато пропадать...» — но опытным глазом прикинул, что на таком близком расстоянии от переката, да еще одним веслом плот вряд ли удастся поставить по течению и подчинить своей воле. И тем не менее Сынtimer продолжал ворочать веслом. В какой-то миг он даже почувствовал, как в нем прибывают силы...

— Греби, греби, мырза! Не бойся! Не пропа-

дешь! — поддерживал он все еще оторопело стоявшего напарника. И тут Сынтимер почувствовал, как к его горлу подкатился тяжелый ком, и он почему-то зашептал: — Только вот жаль... Жаль Бибинур... Она же единственная у Акбирде...

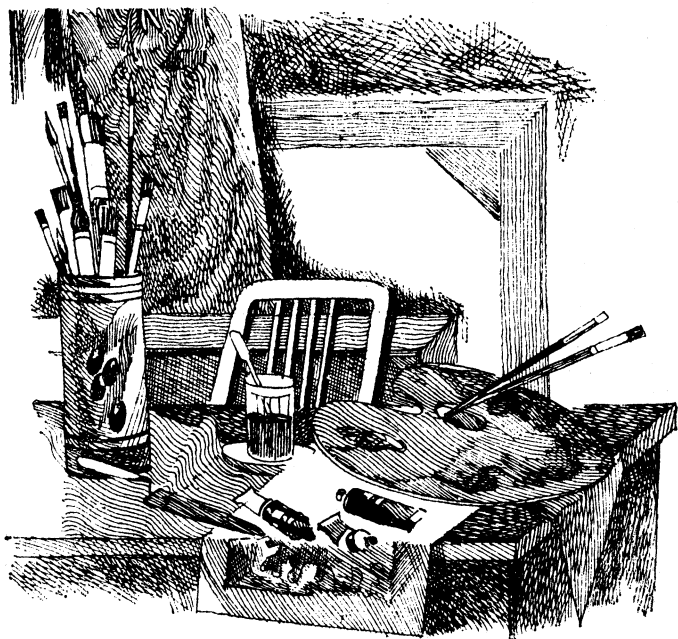
Сынтимер не договорил. Неуправляемый, неуклюжий плот сильным течением понесло в правый бурлящий поток, где он тут же с грохотом врезался в острые камни порога и, словно могучий зверь, напорвшийся на рогатину, замер на миг. Потом заскрипел, задержался и стал разваливаться. Щепы янтарной древесины, золотясь под лучами восходящего солнца, понеслись в водовороте... Сынтимер повис своим небольшим телом на правиле и надеялся сохранить часть плота. Но повторный удар о камни опрокинул его назад, и он ударился затылком о бревно. Удар был такой силы, что он на какое-то время потерял сознание.

Сынтимер не видел уже, как плот развалился на две половины и передняя часть, попав в водоворот, понеслась к скалам Хандыктау. Сквозь шум и грохот воды не было слышно крика Нургали, вызывавшего о помощи...

...Сынтимер пришел в себя от теплых лучей ласкового солнца. Он лежал на трех уцелевших бревнах. Он попытался подняться, но не смог, закружилась голова, заныло тело. Его насторожила тишина и легкий плеск воды.

— ...Нургали... брат! — позвал Сынтимер, но ответа не последовало. Тогда он с трудом приподнялся и посмотрел по сторонам. Тихая речная гладь окружала его.

— Эх, Нургали... Нургали! — прошептал с горечью Сынтимер.



В ЧАС ЗАКАТА

Сентябрь заявил о себе проливными дождями, порывистыми холодными ветрами и липкими мокрыми листьями, ржавыми заплатами покрывшими землю. Дождь азартно лил вот уже неделю, точно небесные силы нагнали над Уфой тучи со всего света. Это был даже не дождь и не ливень — с неба стеной лились потоки холодной воды, и казалось, им не будет конца и края. Троллейбусы, автобусы, легковые и грузовые машины двигались как бы на ощупь — робко, осторожно, неторопливо, шумно разваливая колесами мутные, пенистые потоки воды.

Дома, деревья, кустарники потемнели от воды и выглядели непоправимо больными. Обвисшие ветки с вкрапленными желтыми и оранжевыми листьями —

приметами наступающей осени — напоминали пигментные пятна на теле старого человека.

Вся эта промозглая хлябь так уверенно захватила город, что уфимцам стало казаться, что эта непогода будет длиться вечность.

Где-то затаились стаи молодых чирикающих от избытка чувств воробьев, исчезли прилетевшие из леса первые синицы, даже наглые хозяева городского неба и свалок — вороны и те попрятались...

Особенно тяжело и болезненно переносил такую погоду художник Сынбулат Бикбулатович Карагуров. Его совсем недавно выписали из больницы — был обширный инфаркт миокарда. Отлежал он на больничной койке под неусыпным наблюдением врачей около четырех месяцев, но силы восстанавливались медленно.

Карагуров живет в Уфе больше тридцати лет, но он не помнит такого сентября. Осенний месяц не только начался дождем. Пришел он еще и с холодом, злым и порывистым ветром, который своим свистом и воем вносил в душу Карагурова тоску и уныние, как бы злорадно говоря: мол, вот-вот и тебе стукнет шестьдесят...

Сколько помнит себя Сынбулат, он еще никогда так жадно и нетерпеливо не ожидал прояснения — голубого неба, солнца, тепла. Даже наоборот, раньше дождливая погода услаждала его, в монотонном голосе водяных струй он находил нечто созвучное, близкое душе, а серая пелена дождя, тяжелые и мрачные тучи вызывали в нем желание запечатлеть все эти тона и полутона красок на полотне так, чтобы они пробуждали в людях не только печаль и грусть, но и успокаивали их и чтоб появилось у них желание созидать, вершить добро... Не случайно же, наверно, великий Пушкин создавал свои лучшие произведения осенью, думал художник. Сейчас Карагуров, как ни странно, все чаще, с радостью вспоминал голодное отрочество, когда он в одной рубашке, босиком, с непокрытой головой шагал по грязным, глинистым дорогам, нередко под мокрым шквалистым снегом. Он скользил, спотыкался по ухабистой, казалось, бесконечной дороге, дрожал от холода, но никогда печаль не закрадывалась так глубоко в его душу. Больше того, были времена, когда такая вязкая, се-

ро-дождливая погода доставляла ему удовольствие и он мог шагать весело, веря в свои силы, а какие они, он тогда и не знал, вызывая хохот над бессильем вредной непогоды: пел песни, сняв рубашку, подставлял худую грудь колючим струям дождя, засучив штанины, лез в мутные лужи... Дома, охая и ахая, встречала мать, всплескивала руками: боялась, чтоб ненароком сын не прихватил лихоманку... Сынбулат, отбивая дробь зубами, пил кипяток, настоящий на разных травах, забирался на нары, укрывался войлоком и, согревшись, засыпал крепким сном. Просыпался на следующий день бодрым и здоровым, мокрым от пота...

Какое это было прекрасное время!

Вспоминая прошлое, Карагуров с трудом верит, что он так шутя, играючи переносил любую непогоду. А может, он теперь воспринимает жизнь с высоты своих приближающихся шестидесяти лет тоже совсем иначе. И в этом он не признается себе и ищет какую-то подоплеку? Конечно, сейчас он смотрит на жизнь по-иному. По-другому и быть не может. Тогда жизнь виделась бесконечной, смерть походила на пустынный мираж. Ныне же художник отчетливо сознает реальность приближающегося конца и понимает, что он гость на этом свете, а раз гость, значит, должен оставить о себе доброе имя...

Однако это совсем не значит, что он разлюбил жизнь, что она опостылела ему. В свои неполные шестьдесят лет Сынбулат Бикбулатович повидал многое, пережил немало, были успехи и горести, страдания и радости... И кажется, только теперь он понял, что человек должен ценить каждый миг своей жизни, ибо это высочайший дар Природы! А ведь по-настоящему он все же оценил и переосмыслил жизнь под Сталинградом, хотя было ему тогда всего двадцать лет...

Карагуров, лежа в постели, смотрит на мокрые стекла окон, и кажутся они ему живыми — стекаемая вода вдруг сдувается ветром, взвихривает, поднимается под самую раму и начинает расписывать стекла дождевыми рисунками, и стекла будто оживают: начинают плясать, кривляться...

Художник не заметил, как на какое-то время он забыл о раздражающей его непогоде: вспомнил вдруг

босоное детство, тихие воды Акнугуша, где он часами ловил на самодельный крючок, сделанный из булавки, карасей, ершей, окуньков... Речка была светлая, как улыбка младенца (в те давние годы он так не думал!), берега, обрамленные камышом, затоны и заводи, усыпанные белыми и желтыми лилиями, были так упоительно красивы, что он, будущий известный художник, не замечал, как клюет рыба и конец ореховой удочки утонул... Что-то шепча, парнишка, улыбаясь, не сводил глаз с этой волшебной красоты. О такой красоте он читал только в сказках. Вот и сейчас Карагуров почти физически ощущал, как теплая вода Акнугуша плещется у его босых ног и лилии зелеными нитями уходят в глубь реки... Он отчетливо слышал шелестящий говор камышей, фырканье пасущихся неподалеку стреноженных коней, их ржание... «Хотя бы на миг возвратиться в детство! Пробежаться босиком по отмели, рассыпая фонтаны искрящихся на солнце брызг!»

Эта неосуществимая мечта вернула Карагурова к действительности. Он приоткрыл тяжелые веки и снова увидел за окном тяжело-серую мглу, услышал грохот сорванного с крыши железа и почувствовал угрожающий вой ветра... Сынбулат Бикбулатович прикрыл бледными с синими прожилками ладонями глаза, точно желая уйти от этой нудной, тревожащей душу хляби. И как ни странно, а вся эта круговерть за окном вдруг перенесла его на сорок лет назад — в Сталинград... Было вот так же сыро, ветрено, пузатые тучи, казалось, утюжили землю и не было слышно противного воя бомб — уже неделю не летали ни наши самолеты, ни немецкие... Только изредка пулеметные очереди вспарывали тишину да пули, ударившись о камень, железные балки, расплющивались и, противно визжа, зарывались в землю...

...Лежал Сынбулат тогда у окна разрушенного дома со своим другом — Иваном Прокофьевым — прикрывали с фланга бывший универмаг, ставший для немцев неприступным бастионом и где в толстостенных подвалах доктора и санитары оказывали раненым первую помощь. Их «максим» косил немцев, как только те начинали перебегать узенькую улицу, забаррикадированную развалинами взорванных домов, и приближаться к универмагу. Танки и самоходки не

могли преодолеть горы битого кирпича, бетона, стальных балок. Толстые стены старинного дома надежно защищали Сынбулата и Ивана от пуль и осколков, и они как бы сидели в неплохом доте. Пробовали немцы выбить их оттуда бронебойщиками, но тоже ничего не вышло — толстые стены старинного дома были непробиваемы. Когда же ползком приближались одиночки, чтобы забросать их гранатами, то с соседнего дома со второго этажа немцев метко снимал снайпер. Два дня пулеметчики гадали, кто же это так смело и умело прикрывает их. И они поняли, пока снайпер цел и невредим, к ним никто близко не подкрадется. Но вот однажды на рассвете немцы вкатили на кирпичный холм пушку и стали прицельно бить по соседнему дому, где укрывался снайпер. Стреляли немцы долго и остервенело. Спустя некоторое время Иван сказал Сынбулату:

— Глянь-ка, кажись снова гранатометчики пошли к нам в гости...

— Вижу,—ответил Карагуров и нажал на гашетку пулемета.

Гранатометчик как лежал распластавшись, так и остался лежать.

— Вот и порядочек...

— Что-то молчит наш снайпер,—высказал беспокойство Сынбулат.

— Неужели по... — Прокофьев не договорил. Взрыв огромной силы отбросил Карагурова от пулемета, и на миг он потерял сознание. Когда пришел в себя и открыл глаза, он ничего не слышал — в башке стоял гул, глаза, казалось, вот-вот лопнут. От взрыва першило в горле, тошнило... Сынбулат, как ему почудилось, громко позвал друга — и опять ничего не услышал. И тут он поднял голову, осмотрелся и от ужаса снова закричал — раскрывал и закрывал рот, точно рыба, выброшенная на берег: он увидел у своих ног покачивающуюся зеленовато-сизую каску, а в ней... голову Ивана. Глаза друга еще были открыты... Сынбулат протянул руку Ивану и снова потерял сознание...

...Карагуров пришел в себя уже в прифронтовом госпитале. Когда смог говорить, сразу же спросил про Ивана и что случилось с тем снайпером. Ему сказали, что его друг погиб, снайпер тоже убит... По-

том сколько смертей видел Сынбулат на фронтовых дорогах, в боях, но смерть друга всегда стояла перед глазами. Может, потому так он переживал смерть Ивана и не мог забыть его, что вместе они ели в окопе из одного котелка, читали друг другу письма из дома, пережидая на дне окопа артобстрел врага, тихо переговаривались: вот сейчас двинутся в атаку танки, пехота... А может быть, еще и потому они крепко сдружились, что чувствовали, знали — под Сталинградом сломают немцы себе хребет, и чего бы это им ни стоило, а за Волгу советские войска не отступят. И уже спустя годы — и на войне, и после победы — Сынбулат ни с кем так не подружился, как дружил с Иваном. И Карагуров стал угрюмым, малословным, медленно сходиллся с людьми... Сынбулат говорил себе: «Нет, Ваня так не поступил бы» или: «Ваня не щадил себя, а этот только о себе...». И старался держаться в стороне от веселых компаний, избегал вечеринок. Товарищи, конечно, сочли его гордецом, с большим самомнением, честолюбием... Нередко Сынбулат слышал:

- Старик Карагуров витает в облаках...
- Карагуров, братва, важничает...
- Как же, сталинградец!
- Не он один воевал...

Как ему хотелось после таких несправедливых рассуждений ворваться в эту говорливую толпу и рассказать об Иване, о той каске, о его удивленно открытых глазах, и если бы было возможно распахнуть душу, навверное почерневшую от тех смертей и крови, на которые он насмотрелся за четыре фронтовых года, и крикнуть, что ему не до развлечений и поисков друзей! Сынбулат знал, что он должен жить и работать за Ивана, за сотни и тысячи других парней, которые остались на полях войны, прожив всего двадцать с небольшим лет. Вот они, его сослуживцы, спорили, кто талантливей, кто везучей, у кого есть покровители. А кто может поручиться, что среди убитых не было гениев, не было великих талантов? И на войне в окопах, под снегом и дождем они не спорили, кто талантливей, у кого какие покровители. Эти низменные житейские мелочи не приходили им даже на ум. Все они мечтали об одном-единственном — победить! И конечно, очень хотели жить...

Но, мечтая о жизни, не прятались трусливо за спины друзей, товарищей, так как знали, что иначе этот животный инстинкт самосохранения намертво вцепится в душу и потом его оттуда ничем не выковырнешь и он начнет ядовитым червем подтачивать ее изнутри и превратит человека в подлеца... Карагуров не осуждает тех, кто забыл войну, смерть товарищей, — у каждого свой характер, каждый по-своему оценивает прошлое, каждый имеет свою оценочную шкалу жизни, поступков. Поэтому он весь свой заряд энергии, работоспособность отдавал творчеству и всякий раз пытался оценить свои полотна, свои дела глазами Ивана Прокофьева. Сынбулат был уверен, что своей смертью Иван спас его. На войне всегда кто-то отдавал жизнь за друга, товарища, соседа... Не будь тогда рядом Ивана, тяжелый снарядный осколок непременно угодил бы в него... Недаром часто говорят, что такой-то спас кому-то жизнь — прикрыл грудью на глазах у всех или каким-то чутьем столкнул того с бруствера на дно окопа, и в это время мина или снаряд попали точно туда, где секунду назад стоял солдат. Бывает такое. Но Карагуров уверен, что каждый погибший солдат спас другого, пусть даже находившегося в этот миг где-то далеко-далеко... Война и смерть имеют свои непредугаданные законы. Поэтому Сынбулат всегда считал себя в неоплатном долгу перед теми, кто не вернулся с войны.

И когда он стоял за мольбертом по десять — двенадцать часов, и онемевшая рука не могла держать кисть, а глаза теряли остроту на цвета, и он уже, казалось, ничего не способен был творить, Сынбулат вспоминал фронт и твердил себе: «Мне просто повезло! Я вернулся живой, хотя и калекой! Я вижу небо, солнце, луну, травы... Слышу шелест зрелых хлебов, щебет птиц! Чего же ты жалуешься на усталость? На неудачу композиции? Сам выбрал профессию художника. Сам обрек себя на муки душевные, поиск... Ты — живешь, а значит, должен превозмочь все трудности во имя жизни!..» И после такого монолога Сынбулат садился на табурет, обхватывал голову ладонями и твердил себе: «Сожмись в пружину! Отбрось все сомнения и работай, работай! Ты же верил в победу, когда лежал под развалинами дома! Верил в жизнь, когда тебе дважды продыря-

вили грудь. А тут сомневаешься в своих способностях, опускаешь руки. Что бы сказал тебе на это твой друг Иван?» Замызганный красками, он подпирал кулаком крепкий подбородок, с разных ракурсов осмысливая свою работу, и, если что не нравилось, начинал скребком снимать с холста еще не затвердевшую краску... В этот момент интересно было наблюдать за ним со стороны. Мрачное лицо его, будто только что отлитое из металла и грубо обработанное, тогда светлело, губы что-то шептали, черные глаза светились удовлетворением в предвидении успеха в следующей работе... И с такой самоотдачей Карагуров работал почти все тридцать пять лет. Накануне своего шестидесятилетия он мог смело и честно сказать, что никогда не делал себе скидки, каждая его работа — напряжение ума, горение души, честное изображение действительности. Если другие не скрывали зависти к его славе, известности, таланту, то он сам как бы не замечал всего этого. Что тоже воспринималось среди художников как высокомерие. Карагуров говорил, что славой, известностью могут довольствоваться только бездари и чванливые себялюбцы. А подлинные, талантливые произведения, как правило, признание получают только после смерти художника.

* * *

Карагуров стал профессиональным художником около сорока лет назад. Еще в школе до войны он с удовольствием оформлял стенные газеты, рисовал портреты товарищей, передовых колхозников, писал к праздникам яркие, красивые плакаты. «Быть тебе, Сынбулат, художником!» — говорили учителя и аульчане. Парнишка еще сам четко не представлял профессию художника, но ему очень нравилось и он радовался, когда на бумаге оживали цветы, животные, деревья, а в портретах каждый узнавал себя и поражался «таланту» младшего Карагурова. А когда учительница Амина-апа привезла из Уфы настоящие масляные краски в красивых тюбиках и медовую акварель, то от счастья Сынбулат находился на «съемном» небе. Теперь, пожалуй, он считал себя настоящим художником. И берег он эти краски как самые дорогие вещи.

Перед самой войной колхоз направил Сынбулата в Уфу поступать в художественное училище. Парнишка экзамены сдал успешно, хотя экзаменаторы и говорили, что у него нет школы, он не владеет композицией... Но почти все отметили, что у абитуриента (это слово Сынбулат слышал впервые) очень хороший глаз и он чувствует тончайшие полутона цвета. Парнишка проучился всего два года и, когда началась война, добровольцем попросился на фронт...

После гибели друга Сынбулат часто думал, что после окончания войны он обязательно напишет портрет Ивана. Эта мысль не покидала его в самые трудные минуты боев. Даже в госпитале после второго ранения в грудь он выкарабкался, пожалуй, из лап «косой» лишь потому, что твердил себе, что должен написать портрет друга, а там пусть что будет. И когда после победы вернулся домой, он натянул на подрамник холст, нанес грунтовку и стал по памяти рисовать портрет друга. Когда же карандашный рисунок почти был готов, Сынбулат понял, что это не Иван Прокофьев, хотя и похож на него. В рисунке не было главного — непоколебимой самопожертвенности друга, а в ясных голубых глазах не было отчаянной смелости и любви к жизни... И понял тогда бывший солдат, что не может он вот так сразу создать портрет друга, чтобы он был обыкновенным, самым простым парнем и в то же время вобрал в себя лучшие черты своего поколения, поколения, отстоявшего свободу своего Отечества и избавившего мир от коричневой чумы фашизма. И чем больше он думал над своей неудачей, тем явственней сознавал, что тема, которая, казалось бы, так ему близка и знакома, требует осмысления, новых наблюдений.

Еще когда он учился в художественном институте, Карагуров создал жанровые картины, пейзажи, которые привлекли внимание именитых художников, отмечавших у студента хороший вкус, глубину мыслей, точность деталей. И все же основной своей работой считал он будущий портрет друга. Похвалы преподавателей, товарищей не могли отвлечь Карагурова от его, как он считал, кровной темы — в портрете Прокофьева передать высокую нравственность и героизм своего поколения. И сделать это мог только он, Карагуров, сам вынесший все тяготы войны. Он так бы

не прикипел к этой святой теме, если бы не чувствовал долга перед погибшими. Нередко в минуты отчаяния ему казалось, что он слышит голоса погибших товарищей, которые спрашивают его: «Ну что, отступил? Взял ношу не по силам? Не уверен в себе? А ведь на фронте ты был другим!» Сынбулат зажимал уши ладонями, но голоса погибших солдат продолжали настойчиво звучать: «Ты должен одолеть! Кроме тебя никто не передаст потомкам правду о нас!..»

Шли годы, Карагуров уже стал известным художником, у него появились ученики, и в мире художников все чаще стали поговаривать о «школе» Карагурова, которая вобрала в себя все, что было лучшего у отечественных мастеров, и добавила к этому глубоко национальные и пародные темы. К этому времени Карагуров уже создал несколько заметных батальных картин о Сталинграде. О них спорили, говорили, в них находили свежесть авторской мысли, палитру красок, органически отвечающих теме.

Однажды на своей персональной выставке, где демонстрировались батальные картины, прислушиваясь к отзывам посетителей, наблюдая за выражением их лиц, Карагуров поймал себя на мысли, что он ни разу не видел фотокарточки друга, ведь за все послевоенные годы он пытался рисовать Ивана по памяти. Возможно, поэтому-то его все время и подстерегала неудача! Может, фотография даст ему тот импульс творческого вдохновения, который позволит найти единственно верный вариант портрета, верно отображающего дух военного времени, и это будет Иван Прокофьев.

Карагуров удивился, как же он раньше об этом не подумал? На следующий же день он послал запрос в Воронежскую область, откуда был родом его друг. Месяца через три ему прислали несколько адресов Прокофьевых. Карагуров написал всем письма и просил сообщить, по какой линии они являются родственниками Ивану Петровичу Прокофьеву, 1922 года рождения и есть ли у погибшего в сентябре сорок второго года под Сталинградом его фотография? Ответы пришли еще быстрее, чем из милиции. Адресаты Карагурова оказались людьми отзывчивыми, добрыми, желанными. Но все Прокофьевы, кому писал художник, оказались просто однофамильцами

его друга, у некоторых погибли сыновья, у некоторых братья, мужья, но Иван Прокофьев никакого отношения к их родословной не имел.

Карагуров совсем было приуныл и стал костерить себя, почему не сделал подобный запрос лет двадцать — тридцать тому назад? Но в горвоенкомате Уфы ему сказали, что в первые годы после войны было гораздо сложнее — миллионы эвакуированных людей возвращались в свои родные дома, искали близких, знакомых, родных и милиция, и военкоматы, а нужных документов еще не имели. И предложили художнику, бывшему фронтовику (благо в семидесятые годы начали поднимать престиж фронтовиков, ввели льготы, юбилейные медали), объявить всесоюзный розыск на родственников Ивана Петровича Прокофьева. Каково же было его удивление, когда он получил весточку из Пермской области месяцев через пять. Писал брат Ивана Федор Петрович, что они, мать и он, ждут фронтового друга Ивана, особенно мать — Мария Ильинична, которая хочет взглянуть на человека, который был рядом с ее сыном в последние минуты его жизни, и услышать от него несколько слов о ее Ванятке.

Письмо Прокофьевых так растрогало Карагурова, что он быстро собрался и вылетел в Пермь.

В Пермском порту Сынбулата встретил Федор Петрович Прокофьев. Он так был похож на своего старшего брата, что художник чуть не закричал: «Иван!» Такой же коренастый, голубоглазый, чуть вздернутый нос усыпан конопushками... Только вот Федор был более упитанный, розовощекий и в своем солидном коричневом костюме выглядел начальником. А перед глазами Карагурова Иван всегда стоял в выгоревшей гимнастерке, с выступившей на спине солью, скуластый, с обветренными губами...

Федор Петрович оказался не начальником, хотя по стаги мог и министра затмить, а мастером-инструментальщиком.

Дома у Прокофьевых дорогого гостя из Уфы ожидали почти все родственники Ивана. У порога Карагурова первой обняла и расплакалась мать Ивана — Мария Ильинична. Маленькая старушка, негромко плача, покрывала поцелуями лицо Сынбулата и, едва шевеля от волнения губами, шептала:

— Спасибо, сынок, что разыскал нас... Верила я — найдется человек, который бросил горсть земли в могилку Ванятки... Теперь могу спокойно сама умереть...

Карагуров хотел было сказать, что ему не пришлось бросить горсть земли в могилу друга, да передумал, не хотел расстраивать и беречь еще больше горечь утраты матери. Ведь он даже не знает, где захоронен Иван. Знает только одно, что похоронен он в земле Сталинграда... Но теперь он знал, чьи глаза у Ивана. Он вглядывался в ясные, полные неземного света глаза старушки. Несмотря на свои восемьдесят с лишним лет, Мария Ильинична смотрела на него с умиротворенной уверенностью, хотя глаза ее застилали слезы, чудом оставшиеся, может быть, для этой встречи.

Сынбулат Бикбулатович подробно, как никогда до этого, рассказывал собравшимся родственникам Ивана о последних боях обороны Сталинграда. Сейчас он припомнил такие детали боя, которые, казалось, память давно предала забвению. Художник вспоминал не только как отбивали атаки озверевшего врага, как в соседних домах, подвалах погибали товарищи, но и то, как они с Иваном проводили короткие часы затишья между атаками. Как спали по очереди — один в обнимку с трехлинейкой, а другой бодрствовал возле «максима», прислушиваясь к малейшему шороху, рассказывали друг другу о довоенной жизни, вспоминали близких...

Потом Карагуров объяснил цель своего приезда и попросил показать, если есть, последние фотографии Ивана. Но, к сожалению, фотографии Ивана оказались только школьной поры. Заметив, как расстроен гость, Федор Петрович высказал вслух свое предположение:

— Может, какая-нибудь более поздняя фотография сохранилась у Зои?

— Откуда? — скорбно отмахнулась мать. — Прошло, почитай, уже лет сорок...

— Не скажи, мама, — продолжал свое Федор. — Я хотя и мал был, но помню, как Иван с Зоей на вечеринки ходили, подглядывал, как братка провожал ее... — грустная улыбка упала на лицо Федора. — Она

тут рядом живет, пойду-ка я сбегая, может быть, и сохранилась какая фотография...

— Смотри, Федя, аккуратней говори, как бы муж не приревновал. У нее семья ведь... — предостерегла мать.

Минут через тридцать в квартиру буквально ворвалась полная женщина лет пятидесяти. За ней следовал Федор.

— Миленький, так это вы в последний час были с Иваном? — спросила она и упала на плечо Карагурова. — Что, что Ванечка говорил? Где его похоронили?

Гость из Башкирии снова подробно рассказал все о своем друге, что знал: как они встретились, как оборонялись и как стали друг для друга родными. Карагуров рассказывал, а сам рассматривал лицо женщины и пытался вспомнить, как о ней говорил ему Иван. «...Зоя у меня тонюсенькая... Зеленоглазая, на правой щеке родинка с маково зернышко... Волосы медные...» Ничего сейчас этого Сынбулат не увидел. Волосы поседели, родимое пятнышко покрылось волосками... Только вот зеленые глаза смотрели на Карагурова жадно, испытываяще, с непонятной надеждой, что он вдруг да скажет, а Иван-то жив... Ему даже показалось, что она в душе спрашивала его, почему убит Иван, а не ты?

— Ну ладно-ладно, — успокоил женщину Федор. — Теперь уж не вернешь его. А человек приехал изда-лека за фотографией Ивана. У нас, Зоя, как назло, фотографий последних лет нет. Есть, когда он еще мальцом был... Может, помнишь, приезжал фотограф и снимал целые семьи? А ему для портрета нужно фото, где Ивану лет девятнадцать — двадцать. Вот я и вспомнил, что ты с ним гуляла... Может, случаем, у тебя есть его карточка?

Женщина настороженно оглядела всех, точно только сейчас поняла, что хотят от нее. Она прижала руки к груди, словно хотела защитить самое дорогое, что у нее есть. и тихо спросила:

— Откуда вы знаете?

— Вы не волнуйтесь, — вмешался в разговор Карагуров. — Если есть фотография, то дайте мне, я вам верну, обязательно верну... Мне она нужна для портрета... Я хочу написать портрет Ивана... Я его хоро-

шо помню, но сами понимаете, прошло уже столько лет! Могу какие-то черты и забыть...

— Разве что вернете... — выжидательно помолчав, ответила женщина. — Я сейчас принесу. Только непременно верните...

...И все равно даже фотокарточка друга, встреча с родными Ивана, разговоры с ними не помогли сразу же приступить к работе над портретом. Снова были наброски, десятки эскизов, о которых товарищи отзывались похвально, и находили что-то новое в почерке именитого художника, видели новую ступень его творческого роста. Сынбулат Бикбулатович слушал похвалы хмуро, прищурив глаза отходил от полотна, приглядывался и кратко отвечал:

— Нет, не то... — и завешивал почти законченную работу и злой уходил из мастерской.

Раньше Карагуров думал, что работа над портретом друга не получается лишь потому, что он подзабыл лицо друга, притупились чувства к жестоким далеким боям, из памяти стерся запах крови, куда-то далеко отошло видение обожженного фугаской тела его убитого товарища, пропал муторно-тяжелый запах тухлого яйца снарядных запалов... Ворочаясь в бессонные ночи в кровати, анализируя очередную свою неудачу, Карагуров вдруг поймал себя на мысли и чуть не вскрикнул от радости: да ведь теперь вся неудача его кроется в изображении глаз Ивана. Оказывается, он все время находился под впечатлением глаз матери Ивана. Увидев после десятилетий глаза Федора, Марии Ильиничны, он точно встретился со взглядом друга. Но все же это были другие глаза, хотя и очень похожие на Ванины. И вот только сейчас, мучаясь от бессонницы (и как Сынбулат сейчас благодарил бессонницу!), Карагуров понял свою ошибку и поразился себе: как он мог внешнюю похожесть глаз принять за Ванины! У Ивана хотя и были усталые глаза (спали-то они тогда урывками по три-четыре часа в сутки, а бывало, и сутками не спали!), но отчаянный блеск в них выражал душевную твердость и устремленность в будущее. В них были полет души и мечта солдата! Не случайно же в самые жестокие минуты боя Иван подбадривал Сынбулата: «Не дрейфь, браток! Видно, сволочам жить надоело!» — и серое от пыли скуластое лицо

его усмехалось, голубые глаза сияли ненавистью и неукротимой верой. «Нашел!» — хлопнул по одеялу крепкой ладонью Карагуров. С трудом дождавшись предрассветных сумерек, он потихонечку встал и начал одеваться.

— Куда это тебя несет в такой ранний час? — спросонья спросила жена.

— Забыл в мастерской свет выключить, — отговорился Сынбулат, ликуя в душе своему открытию.

В тот день он самозабвенно работал над портретом. Отключил телефон, как только позвонила жена, узнать, почему он не идет завтракать, если свет в мастерской выключил?

— Не хочется. Неожиданно работа вроде бы пошла, — ответил художник, и на этот раз это была правда.

Карагуров несколько раз принимался прописывать глаза и снова снимал краски. Но теперь он уже не был в отчаянии, теперь он знал, что он должен изобразить и как. Только терпеливо и настойчиво, горением души можно было добиться желаемой цели. А это Карагуров умел делать.

К полудню он позвонил домой и попросил домашних, чтобы принесли ему в мастерскую что-нибудь поесть.

— Мог бы уж оторваться на часок, — упрекнула жена. — Рядом же. Через десять минут — и дома...

— Не могу, родная...

— Уже сгорел на этой работе, кожа да кости, — сделала выговор жена. — И что он тебе дался, этот портрет!

Сынбулат Бикбулатович резко опустил трубку на рычаг телефона и не пошел домой обедать. В этот день он работал неистово, будто все время чувствовал рядом невидимого противника, которому он должен был доказать, какой сильный, красивый, смелый мечтатель был его друг Иван Прокофьев.

Когда портрет был почти закончен, Карагуров неожиданно почувствовал острую, жгучую боль в области груди, возле сердца. Холодный пот выступил на лбу, появилась усталость, отяжелели руки, ноги... «Надо присесть. Жена, видно, правильно говорила... Рана, наверно, дает знать о себе», — подумал художник и, присев на табурет, потер грудь. Карагуров от-

дохнул и снова приступил к работе. Положив последние мазки, поправив у Ивана упрямо сжатые губы, Сынбулат отошел в сторону и критически посмотрел на свою работу. Портрет явно удался. Русые волосы Ивана чуть спадали на лоб, и было видно, что они мокры от пота. Слегка вздернутый нос придавал лицу мальчишескую лихость, крутой излом бровей над широко распахнутыми голубыми глазами делал лицо солдата удивленным и вопросительным: «Зачем вы пришли на нашу землю?» — и одновременно придавал ему выражение непоколебимой стойкости. Это были уже глаза не юноши, а глаза солдата, защитника, готового отдать жизнь за свою землю. Положив еще несколько мазков на скулы и уголки плотно сжатых губ, Карагуров снова невольно приложил руку к груди и сел на табурет, опустил голову, обмяк. Он пришел в себя от выпавшей из рук кисти. С трудом разомкнул вдруг отяжелевшие веки и посмотрел на Ивана. Фронтальной друг смотрел на него ободряюще и как бы говорил: «Сынбулат, порядок, устоим!» Художник обвел мастерскую усталым и удивленным взглядом. Он явно слышал голос друга. «Эти слова Иван говорил, когда мы обороняли дом возле универмага. Как же я около сорока лет не мог припомнить эти слова? Ведь тогда я кричал ему: «Порядок, Ваня! Устоим!»

— ...Устоим, Ваня, устоим... — прошептали губы художника. — Память, Ваня, — это совесть человека...

— Почему ты молчишь? Телефон весь оборвался! — услышал Карагуров за спиной голос жены.

Сынбулат оглянулся и, вяло улыбаясь, выдавил:

— Вот закончил... Иван-то живой! А телефон я выключил...

— Ой, да на тебе лица нет! Разве можно так истязать себя? — всплеснула руками жена и позвонила домой, чтоб за отцом приехали дочь с зятем.

— Не надо тревожить... Пройдет. Устал, видно...

На следующий день вызвали врача. Доктор внимательно осмотрел больного, долго его слушал и установил диагноз: «Предынфарктное состояние» — и предложил поместить больного в обкомовскую больницу — там будет обеспечен уход, покой и нужное лечение. А потом бы не мешало поехать в кардиологический санаторий.

— Нет, доктор, больничная койка не для меня,— заупрямился Карагуров.

— У вас сильно ослаблен организм, попросту говоря,— истощение. Я рекомендую все же больницу. Не помешает.

— Дома у меня покой, и они рядом,— попытался улыбнуться больной и кивнул в сторону жены, дочери, зятя, внучки.

— Тогда я бессилен,— развел руками доктор. Но, уходя, еще раз сказал: — Вам нужен покой, и никаких пока работ.

Весна в том году выдалась дружной. Уже в марте налетели с юга теплые ветры. Следом за ними появились грачи и первые скворцы. Посинел лед на Агидели, на полях осел снег, он стал ноздреватым и днем «оживал» — ухал, уплотняясь, переливался под лучами игривого солнца. У крутых яров, в оврагах шумно побежали говорливые ручьи. Город тоже ожил. Центральные улицы очистились от бурого снега, на деревьях набухли почки, напоминая спелую пшеницу. Вездесущие воробьи стаями купались в лужах и, отряхиваясь, горделиво поглядывали на прохожих, вот, мол, мы-то купаемся, а вам когда еще придет такое удовольствие?!

Весеннее пробуждение природы придало силы утомленному, изрядно потрепанному организму Карагурова. Он стал выходить на балкон, а потом появился и во дворе. Сидя на лавочке под могучей липой, он думал о величии и красоте природы. Обостренные болезнью нервы особенно остро чувствовали наступление весны. Сейчас он смотрел на мокрые стволы деревьев, еще дышащих зимним холодом, как на живые, мудрые существа, чутко реагирующие на времена года. И теперь он видел в деревьях не просто красоту и игру красок, украшающих жизнь, но и чувствовал заключенную в них таинственную силу, которую еще предстоит разгадывать человеку. Значит, и художник должен изображать на полотне не только внешнюю красоту дерева, но попытаться показать дивную мощь природы, ее гармонию и вечность...

А в этом году Карагуров узнал, что министерство культуры приняло решение устроить его персональную выставку ко Дню Победы. Он отобрал лучшие

свои работы, получившие всесоюзное признание, и впервые выставил портрет солдата Великой Отечественной войны — Ивана Прокофьева.

Много похвальных слов услышал в те дни в свой адрес художник. Его поздравляли друзья, единомышленники, ученики. Говорили, что выставка, приуроченная ко Дню Победы, стала настоящим праздником для всей республики. Одобрительные рецензии в печати, передачи по телевидению, многочисленные отклики посетителей выставки еще раз подтвердили глубину и широту авторского мышления, новизну и силу в изображении героизма советских людей в годы войны. Но были и критические замечания и даже ехидные смешки по углам, мол, «старик» исчерпал себя и выезжает только на своем излюбленном «коньке», а так все это вторично, нет свежести палитры, хотя кое-что и просматривается...

Самое неожиданное произошло на пресс-конференции по случаю закрытия выставки. Неожиданно всю его работу перечеркнул человек, которого он долгие годы считал другом. Тот категорично выступил против организации выставки. Публика, журналисты пришли в замешательство, растерялись. В зале долго стоял гул, и несколько человек потребовали от выступившего доказательств его отрицательного отношения к выставке, тем более что раньше он сам же хвалил в печати многие работы Карагунова, высоко оценивал все творчество талантливого художника.

— Раньше я смотрел на работы Карагунова под другим углом, чем теперь. Критическое отношение, товарищи, это — диалектика!

И здесь неожиданно раздалась в его поддержку несколько выкриков с мест:

— Тема Отечественной войны требует более глубокого осмысления!

— Автор этих полотен избрал самое легкое решение!

— Быть участником войны — еще не значит уметь объективно изображать действительность художественными средствами!

— Нет масштабности!

— Товарищ Карагунов изменил правде жизни!
«Выходит, я создал полотна, далекие от правды?»

Значит, я не искренен!» Карагуров двинулся к трибуне, желая спокойно и профессионально четко ответить на эти явно кем-то организованные выкрики. Он шел и мысленно строил план своего выступления: начнет говорить об обороне дома в Сталинграде, потом скажет об Иване Прокофьеве, вращающейся перед глазами зеленовато-сизой каске с его головой... Присутствующие на пресс-конференции обратили внимание, как побледнел Карагуров и вдруг — покачнувшись, схватился за грудь и стал падать...

Инфаркт оказался обширным. Карагуров долго пролежал в отделении реанимации обкомовской больницы. Лежа в палате с голубыми стенами под капельницами, строго выполняя указания врачей — не делать резких движений, не волноваться, стал подводить итоги прожитой жизни. Удивлялся, почему это раньше он никогда не задумывался над тем, есть ли у него сердце. Ему казалось, что этот важнейший орган вынослив и могуч. И нет ему износа. А вот о раненом левом легком он вспоминал частенько — особенно весной и осенью, тогда дышалось тяжело, перед сменой погоды мучило удушье. И в такие минуты он задумывался, почему человек, когда здоров, полон сил, чаще всего живет сегодняшним днем, счастлив и убежден, что вокруг все живут так же, и чужие страдания, боли непонятны ему, сострадание для него скрыто за девятью замками. Но стоит человеку, даже наделенному большой властью над другими, являвшемуся баловнем жизни, попасть на больничную койку, да если еще с тяжелым недугом, когда голова ясна, а плоть умирает, как у него появляются сомнения в правильности прожитой жизни, физические боли, не позволяющие уснуть ни на минуту, будоражат мозги, тревожат душу. «Почему я не понимал, что существуют на свете такие страдания, и в свое время не облегчил ничьей боли?!» А запоздалое угрызение совести задает тысячи вопросов, на которые он уже теперь не в состоянии ответить, тем более решить их. А ведь еще совсем недавно, до болезни, он мог помочь любому человеку, облегчить участь виновного, сделать добро жаждущему, осчастливить человека, судьбою обделенного...

Подводя итоговую черту своей жизни, Карагуров мог с чистой совестью сказать себе, что прожил он

честно и поступки его никогда не были эгоистичны и не связаны с личным благополучием. Может быть, поэтому-то и семейная жизнь не всегда находилась в ладу с домочадцами. Бывал он категоричен и суров, когда бездарные и льстивые люди хотели заручиться его поддержкой, прикрыться его честным именем. Злые языки называли его «Башкирским Дон Кихотом», вкладывая в это прозвище зависть, желчь и плохо скрытый страх перед его авторитетом.

О многом успел передумать Карагуров, пока лежал на больничной койке и находился под неусыпным наблюдением врачей. Вот и сейчас, лежа в постели (он уже вторую неделю дома!), вглядываясь в мокрые, точно горько плачущие стекла, за которыми уже слышно дыхание осени, видны первые признаки ее крутого нрава, художник машинально, а больше по привычке потянулся к тумбочке, где стояли бутылочки, флакончики с лекарствами, в пакетиках лежали привлекательные разноцветные таблетки. Карагуров накапал в рюмочку тридцать капель валокордина, налил воды из графина и по привычке, морщась, выпил. Поставив мензурку на тумбочку, снова откинулся на высоко поднятые подушки. Прикрыл глаза и стал перебирать кончики пальцев, как четки. Полежав так минуты три, он разомкнул веки и уставился на свои руки. Пальцы за время болезни побелели, резко выступали суставы, и не было в них былой силы. Сынбулат Бикбулатович прикинул, что сейчас он продержал бы кисть в руках не более десяти минут. Поблекшие, синюшные губы невольно скривились в усмешке, и Карагуров поднес ладони к самым глазам. Пошевелив пальцами, он посмотрел на них со всех сторон, опустил руки на грудь и снова бросил взгляд на подоконник, на котором стояли горшки с цветами. Их любила разводить покойная жена. Сейчас в доме осталось мало цветов — только в его комнате, молодые — дочь и зять постепенно раздали их, мол, это не модно сейчас, да и присутствие их противоречит современным вкусам, тем более в доме известного художника. Пока Карагуров был еще в силе и не попал в больницу, молодые не особенно смело настаивали, чтобы освободить подоконники, тумбочки от цветов. При нем молодые родители вынесли цветы из зала и своей комнаты, объ-

яснив это тем, что их дочурка Юнира плохо переносит запах цветов, от них у нее аллергия. Тогда Карагуров промолчал, не хотел обострять отношения из-за цветов.

Вернувшись из больницы, Сынбулат Бикбулатович обратил внимание на поредевшие цветы даже в его комнате. Мунира заметила, как потемнело бледное лицо отца, как сошлись на переносице черные брови.

— Присядь, папочка, на кровать, отдохни... — непривычно для себя залебезила дочка и крикнула мужу: — Музафар, когда же Юнирочка придет из детсада?

Услышав имя любимой внучки, Карагуров посветлел лицом и спросил:

— Чего же, дети, вы ее из детсада не привели?

— За тобой же, папа, ездили, — ответила дочь и поцеловала отца в щеку. Она поняла, что гроза прошла. Оробевший было поначалу зять, стоявший чуть поодаль, сейчас приблизился к кровати и спросил:

— Папа, а дома лучше?

— Спасибо вам, дети... — негромко ответил хозяин дома и, откинувшись на подушку, устало прикрыл глаза. Это означало, что он хочет побыть один.

Когда дочь прикрыла за собой дверь, то вслед Сынбулат Бикбулатович ей негромко сказал:

— Как только придет Юнирочка, приведите ее ко мне...

— Хорошо, папа, — ответила дочь.

Потом долго еще Карагуров имел обиду на дочь и зятя за то, что они без его согласия управились с цветами, и большая квартира как-то сразу осиротела, потеряла уют и приветливость. Вот и сейчас они светятся солнечным весельем, хотя за окном моросит нудный осенний дождь. И от их яркости в комнате, пропитанной лекарствами, придавленной печалью широкой кровати, с белоснежной постелью и взбитыми подушками, на которых покоится его слабое тело, становится по-весеннему тепло, точно сюда случайно заглянул солнечный зайчик.

...Нелегко складывалась его семейная жизнь с покойной женой — Разией, не просто было ему понять ее натуру, а она упрямо не принимала его образ жизни, сторонилась его неистовой увлеченности ра-

ботой, отнимавшей всю его жизнь. Так и прожили они как чужие. Разия гордилась им лишь потому, что его полотна хорошо раскупались и жили они безбедно. Но стоило какой-нибудь работе Сынбулата притормозиться и он замыкался в своих творческих поисках, а значит, нарушался и семейный бюджет, как Разия начинала торопить:

— Ну что ты бьешься над каждой работой? Твои вещи же сразу покупают музеи, Дворцы культуры... Ведь сколько ни истязай себя, а ничего нового не выжмешь из себя... Да и за твои мытарства больше платить не будут.

И говорила она это без крика, спокойно, уверенная в своей правоте. Для большей убедительности жена приводила, с ее точки зрения, весьма весомый аргумент:

— Сынбулат, не для себя же рисуешь, чтоб так корпеть над каждым полотном! У тебя же имя есть... Вон, говорят, писатели зарабатывают сначала имя, а уж потом пишут всякую чушь, и все равно их книги раскупаются...

— Я же не писатель, Разия! К тому же не великий! Сколько раз можно говорить об этом? Я работаю, как велит моя совесть, понимаешь? — с трудом сдерживая себя, отвечал муж и вглядывался в открытое красивое лицо жены. «Неужели она не понимает?»

— А ты думаешь, мне хрусталь, японский фарфор, эти ковры достаются за твою известность? — широко разводила руками Разия, показывая на стенки, уставленные дорогими сервизами, и на ковры на полу, стенах.

— Десятки раз я говорил тебе, Разия, не нужны мне эти тряпки, стекляшки! Не нужны! В могилу же все это не заберешь с собой! Вспомни, как жили мои родители, твои..

— Может, мне еще жить, как жили наши деды, пращуры?

— Не живи, как они, не надо! Но вспомни нашу молодость...

— Верно говорят, талантливые люди — эгоисты, — усаживаясь в глубокое кресло, самоуверенно продолжала женщина. — Тебе, верно, ничего не нужно, кро-

ме твоих вонючих красок да холста! А обо мне, дочери подумал?

— У вас же есть все, все! Ну чем ты недовольна? Прошу об одном, дай возможность мне спокойно работать, чтоб я мог вложить туда душу, успокоить нервы...

— Вот-вот, картинам душу, нервы, а нам?

И такие «задушевные» беседы случались частенько, особенно когда мучительно трудно продвигались работы и его душе требовался покой. Как он хотел услышать от жены хоть бы раз, пусть случайно, пусть наигранно: «Сынбулат, устал, родной? Ну отложи пока работу, отдохни... Придет вдохновение — и получится. У нас все есть, зачем работать из-за денег, на износ?» Но он так и не дождался этих простых и очень нужных ему слов. До сих пор у него в ушах звучат ее слова: «Сынбулат, чешскую мебель хвалят...» или: «Модель нашей машины устарела, пора менять...». И ведь ни разу он не мог убедить ее, хотя все надеялся: образумится человек, это на нее среда влияет... И надо же было случиться такому, что вещи, за которыми она всю жизнь охотилась, и погубили ее. Поехала она посмотреть какую-то необыкновенную арабскую мебель в соседний район, где из-за дорогой цены эту мебель никто не покупал, и попала в автомобильную катастрофу. Привезли ее с переломом ребер, разбитым тазом... Несколько раз ее оперировали, лучшие специалисты боролись за ее жизнь, но так и не смогли спасти. Сынбулат сутками дежурил возле постели жены и подбадривал:

— Ничего, Разия, вот поправишься — и махнем мы на несколько месяцев на юг. Там восстановишь силы, и все будет хорошо...

— Нет, на юг не поедем, — с благодарностью глядя на мужа, сказала Разия. — Это какие же нужны деньги! Лучше добавим немного и купим арабский спальный гарнитур... — больная умоляюще, с надеждой посмотрела на мужа.

Карагуров только и нашелся что ответить:

— Поправляйся, родная, все у тебя будет... — и с тяжелым чувством покинул палату.

Прошло уже около пяти лет, как умерла жена, а он до сих пор не может простить себе, что не сумел за годы совместной жизни переубедить ее, что глав-

ное в жизни не вещи, не обогащение, а интересная, любимая работа. Ведь машины, дачи, дорогая обстановка стали для многих людей делом престижности. Человек, владеющий этими вещами, становился в их глазах уважаемым человеком... И сколько бы с трибун ни говорили на больших и малых совещаниях о морали, порядочности и партийности этики, для таких людей они имели вес пушинки одуванчика. Да иные ораторы и сами в душе были убеждены, что главное в жизни — это деньги, вещи...

Слишком был увлечен своей работой Карагуров и слишком был уверен, что предназначение каждого человека — быть честным, трудолюбивым, с добрым, щедрым сердцем: мол, это простая и ясная истина. Не задумывался над тем, что каждый человек оценивает жизнь с высоты своего понимания нравственности и ценностей жизни.

И вдруг он спросил себя, а любил ли он жену? От этого вопроса ему почему-то стало холодно под пуховым одеялом, почудилось, будто холодные струи дождя проникли в его душу. Карагуров приложил руку к груди и почувствовал, как сердце затрепетало часто-часто и тут же притихло, точно кого-то испугалось. Потом снова забилось часто, готовое вырваться наружу. «Началось,— подумал больной и начал чуть не вслух успокаивать себя, уговаривать как маленького ребенка: — Не волнуйся, все пройдет. Только возьми себя в руки. Теперь привыкай к «шалостям» сердца».

Сынбулат Бикбулатович помнит, что он просто привык к Разие, пока были знакомы, потом женился, но без любви, видел ее привязанность к себе, чувствовал, что она нуждается в его защите. Разия была скромна, нешумлива, застенчива. Соскучившись по женщинам на фронте, не испытывший женской ласки, Сынбулат был уверен, что все девчата точно такие, как и Разия. Однажды, даже сам для себя неожиданно сделал ей предложение, он удивлялся, как он смог так смело сказать. Разия расплакалась и отвернулась. «Ты обиделась?» — спросил бывший фронтовик, не зная, что предпринять, чтоб успокоить Разию. «Нет,— ответила девушка.— Я давно ждала этих слов... Я от счастья плачу...» Потом потянулись однообразные дни: Сынбулат сутками корпел над своими

полотнами, приходил домой лишь перекусить. Молодая жена ничего не спрашивала, никаких вопросов не задавала, как у него идут дела, устает ли? Они жили как уважающие друг друга соседи — не ссорились, не лезли с вопросами друг к другу в душу, не предъявляли никаких требований. Оба, казалось, были довольны такой семейной жизнью. Настоящим весенним солнцем ворвалось к ним в семью рождение дочери. Сынбулат сам нарек ее именем покойной матери — Мунирой. Первые месяцы он буквально не отходил от дочери: сам пеленал, сам купал ее в ванночке, сам с удовольствием стирал ее пеленки и бегал за спецпитанием — несмотря на внушительные груди молодой матери, молока у нее не оказалось.

Поняв днем дочь, вечерами Сынбулат уходил в мастерскую и с еще большей неистовостью работал над картинами. Вот тогда он и стал набрасывать эскизы к портрету Ивана Прокофьева. Рисовал он его и на фоне разрушенного дома, и припавшим к пулемету, и с гранатой в руке, готовым к встрече немецких танков, и просто сидящим в обнимку с автоматом, и прислонившимся спиной к стене, задумчивым, печальным... Не счесть, сколько было вариантов!..

А цветы на подоконнике опять неожиданно напомнили Сынбулату, как он странно познакомился с Разией. Разия пришла в их училище по объявлению, где было сказано, что художникам требуются натурщицы, плата почасовая. В тот зимний вечер она робко вошла в мастерскую и спросила: «А кто тут старший?.. Я пришла по объявлению». Староста группы — щупленький Азат Гайнуллин отозвался: «Вот и отлично, раздевайтесь, правда, у нас не очень тепло...» Разия сняла пальто с потертым кроличьим воротником, пуховый платок и робко сказала: «Я готова». — «Нет, девушка, надо совсем раздеться», — смеясь прямо в лицо Разие, продолжал староста. «Как? Остаться нагишом?» — округлила Разия глаза и посмотрела на девчат-художниц, как бы спрашивая, он шутит или это правда... Девушки кивнули, мол, да, надо раздеваться. «В объявлении не было этого сказано!..» — скрестив руки на груди, прошептала Разия.

Телефонный звонок перебил воспоминание Кара-

гурова. Он поднял трубку стоявшего на табурете телефонного аппарата. Звонила с работы Мунира:

— Папа, как себя чувствуешь?

— Ничего, доченька, терпимо.

— Посмотри в окно, тучи рассеиваются! Вот-вот солнышко покажется. Тебе лучше будет.

— У нас еще моросит, но уже тучи жиденькие. Пожалуй, скоро прояснится.

— Все, папочка, не скучай без нас, скоро придем...

Звонок дочери принес облегчение.

Не зря он нарек дочь именем своей матери, женщины энергичной, чуткой, всю себя отдавшей колхозному делу, ничего никогда не делавшей для обогащения семьи. Помнит Сынбулат, как до войны отец укорял мать. «Все уже картошку посадили, а у нас еще не вскопан огород. Ты ж председатель сельсовета, так сказать, Советская власть, можешь же взять в колхозе лошады!» Мать сердито отвечала: «Значит, ты за меня голосовал, чтоб жить лучше других? Колхоз еще не отсеялся, каждая упряжка на счету!» Отец умолкал и, пыхтя, уходил во двор. Там говорил Сынбулату: «А мамка-то права... Права, сынок!»

Дочь и лицом и характером пошла в свою бабушку. Да вот только видит Карагуров, что ей не повезло с мужем. Правда, она не жалуется — сама выбирала, но он-то видит, что характеры у них разные, взгляды на жизнь тоже не очень-то схожие.

Дочь вышла замуж еще при жизни матери. Разия одобрила выбор дочери — зять внешнестью оказался видным: черные волнистые волосы, рост под два метра (а нынешние женщины любят высоких!), немногословный, с образованием, как все выходцы из деревни, имеет практический ум, зря копейку не потратит, все делает для дома. Он очень одобрял покупки тещи, мог с ней ходить по магазинам столько, сколько ей нужно было. «Молодой, а какой практичный! — не раз говорила Разия мужу. — И вкус у него есть, хотя и не художник. Не то что ты у меня, кроме своих красок, ничего не знаешь».

Когда молодые поженились, Карагуров не хотел жить с ними вместе. «У них свой уклад жизни, у нас свой. Пусть сразу привыкают жить самостоятельно, притираются друг к другу», — заявил после свадьбы

тесть. Но теща имела на этот счет свои доводы: «Четырехкомнатная квартира, что мы в ней будем делать?» — «Разменяем!» — категорично заявил муж. «Такую квартиру менять? У других больше, и то недовольны! А потом, что люди скажут? Мол, одну дочь и то прогнал!» — «Пусть говорят, если им нечего больше делать!» — «А куда мы все это денем, если разменяем квартиру? Наживала, наживала, и на тебе — теснись в какой-то каморке!»

Не зря, видно, говорится в народе, что ночная кукушка перекукует дневную. Карагуров сдался. Красивый зять стал жить с ними вместе, а хозяин все больше времени стал проводить в мастерской. Надо честно признаться Карагурову, что Музафар особо не нарушил семейный уклад жизни новых родственников. Приходя с работы, он сразу же уходил в свою комнату и не мозолил глаза. За столом с разговорами никому не надоедал, если говорил, то непременно о работах тестя, что он слышал о них, а это были, как правило, похвальные слова в его адрес. И в то же время Музафар мог часами обсуждать с тещей на кухне новые модели мебели, качество появившегося в магазинах хрусталя. Однажды подал мысль, чтобы купили гжельский сервиз, который сейчас недорог, но, по всем признакам, цены на это чудо вскоре подпрыгнут, потому что зарубежные туристы буквально устроили за ними охоту. Вскоре действительно цены на «Гжель» подскочили.

А когда дочь родила внука, Разия настояла, чтобы Сынбулат вручил ключи зятю от черной «Волги». Карагуров долго сопротивлялся, но жена все же настояла на своем. «Мне не жалко машины, — защищался художник. — Но мы же балуем их. Пусть сами зарабатывают. А я помогу...» — «Все равно же она у тебя стоит в гараже. Ты из мастерской своей не вылезает, зачем она тебе?» — тихо и спокойно говорила при удобном случае жена. «Верно, не нужна, это же ты заставила купить. Ты же говорила, что машина теперь вещь престижная, уважающие себя люди все имеют машины!» — «А разве я не права? Посмотри, все наши знакомые купили машины!»

Такие разговоры происходили часто. Чем откровенней и упрямей сопротивлялся Карагуров уговорам жены, тем уверенней вела наступление Разия. Она,

как опытный полководец, чувствовала, что противник из последних сил удерживает свои рубежи. И таким образом, падение его неминуемо. Так и случилось. Когда при последнем разговоре о машине Разия упомянула и дочь, ради которой она и старается и от чего во многом зависит счастье Муниры, Сынбулат Бикбулатович не выдержал и сказал: «Да отдавай ты своему зятю все, что хочешь! Все! Только оставь меня в покое! Вот ключи от гаража и машины!..» — «Ну зачем же так — все? Не надо так. Тебе вредно горячиться! А ключи от гаража и машины ты сам ему вручи — это и солидно и достойно будет твоего имени».

На следующий день после этого разговора, перед тем как уйти в мастерскую, за завтраком Карагуров под требовательным взглядом жены вручил Музафару ключи от гаража и машины. Зять растерялся только на миг. Он смотрел на ключи упоенно, счастливо улыбаясь, точно эти ключи имели волшебную силу и они теперь могли открыть ему любые двери, любые тяжелые замки... Зять поднялся из-за стола, встала и дочь, благодарно глядя на мрачного, хмурого отца, который без надобности почему-то вытирал салфеткой то руки, то губы.

— Спасибо, папа...— сказала Мунира.

— Спасибо!.. Я так давно мечтал о такой машине! — вырвалось у Музафара. — Если бы, папа, не вы...

— Ладно-ладно,— буркнул глава семьи. — Лишь бы впрок пошло,— он тяжело поднялся из-за стола и неожиданно ушел в свою комнату.

...Чего только память не восстанавливает, кажется, даже совсем позабытые события, факты, а стоит остаться наедине с самим собой, да еще когда пошаливает сердце и нервы напряжены, как все давно исчезнувшее из памяти явственно встает перед глазами, будоражит мысль, волнует душу.

Карагуров опустил ноги на пол, надел теплые шлепанцы, застегнул на пижаме верхнюю пуговицу и подошел к окну. Провел рукой по листьям цветов, зачем-то передвинул горшки и устоялся на улице. Дождь явно ослабел, капли падали редко и тяжело. Подоконник, обитый с улицы оцинкованной жестью, глухо позвякивал от последних капель дождя. Ме-

стами края поредевших туч алели от солнечных лучей, пытавшихся пробиться сквозь них к земле.

Сколько же дней лил этот нудный, тревожащий душу дождь? Карагуров пытался сосчитать и не мог. Тринадцать? Десять? И тут же отбросил эту попытку. Зачем ему это нужно? Разве для него это так важно? Главное — непогода проходит и, наверно, устанутся ясные погожие дни, а значит, и он будет чувствовать себя лучше и сможет приступить к любимой работе! И тогда всякие мелочи жизни отойдут на второй план и его душа будет занята только творчеством!

* * *

...Карагуров вернулся к тумбочке, выдвинул ящик и смахнул туда разом все пилюли и таблетки, без особой осторожности поставил в угол ящика все микстуры и, довольный этим, потер бледные ладони, точно совершил что-то смелое и важное. А может быть, для него это так и было — человек перешагнул через свою болезнь и убедил себя, что он теперь вполне здоров и снова может творить, созидать! А главное — он никому не будет в тягость!

«Так, главное сделано! — сказал себе художник и, улыбаясь, хлопнул в ладоши, потер их до скрипа. — А теперь мы еще один шаг сделаем!» — и он легко подошел к окну, распахнул его. Прохладный, полный озона воздух ворвался в спальню. Карагуров дышал жадно, захлебываясь. Он чувствовал, как левое легкое, продырявленное вражеской пулей, с трудом справлялось с дурманящим кислородом. По привычке он приложил руку к груди и сделал несколько глубоких выдохов. И делал теперь это художник не как больной — робко, неуверенно, осторожно, а охотно, жадно, с каждым мгновением чувствуя, как прибавляются силы и появляется неумолимое желание взять мольберт, краски, кисти и работать...

Вот такое же состояние он испытывал, когда, тяжело раненный в бедро, пробирался к своим. Осколок мины пробил мышцы и застрял возле берцовой кости. Малейшее движение приносило чудовищную боль. Поэтому солдат полз на боку, опираясь на локти. К боли в ноге вскоре прибавилась жажда. После

тяжелого ранения, от большой потери крови, всегда страшно хочется пить. Боясь потерять сознание, Карагуров думал только о воде, любой воде — теплой, затхлой, грязной... И вдруг он, нет, не увидел, а скорее инстинктивно почувствовал, что где-то неподалеку есть вода, хотя ясно видимых признаков ее не было: камни, песчаная сухая земля вокруг. Когда протянутая вперед рука неожиданно плюхнулась в воду, солдат буквально ожил, поверил, что теперь-то он доберется до своих. Сынбулат подтянулся, придерживая автомат рукой, и увидел перед собой ручеек, вытекающий из-под небольшого камня. Родничок пульсировал и журчал тихо-тихо, словно боялся выдать себя. Карагуров опустил голову в родничок и пил, захлебываясь, раза два даже прихватил губами песок. Но он не выплюнул, боялся поднять голову, а вдруг ключик перестанет бить. Такой вкусной воды Сынбулат больше никогда не пил. Он уверен, что тот ручеек спас ему жизнь и убедил его в том, что силы природы могучи. Вот и сейчас ворвавшийся в дом свежий воздух был таким же целебным, как тот безымянный ручеек на фронте...

Снова телефонный звонок прервал его мысли и воспоминания о родничке. «Наверное, дочь», — решил Карагуров и в душе был рад, что Мунира так внимательна к нему. Он поднял трубку.

— Папа, ну как, солнышко показалось у тебя?

— Показывается, но робко. А так дождь перестал, я открыл окно.

— Ты что, папа? Смотри, не вздумай выходить на улицу! Влажно и прохладно еще.

— Ладно, посмотрю... — неопределенно ответил Карагуров и улыбнулся в усы. Внимание дочери всегда подкупало его.

«А что, если, и вправду, пройтись немного по улице?» — подумал он и поблагодарил дочь за идею. Сняв пижаму, Сынбулат Бикбулатович стал торопливо одеваться, чтобы успеть уйти до прихода Муниры. Подумав, взял небольшой этюдник, краски, отобрал нужные кисти и быстро покинул дом.

* * *

...Пока он собирался, улица уже была залита солнцем. Мокрый асфальт блестел, как полированный,

на ветках, карнизах домов, усевшись рядком, сушили перья воробьи. Они сейчас были жалкими и походили на серо-бурые комочки. Тротуары, которые еще несколько минут тому назад были пустынные, а по ним текли мутные ручьи, теперь гудели от ног сотен прохожих. Люди шумно и весело обсуждали погоду, спорили об игре хоккеистов «Салавата», проигравших приз газеты «Советский спорт», группы студентов (сразу было видно, что первокурсники) громко, чтобы обратить внимание на себя (как же, они ведь студенты!), делились мнением о первых занятиях, преподавателях, о первых знакомствах....

Желая скорее уйти с шумной улицы, где уже встретил несколько знакомых, которые, здороваясь с Карагуровым, спрашивали о его самочувствии, открыто выражали радость по случаю его выздоровления. Некоторые даже пытались помочь нести этюдник, чтобы поддержать разговор, что-то говорили о погоде, солнечных лучах, греющих по-весеннему...

— Спасибо, благодарю,— отвечал Карагуров слишком настырным и спешил скорее уйти в тихие переулки, а там уже завернуть в городской парк.— Мне тут недалеко,— говорил он, чтобы не обидеть людей.

В парке Карагуров долго выискивал нужный клен. Он еще дома задумал написать клен после дождя, когда увидел в окно ало-розовые края туч и мокрые усталые кроны деревьев. Что писать — он пока не надумал, но эти неожиданные после длительных дождей яркие краски всколыхнули в нем еще не понятные и не осознанные чувства. В них была и радость, и печаль, и тоска по ясным теплым дням... и мистическое предчувствие конца... Найдя развесистый, просвечиваемый лучами солнца клен, он остановился и несколько раз обошел вокруг него, чем немало удивил гуляющих, отдыхающих, прохожих, которые не без иронии поглядывали на чудачества пожилого человека. Только когда Карагуров выбрал нужное ему место и стал открывать этюдник, люди узнали в нем известного художника. Карагуров не слышал, как некоторые с сочувствием шептали друг другу: «Болезнь-то как согнула человека, не узнать...», «С сердцем, говорят, маялся, инфаркт...», «Домашние тоже хороши, не могли этот ящик принести...».

Карагурова поразили закат солнца. Медно-рыжие

листья клена, пронзенные лучами солнца, скатывающегося по небосводу на вечерний покой, еще не успевшие обсохнуть, переливались всеми цветами радуги. В каплях дождя преломлялись солнечные лучи и щедро рассыпали вокруг волшебные искры. Легкое дуновение ветра раскачивало отяжелевшие после дождя листья, и все дерево казалось живым. Сколько таких вечерних зорь видел на своем веку Карагуров: и в детстве, когда пас лошадей на берегу речки, и на фронте, лежа на дне окопа, устремив в огненно-красное небо взор, и на этюдах, будучи студентом... Но такое тревожно-волнующее чувство он испытывал впервые. В те годы он просто любовался закатами и был уверен, что такое повторится, и не раз. А вот сегодня его охватили непонятные, необъяснимые волнующие чувства. Может, это оттого, что многие дни лил дождь и он стосковался по солнцу, по деревьям, траве?.. Нет, это было бы слишком простое объяснение. Ведь сейчас его волнует встреча с этим кленом, может быть, он каким-то чутьем и выискал его среди сотен других деревьев? А может, могучий клен так волнует его потому, что подспудно он чувствует тоже закат своей жизни. Обостряет чувства осень, пора угасания природы, уходящей на долгий отдых? Да, природа сбрасывает с себя летний наряд и погружается в зимний сон, зная, что весной снова пробудятся в ней животворные силы и она весело и радостно заявит о себе. А он — известный художник Карагуров, как он встретит свой финиш? Конец-то будет все равно. «Во, брат, какой вопрос ты поставил передо мной!» — усмехнулся художник, с уважением разглядывая крону могучего дерева. И ему показалось, что клен в ответ тряхнул густой кроной, точно великан кудрями, и тысячи улыбок закатного солнца зазвенели полевыми колокольчиками, залились трелью степных жаворонков, клетотом стремительного ястреба, грустной мелодией курая...

Торопливо установив этюдник, выдавив на палитру из тюбиков нужные краски, художник стал наносить первые мазки. Он спешил зафиксировать первые впечатления этого необычного осеннего заката. На полотно легли бирюзовые, оранжевые, огненно-красные пятна... Карагуров еще раз поднял взгляд на клен и ясно услышал внутри кроны приглашенный

грохот вчерашнего запоздалого грома, будто где-то далеко за дальними Уральскими горами грохотали волны древних морей-океанов, смещались континенты, увидел потоки огненной лавы, извержения оживших вулканов... И как ни странно, все эти звуки и видения органично уживались в его душе и побуждали творить, творить, творить...

* * *

Следующий день выдался ясным и солнечным. Щебетали воробьи на заборах, деревьях, под карнизами домов. На балконах ворковали голуби. Самочувствие Карагурова после вчерашней работы в парке было превосходным. Он не ожидал, что после такого творческого горения и усталости будет чувствовать себя так хорошо. Впервые за долгое время художник охотно побрился, что-то напевая себе под нос, неторопливо умылся, красиво уложил тронутые седной волосы, надел любимый стального цвета костюм.

Когда он появился в столовой, там уже завтракали дочь, зять и пятилетняя внучка. Девочка восторженно и удивленно посмотрела на деда, затем облизала ложку с вареньем и, не вытерпев, отодвинула чашку с чаем. Сияя, поднялась из-за стола.

— Дедуля пришел...— протянула Юнира.

— Садись, дочь, допей сначала чай!— одернула мать.

Отец же по привычке строго постучал пальцем по столу:

— Слышишь, кому мама говорит? В садик же опаздываем...

Но девочка их не слышала, а если и слышала, то продолжала делать свое. Юнира некоторое время, улыбаясь, смотрела в ласковые глаза дедушки, а потом бросилась к нему. Девочка забралась к дедушке на колени и, зажмурив крепко глазки, обняла.

— Какая же ты сильная!— целуя внуку, сказал Карагуров.

— Правда сильная?— еще больше расплылась в улыбке девочка.

— Конечно! Вон даже слезы из глаз выдавила.

По тому, как притихли родители Юниры и перестали есть, Карагуров догадался, что они недоволь-

ны поведением дочери. Он и раньше замечал, что они не особенно одобряют привязанность внучки к нему.

Чтобы не осложнять взаимоотношения с дочерью и зятем, Сынбулат Бикбулатович старался не особенно привечать внучку, хотя делать это ему было очень трудно. Как он ни сдерживал себя, особенно после смерти жены, однако Юнира всегда находит момент, чтобы побыть с ним: забраться к нему в постель и, взяв карандаш с бумагой, вместе с дедом рисовать зверьков, деревья, птиц, машины, ребят... И всякий раз после таких посещений «апартаментов деда» девочку ругали и ревущую выволакивали из его комнаты.

— Ребенок же, ну зачем вы так с ней? — спрашивал Карагуров, с трудом сдерживая себя. — Побыла бы еще немного и сама бы ушла без слез. Некрасиво как-то получается...

— Ей надо спать... — не особенно твердо отвечала дочь.

— Папа, вы человек занятой, за день устаете, а она надоедает вам, — объяснял свое решение зять. — А потом... много няnek на пользу ей не пойдет...

Ради покоя между молодыми Карагуров ничего не возражал. Только замкнулся в себе и старался меньше встречаться с домашними.

А сегодняшнее поведение Юниры было явным вызовом родителям. Своим маленьким сердцем внучка чувствовала, какой радостный день у ее любимого дедушки. Хотя отец все дни в последнее время и говорил, что к бабушке нельзя приставать, потому что он болен, но Юнира видела, каким радостным вошел сегодня дедушка в столовую. И Карагуров, поняв настроение внучки, решил особо не деликатничать с дочерью и зятем, если те начнут по-прежнему отгораживать от него внучку.

— Я люблю тебя, дедуля! — тискающая Карагурова, щебетала внучка. — И сегодня я не хочу в садик! Я хочу с тобой побыть!

В комнате воцарилась тишина. Родители девочки переглянулись.

А девочка между тем продолжала:

— Дедушка, ты сегодня у меня такой красивый, такой красивый! Это потому что я тебя люблю!

Музафар резко положил вилку на тарелку. Этот

звон заставил вздрогнуть Муниру. Она подняла взгляд на отца и сказала:

— Юнира, дедушка устал от тебя, оставь его...

На этот раз Карагуров решил поддержать внучку.

— Ничего, ничего, я не устал...

— Видишь, мама, дедушка не устал,— и девочка стала гладить ладошкой выбритые до синевы щеки деда.— Я хочу погулять с ним за ручку...

— Конечно, внученька, я тоже хочу с тобой погулять...

Музафар с грохотом отодвинул свой стул назад и встал. Но тесть так сурово посмотрел на зятя, что тот промямлил:

— ...Я хотел... Юнире чай подать...— Музафар замялся, чувствуя, что на этот раз тесть не даст ему спуска и не посмотрит, что рядом жена, дочь, и на будущее ни о каком их благополучии печься не будет. Он сжал губы, сдерживая свое неудовольствие поведением тестя. Карагуров не спускал с него требовательных глаз до тех пор, пока зять не опустился на стул.

«Говорили, он сдаст после болезни... Жди! Вон каким львом смотрит. Вчера еще лежал, ни до чего дела не было, а тут ишь как заартачился, будто Юнира его дочь!— клокотало в душе у Музафара.— Мунира тоже хороша, хоть бы слово сказала в защиту! Боится! И чего боится? Он же в ней души не чает. Машину-то перевел на меня, а квартира и вещи все равно ей достанутся...»

Сынбулат Бикбулатович спокойно, как будто ничего и не произошло за столом, погладил внучку по головке:

— Папа правильно говорит, сначала допей чай, поешь хорошенько, а потом мы с тобой и погуляем. Но сегодня тебе надо идти в садик. Пропускать без причины садик нехорошо. Твои подружки, воспитательницы, наверно, соскучились по тебе. Если не придешь, они могут обидеться. Разве тебе хочется их обижать?

— Нет, дедушка, обижать их я не хочу! Они хорошие!

— Вот и умница! Я тоже так думал, внученька. Ты им скажи, что дедушка твой поправился и тебя теперь из детского садика будет забирать он. Дого-

ворились? — И Карагуров серьезно посмотрел на девочку.

Юнира кивнула и пересела на свой стул. Вид у девочки был торжественный и очень серьезный.

— Смотри-ка, Музафар, Юнирочка подчинилась деду без всяких капризов! — решила разрядить натянутую обстановку Мунира и деланно улыбнулась отцу, мужу. Она была довольна, что дело не дошло до конфликта. Зная, что отец был прав, она все же не могла удержать мужа от резких поступков по отношению к дочери. Было совершенно ясно, что, выражая неудовольствие поведением дочери, он проявил протест и по отношению к отцу. «Почему он так ревниво стал относиться к Юнире? Папа же ничего плохого не делает и не ущемляет его отцовских прав. Наоборот, как легко и хорошо уговорил ребенка и она без слез и капризов села на место. Но ведь до больницы Музафар вроде был внимателен к отцу?! Что с ним стряслось?» — размышляла нервно Мунира.

«Ну ничего, в этот раз я уступил тебе, дорогой тесть, а в следующий раз ты увидишь ее как свои уши!» — молча попивая чай, думал Музафар.

После завтрака Юнира послушно оделась и все щебетала, как она расскажет подружкам, что ее дедушка уже сам ходит и теперь всегда будет забирать ее из детского сада. У порога девочка помахала деду ручкой и вдруг спросила:

— Деда, деда, а почему у нас нет бабушки? У всех девочек есть, а у меня нет?!

— Иди, иди, слишком много стала болтать! — подтолкнул дочь Музафар.

— У тебя была бабушка, только ты тогда маленькая была, — грустно сказал Карагуров. — Вот будем мы с тобой гулять, и я расскажу тебе и про бабушку, и про прабабушку... Иди, родная, а то опоздаешь.

— Папа, обед в холодильнике, — сказала Мунира и, уходя, поцеловала отца в щеку.

— Спасибо, найду.

— Он маленький, что ли? — недовольно пробурчал на лестнице Музафар. — Найдет, если есть захочет.

— Почему ты так плохо стал относиться к нему?

— Как? Что я ему, должен ноги мыть?

— Кому поги мыть, папа? — неожиданно спросила Юнира.

— Никому, доченька, это папа просто так сказал.

— В детсадике мы сами моем...

* * *

Когда зять и дочь ушли, Карагуров походил по комнатам, потом полил цветы в своей комнате и остановился перед портретом жены, увеличенным из обыкновенной фотографии. Портрет этот им сделали еще в пятидесятых годах в артели инвалидов, и он очень нравился Разие. Фотография была давняя — жена смотрела на мир удивленно-печально, подперев подбородок кулачком. Толстая коса была перекинута через плечо на грудь и выкрашена в неестественный ядовитый желтый цвет. Почему уж артель выбрала такой цвет волос — неизвестно. Ведь у Разии волосы были красивые — пшеничного оттенка.

«Вот ты оставила меня одного, накопила столько добра, ну зачем мне все это нужно? Я умру и тоже с собой ничего не возьму... — упрекнул он покойную. — Сколько сил и времени тратила ты на то, чтобы все это достать? А ведь мы могли поехать куда-нибудь, побыть вместе... — Карагуров сейчас видел причину безвременной смерти жены в этих коврах, импортной мебели, хрустале... — И зачем люди так потребительски относятся к своей жизни? Неужели не понимают, что все это мишура?» Он достал из кармана платок и осторожно протер портрет, точно боялся причинить боль. Аляповатый, с розовыми щеками портрет Разии не нравился художнику. Он уже несколько раз порывался выбросить его, но жена не разрешала, говорила, что ей нравится портрет, а, мол, краски яркие — так это ничего. А теперь у него не поднималась рука. Это была единственная дорогая память, оставшаяся от жены. Она нравилась себе здесь, и с этим портретом были связаны памятные дни их молодости. Неожиданно Карагуров испытал угрызения совести перед покойной женой. Около тридцати лет прожили вместе, а он так и не написал ее портрета! Можно, конечно, найти теперь десятки причин, но ничто его не оправдывает. Да, они жили двумя разными мирами под одной крышей, но она была его же-

ной, родила ему дочь! Да, Разия всякий раз, когда он просил ее позировать, сухо отвечала: «Ни к чему это». Даже когда дочь вышла замуж и уговорила его написать ее вместе с мужем, Разия заметила: «Неужели ты на них будешь тратить время? Дай им денег, и пусть они пойдут в лучшее ателье и сфотографируются». И только тогда Карагуров начал догадываться, почему жена не соглашалась позировать ему. «Разия, зачем, зачем ты так обкрадывала свою душу?» — спрашивал он, разглядывая портрет жены.

И еще Карагуров вспомнил: когда он закончил портрет дочери и зятя, Разия долго-долго приглядывалась к его работе, а оставшись с ним наедине, заметила: «Музафар получился какой-то хитрый, скрытный, неприятный... Он же не такой. Ведь все говорят, какой у нас зять красивый!» — «Не знаю пока, какой он есть, а вижу его я таким, каким нарисовал», — ответил он ей. «Конечно, ты — известный художник, имеешь на все свою точку зрения!» — обиделась Разия.

Карагуров поставил портрет жены на место и дал себе слово, что он обязательно напишет ее портрет. И снова его охватило горячее желание дописать вчерашний закат солнца и могучий клен, а вокруг него уже запестревшие от горькой осенней росы — березы, липы, тополя...

Приготовив краски, кисти, этюдник, он еще раз посмотрел на вчерашний свой набросок и остался им доволен. Пожалел, что до вечера еще далеко, и взглянул в окно — не портится ли погода. Посмотрел в газете прогноз на неделю и остался доволен. Значит, закат он закончит.

Для того, чтобы вечером не тратить время на подготовку и выбор места, Карагуров решил загодя еще раз приглядеться к клену: а может, неподалеку найдется более живописный фон, возможно, надо будет оживить пейзаж фигурой человека.

Его охватило задорное настроение, которое он не испытывал давным-давно. Поглядел на себя в зеркало и остался доволен собой. Легкими шагами спустился по лестнице, вышел из подъезда и оглянулся по сторонам. Мир улыбался Карагурову! Забылась мелкая (а мелкая ли?) шпилька зятя, скованность дочери. Он помнил сейчас только лицо любимой внуч-

ки, за которой он зайдет в детский сад, приведет домой, а потом они вместе пойдут на предзакатный этюд. Карагуров уже чувствовал в своих ладонях теплые пальчики Юниры, слышал ее десятки «почему?», «отчего?». Невольно его лицо расплылось в улыбке. Он пригладил пышные, тронутые сединой усы, точно желал прикрыть улыбку.

Сегодня люди (особенно молодежь) были одеты совсем по-летнему. Женщины — в легких платьях, костюмах, а большинство парней и мужчин в спортивных футболках, джинсах, вельветовых костюмах. Нельзя было смотреть без улыбки на некоторых солидных, с кейсами в руках мужчин, одетых в костюмы тройки, словно собравшихся на дипломатический прием, и... обутых в кроссовки фирмы «Адидас» или «Пума». Но мужи эти шагали с достоинством современных модников.

К удовлетворению Карагурова, в парке в эти часы народу оказалось мало и никто ему не мешал тщательно осмотреть клен, который сейчас выглядел совсем иным, чем при заходе солнца, да к тому же уже обсохший и потерявший свою вчерашнюю таинственность. Художник прикинул, где он поставит этюдник, чтобы не мешать прохожим и в то же время не мозолить им глаза. А то ведь нередко встречаются люди, которые, наблюдая за работой художника, непременно начинают подсказывать, как и какую краску лучше положить, другие пускаются в расспросы, рассуждения...

Однако клен и сейчас, при полуденном солнце, выглядел красиво: медные, бордовые, тронутые желтизной листья вызывающе смотрели на окружающих их молодых собратьев. Казалось, могучий клен говорил им: «Смотрите, какой прекрасной может быть старость! Я по-своему красив, необыкновенен, неповторим! Каждый период моей жизни имеет свои достоинства!» Наверное, это так и было, но Карагурову больше нравился клен вечерний, освещенный неяркими лучами предзакатного солнца. В нем тогда было больше загадочности, и это было созвучно его настроению, состоянию души накануне шестидесятилетия. Порою ему даже казалось, что он физически чувствует поступь приближающейся даты, ощущает время прожитых лет.

Вот здесь он установит мольберт, поставит свой складной стульчик (правда, он почти никогда им не пользовался, но после болезни чувствует, что придется и присесть — ноги отвыкли за долгие месяцы больничного режима, да и руки долго не смогут быть на весу), важно правильно рассчитать отсвет соседних деревьев, кустов. Ну, что ж, кажется, он нашел подходящее рабочее место — и он никому не помешает, и ему вроде бы не должны мешать. Хотя он знает свой характер — если работа увлечет его, то будь тут толпа, разговоры, он никого вокруг не замечает — лишь бы не толкали и не тыкали слишком настырные пальцем в мольберт. К такому отстранению от окружающей обстановки он научился еще на войне, когда приходилось спать под грохот взрывов, не замечал ни мокрого снега, забивавшегося под шинель, ни ливня... А какие красивые планы строили они, двадцатилетние солдаты, на будущее (как они будут жить после победы!), готовясь к атаке и точно зная, что многим уже не придется вот так разговаривать, мечтать... Может, в таких разговорах они и находили удовлетворение души, укрепляли в себе веру в победу? Возможно, и так. Но тогда они не думали о таких сложных переживаниях и не копались в душе.

Да и после войны первые семь-восемь лет ему пришлось работать, не в идеальных условиях — коммунальная квартира, комнатуха в двенадцать метров, где стояли небольшой стол, железная кровать с сеткой, провисающей до самого пола, когда он ложился, потом появилась детская кровать... и постоянное ворчание соседей, что своими красками он специально выживает их... Нет, что ни говори, а он приучил себя работать в самых невероятных и тяжелых условиях. А вот один местный поэт, философствующий в своих непонятных стихах-ребусах, встретив его как-то на улице, прогундосил, прижав мягкие, как у женщины, ладони к носу:

— Не могу, брат («брат» он сказал по-русски), я сейчас серьезно работать...

— Что же случилось? — посочувствовал Карагуров.

— Видишь какая, брат, жара? Окно приходится открывать...

— Правильно делаешь, как же в духоте сидеть?

— Верно, брат, говоришь, но ведь залетают мухи — жужжат, на нервы действуют. Ведь поэзия, сам понимаешь, брат, штука тонкая, — и он зажал нос двумя пухлыми ладонями. — Вот еще и простыл...

— Да, брат, — в тон поэту сказал Карагуров тоже по-русски. — Я, понимаю тебя. Но, говорят же, искусство требует жертв. Назвался груздем — полезай в кузов. Так, кажется, русские говорят.

— Верно говоришь, брат, верно...

Художник как бы очнулся от воспоминаний и усмехнулся: «А не становлюсь ли я похож на этого поэта? — И тут же философски заключил: — Раз уж я спрашиваю себя об этом, значит, еще не дошел до такой степени». Взглянул на часы: заходить за внучкой было еще рановато. Он снова представил, как Юнира бросается к нему на шею и говорит подружкам: «А вот мой дедушка и выздоровел!» Морщины на бледном лице разгладились от хорошего настроения, и он по привычке потерел пальцами кончики усов.

У Карагурова в запасе было еще часа три. И он решил сходить в Союз художников — как-никак, а там он не появлялся уже с полгода. Честно признаться, за это время изрядно соскучился по этому Дому. Хотя, чего там скрывать, все они ругают бюрократический аппарат Союза, даже недовольны его интерьером, частыми заседаниями. Но вот он не бывал всего полгода и понял, как ему не хватает шумных споров в коридорах, дискуссий, от которых он всегда старался уходить, считая, что художник должен только творить и творить. Оказывается, душой-то он прикипел к своему Союзу. Только теперь он понял, как отстал от жизни, оторвался от больших и малых событий. Карагуров незаметно для себя так заспешил, точно опаздывал на важное совещание, что даже почувствовал сильное сердцебиение, боль в груди и испарину на лбу. «Э-э-э, Сынбулат, не забывайся! Врачи тебя предупредили: не спеши, не нервничай, будь всегда сдержанным — в этом теперь твоя жизнь...»

В Союзе художников было тихо — большинство еще находилось в отпусках, творческих командировках. Технические работники, встречая Карагурова, поздравляли с выздоровлением и намекали, что Союз

готовится широко отметить его юбилей. Сынбулат Бикбулатович вежливо отвечал, чтобы не обидеть работников Союза, что юбилей в его возрасте уже не радуют человека. Это как закат солнца: каким бы он ни был красивым, но время его сочтено: миг — и оно погаснет!

— Но почему вы так грустно настроены? — потускнев, спросила секретарь председателя Союза художников. — Мы, Сынбулат-агай, так вас любим!

— В моем возрасте юбилей, торжества, панегирические статьи воспринимаются несколько иначе, дорогая. Нас, аксакалов, как любит называть нас молодежь, обуревают, а если нет, то должны обуревать иные заботы... Более земные и по-человечески глубокие. А все эти юбилей — преходящи, они часто похожи на мишуру, которая быстро тускнеет.

— Сынбулат-агай, что это вы так говорите о себе?

— Как, голубушка? Честно признаться, я очень взволнован, что пришел в свой родной Союз. Никогда не думал, что могу так соскучиться по этим коридорам, с их табачным дымом. По скрипу старого паркета... Жаль только — никого не застал. Когда теперь еще зайду... Тут я задумал одну интересную работу... — и он заговорщицки подмигнул веселой секретарше. Посмотрел на часы и закончил: — Бегу, голубушка, надо зайти в детсад за внучкой.

* * *

Прежде чем пойти в детский сад, Карагуров решил зайти домой и немного отдохнуть, полежать минут двадцать. Он вдруг почувствовал сильную усталость, как только вышел на улицу из Союза художников. Сняв пиджак, он накапал в мензурку валокордин и пошел в кухню, чтобы налить воды. На столе он увидел записку, написанную рукой дочери. «Папа, я думала, ты дома. Поэтому пришлось оставить тебе записку. За Юнирой не ходи. Ее взял Музафар и увез в деревню к своим родителям. Мы знаем, что ты задумал какую-то большую работу, и хотим, чтобы тебе никто не мешал. Поэтому и решили Юниру увезти в деревню. Пусть поживет некоторое время там. За нее не волнуйся. Целую. Мунира».

Карагуров несколько раз прочитал записку и, забыв принять валокордин, тяжело опустился на стул.

Он сидел глубоко задумавшись и — не мог понять, за что так больно мстит ему зять. Он же не собирался восстанавливать Юниру против родителей (это противоречило здравому смыслу!), тем более отнимать ее — при его-то здоровье, дай бог, самому протянуть год-другой. Неужели ревность может быть такой мстительной и жестокой? За что?!

Карагуров не понимал поступка зятя. Даже не догадывался, чего тот хочет. Задетое самолюбие не могло так бессердечно лишать его единственного счастья — любви внучки. Он представил, как Юнира плакала и упрашивала отца, чтобы он не отвозил ее в деревню, а разрешил бы погулять ей с дедушкой «за ручку». Сынбулату Бикбулатовичу стало совсем худо, и он быстро достал из кармана нитроглицерин и положил под язык две таблеточки чуть больше просяного зернышка. Сладковатый вкус растекся по языку, и в тот же миг в голову ударила кровь, в висках так сильно застучало, что казалось, вот-вот порвутся сосуды. Потом Карагуров с трудом вернулся в свою комнату и, не снимая обуви, прилег на кровать, с трудом расстегнул ворот рубашки.

В тяжелые минуты жизни Карагуров невольно обращался памятью к лихим годам войны, вспоминал долгие тяжелые переходы по пыльным дорогам, под знойным солнцем, когда гимнастерка казалась раскаленной печкой и тягучая слюна уже не могла освежить рот; или когда топали по колено в вязкой глине и сверху падал липкий мокрый снег, а холодный ветер продувал насквозь... И все равно шли, падали, вставали, но шли, потому что верили в победу и каждый знал, что именно от него зависит Победа. За нее расплачивались жизнью. И теперь, спустя десятилетия после сорок пятого, Карагуров как наяву видел те нечеловеческие страдания и, сжав зубы, говорил себе:

— Ты, Сынбулат,— солдат, видел страшные бои, где перемалывались тысячи молодых жизней, таких страданий не могут придумать ни в одном кругу ада. Так пристало ли тебе после всего пережитого опускать руки? Ты был выносливым и терпеливым на фронте, должен быть таким и сейчас. Тебе погибшие товарищи завещали осуществить то, что не удалось сделать им...

Так поговорив с собой вслух, Карагуров снимал с себя нервное напряжение и пытался уже спокойно разобраться в реальной обстановке. И, как ни странно, всегда находил выход из создавшегося положения и с еще большим рвением начинал работать над картинами. У него появлялись новые мысли, идеи, охватывало творческое горение...

Вот и сейчас Карагуров еще раз прочитал письмо, задумался и положил его на тумбочку. Потом разделся и тут же облачился в свой рабочий костюм, посмотрел в зеркало и промолвил:

— Да, солдат, на этот раз, кажется, ты чуть сдал. Нехорошо! — погрозил он усатому, седовласому двойнику. — Не такие удары судьбы выдерживал, а тут... — Карагуров почувствовал, что на этот раз он неискренен с собой. Силенок, видно, изрядно поубавилось в больнице за прошедшие месяцы. Он вздохнул и громко сказал: — А работать все равно надо!

Взял этюдник, краски, кисти и медленно двинулся к выходу. На улице посмотрел на ясное небо, на поосеннему нежаркое солнце и прикинул: «Вроде бы еще рановато?» Но тут же махнул рукой — ничего, он немного прогуляется по парку, еще раз оглядит свой клен. Если вчерашние краски не появятся, он запомнил их...

* * *

Придя в парк, Сынбулат Бикбулатович обрадовался, что народу оказалось мало, и, в основном, это были люди преклонных лет — пенсионеры. Они сидели на скамейках группами и тихо сумерничали.

Художник поставил мольберт на вчерашнем месте, разложил краски, кисти, бросил взгляд на опускающееся солнце, успевшее растерять за день свое ослепительное сияние и теперь ставшее похожим на маллиновый диск. Лучи солнца были мягкими и нежно просвечивали крону клена, создавая ту неповторимую игру красок, которую и хотел перенести Карагуров на полотно. Он стал торопливо наносить на холст мазок за мазком, желая успеть поймать этот счастливый миг. Лучи предзакатного солнца совершенно по-новому освещали на клумбах синие анютины глазки, расцветивая брызги фонтана невиданной красоты,

превращая кустарники чуть ли не в сказочные дворцы...

Карагуров работал азартно, с упоением, забыв о боли сердца и записке, оставленной дочерью. Его взгляд сейчас был настолько обострен и чуток, что он улавливал такие тончайшие полутона яркой палитры красок, о существовании которых обыкновенный человек и не подозревал.

Вечерняя заря угасала печально, и эта неземная грусть отражалась на деревьях, цветах, кустарниках... И видно, особенно остро чувствовали эту печаль пожилые люди, отдыхающие на скамейках. Они приумолкли, затихли: кто-то, подперев кулаком подбородок, уставился в поблекшую от долгих дождей тропинку, посыпанную желтым песком; другой, прикрыв ладонью сморщенные от старости губы, глядел поверх деревьев, прихваченных последними отблесками уходящего на отдых светила; кто-то медленно потирал руки, точно ему было холодно, и не замечал, что губы что-то невнятно шептали... Эти люди, как никто другой, не только любовались редкой красотой заката, но и видели в нем как бы предзнаменование близкого конца собственной жизни.

Настроение пенсионеров передалось и Карагурову. Он присел на складной стульчик, сцепил на коленях руки и стал провожать взглядом остывающие лучи закатного солнца. Сизые тени побежали по дорожкам, тропинкам парка, упали на деревья. Как сговорились, перестали свистеть, чирикать, перекликаться птицы. Но зато стали набирать силу крики ворон. «Завтра б удалась такая погода!» — подумал художник и почувствовал, что за его спиной кто-то остановился. «Наверное, очередной прохожий, сейчас наведет критику», — подумал он и оглянулся. Недалеко от него стояли молодая стройная женщина и мальчик лет пяти-шести. Карагуров невольно улыбнулся и подмигнул мальчику.

— Мама, этот агай рисовальщик? — дернул за руку женщину мальчонка.

— Азатик, он тебе не агай, а бабай¹. Нехорошо пожилых людей называть агай... — сделала замечание женщина. — А потом, бабай не рисовальщик, а художник.

¹ Б а б а й — дед, дедушка.

— Он настоящий художник?

— Настоящий, сынок, настоящий...— зарделась женщина и потянула сына в сторону.— Пойдем, а то мы только мешаем бабаю...

— Самый-самый настоящий? — продолжал настаивать ребенок.

— Не видишь разве?

Чтобы не смущать молодую женщину, Карагуров давно уже отвернулся и делал вид, что занят работой. Он с удовольствием слушал разговор женщины и мальчика. Особенно приятен был нежный грудной голос женщины. А вопросы мальчика веселили его. Сынбулату Бикбулатовичу почему-то захотелось, чтобы мальчик и женщина не уходили. Он даже готов был их остановить. Но, видно, Азат был с характером. Мальчик продолжал стоять на месте и говорил:

— А знаешь, мама, кем я буду?

— Кем же, сынок?

— Художником, вот кем!

— Ты уж слишком многого захотел, Азат...— по голосу чувствовалось, что женщина смущена.— Пошли домой, пошли, поздно уже...

— И буду! У нас в детском садике тоже есть рисовальщик, ты его знаешь, сосед наш Витька.

Карагуров не выдержал и обернулся:

— Ну-ка, Азат, будущий художник, иди ко мне, я тебе одну тайну открою... Ты любишь тайны?

— Тайну? — поразился мальчонка.

— Тайну...

— Бабай, а откуда ты знаешь, как меня зовут?

— Вот я уже и открыл тебе одну тайну,— улыбнулся Карагуров.— Разве это не тайна, что я знаю— тебя зовут Азат?

— Тайна...— мальчик растерянно и недоуменно смотрел на мать, которая, узнав знаменитого художника, еще больше растерялась и смутилась.

— Я, сынок, тоже удивляюсь, откуда бабай знает твоё имя?..

— Не ломай голову, Азат. Я узнаю имена хороших людей по глазам...

— Мама, а как это так можно? — снова обратился сын к матери.

— Значит, можно, Азат...— сказала тихо женщина сыну и покраснела до мочек ушей, украшенных де-

шевенькими, но очень симпатичными клипсами, напоминающими лепестки незабудок.

— А воспитательница меня называет хорошим мальчиком. Поэтому-то, наверно, художник-бабай по глазам и узнал мое имя...

— Выходит, так, сынок...

— Поклянись, бабай, что имеешь тайну! — вдруг шагнул к художнику мальчик, всем своим видом показывая, что теперь-то он уж наверняка дознается — взрослые правду говорят или разыгрывают его.

— И как же, Азат, мне поклясться? — заинтригованный неожиданно получившейся игрой, спросил Карагуров.

Женщина теперь тоже была вовлечена в игру и весело смотрела на художника и сына. Карагуров пристально взглянул на молодую мать, желая понять ее отношение к его шутке. Он отметил, что женщине лет тридцать, а может, и побольше. У мальчика такие же большие карие глаза, как и у матери, и поставлены широко. Только вот от уголков глаз у нее уже разбегаются лучики морщинок.

— Поклянись, бабай, солнцем! — серьезно и с каким-то таинственным значением сказал мальчик.

От слова «солнцем» Карагуров даже вздрогнул. Как ему нужно солнце в эти дни! Он расплылся в улыбке, пригладил усы и грустно сказал:

— Но ведь солнце уже скрылось, как же мне им поклясться?

— Ничего, завтра снова выйдет, — уверенно заявил Азат.

— Но тогда клянусь солнцем, которое взойдет завтра! — серьезно и торжественно сказал художник, с трудом сдерживая смех.

— Мама, слышишь, художник-бабай клятву дал!

— Хватит, Азат, бабай, наверное, уже устал от твоих вопросов? Скажи до свидания, и пошли, — строго заметила мать.

— Сейчас, мамочка. Только пусть он скажет, как тебя зовут.

Карагуров понял, что он попался на собственной же хитрости. И чтобы как-то вывернуться из нелегкого положения, он, в свою очередь, спросил Азата:

— А ты скажи, твоя мама хороший человек?

— Да кто же не знает, что моя мама хороший

человек? Она лучше всех! — воскликнул мальчик. И тут же обратился к матери: — Мама, скажи, ты ведь у меня хороший человек?

— Азат, перестань, ты говоришь много лишнего, — строго ответила женщина.

Карагуров устремил на женщину взгляд, прося ее о помощи. Он хотел сказать Азату имя его матери. Но как узнать? Похлопывая мальчика по спине, показывая на мольберт, Сынбулат Бикбулатович хотел оттянуть время или чем-то отвлечь Азата, чтобы он забыл о своем вопросе. И тут вдруг где-то совсем близко прогремел гром, и его раскат потряс небо. Мальчик испуганно посмотрел на мать, рванулся к ней и прижался. Женщина обняла сына и тихо сказала:

— Не бойся, малыш, гроза еще далеко от нас. — Лицо ее было спокойным и величественным.

И Карагуров внезапно отчетливо вспомнил лицо женщины. Он видел ее уже когда-то! Но когда и где? Мысли затормошили память, перебирали все встречи... Если бы не ее молодость, может быть, он вспомнил бы сразу. Но эти молодые глаза и атласная кожа смуглого лица путали его мысли, сбивали с верного пути воспоминаний. И, несмотря на невероятность совпадений, Карагуров вспомнил госпиталь, куда он попал с пулевым ранением в легкое. «Да это же Фарзана!» — едва не крикнул Карагуров. Милая, родная медсестра, спасшая ему жизнь. Но если это Фарзана, то ей должно быть столько же, сколько и ему, — около шестидесяти. Может, дочь? Но он хорошо помнит, что после госпиталя, когда он стал искать Фарзану, ему сказали, что в прифронтовой госпиталь попала фугаска и Фарзана Ишимбаева погибла...

Когда Карагурова после танковой атаки привезли раненого в дивизионный госпиталь, он бредил и все просил синий цветок василька. Почему он просил этот цветок, он и сам не знает. Но однажды, очнувшись и придя в себя, Сынбулат увидел на тумбочке в стакане с водой один-единственный цветок голубого цвета из семи лепестков на жестком, почти высохшем четырехгранном стебельке. Увидев этот, похожий на осколок голубого неба, цветок, солдат не сразу понял, где он находится. Он запомнил, как немецкий

танк, шедший на его окоп, подмял голубой, неизвестно как выживший среди такого ада василек. Земля вокруг была вся пахана-перепажана и взрыта минами, снарядами, сожжена и уничтожена последняя былиночка... А этот упругий стебелек с несколькими лепестками выжил. Чудо, да и только!

Этот голубой цветок, который принесла Фарзана, помогал выздоровлению Сынбулата, как самый лучший бальзам. С того дня солдат стал поправляться, а Фарзана, как только появлялась возле его кровати, страдальчески смотрела на него огромными карими глазами, припушенными длинными ресницами. У этой невысокой хрупкой девушки был удивительной красоты тембр голоса. Ее мелодичный и в то же время сильный голос успокаивал самых шумливых раненых. И в том госпитале Сынбулат впервые в жизни почувствовал, что он полюбил Фарзану... Она, видно, тоже догадывалась о чувствах солдата, иначе бы не сказала ему, провожая после выздоровления снова на фронт:

— Сынбулат, ты мил моему сердцу... Если б не война, сегодня же пошла бы за тебя. Да что я такое говорю? — Она склонила голову ему на грудь, отчего солдат потерял дар речи и стоял как истукан, опустив руки по швам. Потом девушка провела пальцем по его высохшим и пылающим губам. — Милый мой, нам бы с тобой выращивать твои любимые цветы... — Фарзана тряхнула каштановыми волосами, выбивающимися из-под пилотки, и повела его за руку к ожидавшей машине. И напоследок крикнула: — Будем живы, может, и встретимся.

Не встретились, погибла Фарзана.

Сейчас он смотрел на молодую женщину и был поражен сходству с Фарзаной.

Мать Азата будто догадалась о чувствах, охвативших художника, или заметила его вдруг побелевшее растерянное лицо и какой-то невысказанный к ней вопрос. Она, прижимая сына к себе, медленно сказала:

— Да, сынок, художник-бабай знает и мое имя...

Карагуров хотел шагнуть к женщине и от всего сердца поблагодарить ее за благородство и за тонкое чутье — его шутка, ставшая серьезным испытанием для сына, чуть было не закончилась грустно.

Мальчик освободился от маминых рук и подошел к мольберту.

— Мама, посмотри, какое голубое небо! А дерево вот это! — и он показал в сторону клена. — А краски мне можно потрогать?

— Конечно, только не испачкайся.

— Азат, нельзя так надоедать...

— Ничего-ничего, ему же сейчас все интересно.

— А про тайну мне все же расскажи, художник-бабай, — попросил мальчик.

— Он же тебе ее уже открыл, забыл, что ли? — одернула мать.

— Ах, да-да, про тайну? Значит, так, Азат, кем бы ты в жизни ни был — космонавтом ли, летчиком, агрономом, шофером... Главное — будь человеком, хорошим человеком, как ты говоришь. И тогда все будет в порядке. Согласен? Это самая большая тайна для всех людей.

— Ага. А маму мою зовут Ямлигуль, — заговорщицки шепнул мальчик и побежал догонять мать, которая неторопливо удалялась.

«Ямлигуль... Ямлигуль...» — повторял Карагуров, глядя вслед молодой женщине и ее сыну, которых уже поглощали вечерние сумерки.

* * *

На следующий день Карагуров пришел в парк раньше обычного. Поставил мольберт, складной стульчик, разложил краски, кисти и все это прикрыл полиэтиленом, чтобы заранее не привлекать внимание прохожих. Заложил руки за спину и стал прохаживаться вокруг «своего» клена. Он поймал себя на мысли, что сегодня он ждал не удачный ответ вечернего заката, не редкостного солнечного блика и игру красок, а ждал их — Азата и его маму Ямлигуль... Эта мысль первоначально напугала его, но, вспомнив вчерашнюю встречу, разговор, их улыбки, он просветлел лицом и теперь уже не пытался обмануть себя.

За ночь деревья изрядно попестрели, появилось больше золотистых и бордовых красок. Особенно за ночь сдали березы преклонного возраста. Они прямо-таки горели золотом под лучами солнца. Шумнее ста-

ли листья тополей, они напоминали приглушенный звон жести. Под ногами Карагурова шуршали листья, напоминая шелест перелистываемых книг в читальных залах.

Опавшие листья постоянно напоминают художнику его возраст, и ему кажется, что и походка у него так же вяла, как скольжение по асфальту пожухлых листьев. Нет слов, осенний наряд деревьев красив! Но в красоте этой есть и затаенная грусть... Вон по соседней аллее прошла молодежь. Они шумно пинали опавшие листья, бросались ими, обсыпали друг друга. Для них листья — мертвы и пригодны лишь для забавы. А пожилому человеку, как он, осень — это пора углубленных размышлений, подведение итога пройденному пути. Осень очень созвучна чувствам и мыслям пожилого человека.

Да и Карагуров не всегда видел осень сегодняшними глазами. Может быть, такое настроение у него еще и оттого, что наступила его шестидесятая осень... Будет ли для него шестьдесят первая, вторая?.. Сегодня и река Агидель с вершины этого холма кажется иной — более величественной и усталой. Латунный отблеск реки тоже не весел, не игрив, как бывает весной... Возможно, все это ему только кажется, потому что он и сам чувствует, как давят на него прошедшие годы. В ожидании прихода Азата и его матери он волновался, как перед первым в своей жизни испытанием.

Как ни терзает свою душу Карагуров, что от стар, устал, по-стариковски выглядит: жалким и немощным... со стороны любой человек, не знающий его, может позавидовать ему — поджарой, величественной фигуре, гордому взгляду, крупной голове, увенчанной седой шевелюрой, крепкому волевому подбородку. А карие глаза до сих пор не потеряли молодого блеска. Дочь не раз говорила ему: «Отец, ты очень хорошо выглядишь. Тебе никто шестьдесят не дает». На что Карагуров грустно отвечал: «Ты хочешь сказать, я как красивое яблоко — внешне яркое, соблазнительное, а изнутри гнилое?» — «Что ты, папа!» — отмахивалась Мунира и начинала целовать отца, за что муж после выговаривал: «И что ты с ним лижешься? Тебе же не пять лет!» — и дня два потом ходил мрачным, обиженным. Мунира делала вид, что между ними ни-

чего не произошло, боялась, если про такие поступки мужа узнает отец, он может принять очень решительные меры. Характер его она хорошо знала.

Но такое настроение томит Карагурова лишь в часы вынужденного безделья, когда его руки свободны от кисти, а перед глазами нет мольберта. Безделье всегда давит, угнетает художника. Вспоминая дни пребывания в больнице, он был уверен сейчас, что, если бы врачи позволили ему там хоть понемногу работать над своими замыслами, вдохнуть запах краски, запах, милее которого для него нет ничего на свете, он бы выздоровел значительно раньше. А так пришлось пролежать больше четырех месяцев. Месяцы эти Карагуров называет «месяцами безделья и сна».

Вот и сейчас, пока он, прохаживаясь вокруг клена, примечал новые детали, которые могут ему пригодиться, когда его «солнце» пойдет, прощаясь, на ночлег, и с неменьшим нетерпением ждал своих новых вчерашних знакомых, Карагуров чувствовал в себе раздвоенность, противоречивость настроений. От этого он еще больше нервничал и не мог понять, чему он будет больше рад: ясной ли погоде, о которой он так молил, или вчерашним своим знакомым, если они появятся?

Но стоило наступить предзакатному часу, стоило ему увидеть пронзенные вечерними лучами солнца клен, голубые, синие, фиолетовые анютины глазки, оказавшиеся на освещенном солнцем пяточке, как сердце у него забилося, как у азартного охотника, увидевшего долгожданную добычу, упустить которую он не имеет права.

Забыв обо всем на свете, не видя прохожих, не слыша их разговоры, Карагуров взял нужную кисть, торопливо обмакнул ее в голубую краску и сделал мазок на полотне. Он спешил запечатлеть на полотне игру цветов, все оттенки и полутона красок, которые подарила ему природа в эти счастливые минуты. Ибо художник, каким бы гениальным он ни был, не в состоянии состязаться с самой природой в богатстве палитры цветов. Но художник может развить фантазию природы, обогатить ее, выразив в картине свои мысли и чувства...

Сделав мазки синей, голубой, фиолетовой краска-

ми, Карагуров понял, что натолкнула его на это простота анютиных глазок, сверкающих живыми осколками небесных звезд... Цветы на коротких стебельках слегка покачивались от дуновения ветерка и, как ни странно, напоминали улыбку внучки. Ему даже показалось, что он слышит ее смех, похожий на залиvistую трель жаворонка в голубом поднебесье. Юнира, бывало, подойдет неслышно сзади, закроет нежными ладошками ему глаза и зальется радостью: «Угадай, кто это?»

...Цветы, внучка, предзакатное солнце унесли его мысли далеко, далеко. Уронив руку, держащую кисть, он долго невидяще смотрел на полотно.

— Художник-бабай...— внезапно раздался за спиной звонкий голосок.

Карагуров вздрогнул, не сознавая еще, кто бы это мог быть, обернулся.

— О-о-о! Оказывается, это ты, джигит! — обрадовался художник. — А я думал, ты уж и не придешь.

— Почему так думал? — прищурил большие глаза Азат и, задрав вверх голову, выжидательно посмотрел на художника.

— Долго тебя не было, вот и подумал.

— Художник-бабай, я стоял-стоял за твоей спиной, а ты меня не слышал. Ты спал, что ли?

— Ты, малыш, много видишь...

Азат опять звонко рассмеялся, и художнику почудилось, что его смех слился с голосом внучки... И только теперь Карагуров понял, чего ему не доставало. Выходит, он ждал появления мальчика, появления его матери...

— Художник-бабай, ты устал, что ли? — поглядывая на начатую картину, спросил Азат.

— Почему ты так думаешь? — пытаюсь сосредоточиться на картине, поинтересовался Карагуров.

— А когда моя мама вот так молчит и ничего не делает, она говорит, что сильно устала...— снова задрав голову и вглядываясь в лицо художника, объяснял ребенок.

— Нет, малыш, я не устал, а погрузился в свои мысли,— Карагуров ласково похлопал мальчика по спине. А тот, точь-в-точь как его внучка, прямо-таки лезет в душу, и на лице столько искреннего сочувст-

вия и открытости, что никого не может оставить равнодушным.

Азат нахмурил лоб, свел на переносье выгоревшие за лето рыжие брови и спросил:

— А как это погружаются в свои мысли? А в детсадишке воспитательницы не велят нам глубоко погружаться в бассейне в воду. Говорят, утонуть можно...

— Воспитательницы правду говорят...

— Значит, в мыслях тоже можно утонуть? — попытывался малыш.

— Можно, дружок, да еще как! — рассмеялся художник. — Другой раз мысли захлестывают, как волны!

— Это как на реке Агидель? — широко раскрыл и без того большие глаза ребенок.

— И такое бывает, малыш... — замолчал и нанес несколько мазков на полотно Карагуров, пригляделся и остался доволен — глаза под седоватыми бровями радостно блеснули. Он обернулся к Азату и спросил: — А где твоя мама?

— На работе...

— Как на работе? — удивился художник и положил в этюдник кисточку.

— Как? Как все! — развел ручонками Азат и совсем как взрослый стал объяснять: — Она же в больнице работает медсестрой. Забирает меня из садика, потом опять бежит в больницу. Больница от нас недалеко. Мама говорит, что она из-за меня только и устроилась в эту больницу. В другой, говорит, платили бы больше и легче там работать — больных меньше.

— Почему же это больных меньше? — спросил Карагуров и отметил про себя, что детсадовские дети очень рано становятся самостоятельными и на многое в жизни смотрят с позиций взрослых. Взять его внучку. Буквально через полгода стала вести разговоры о том, как, прячась от них, воспитательницы целуются с дядями, когда те приходят в детсад будто бы по делам... Уже знает, у кого родители пьют водку по праздникам, а у кого, как чай, — каждый день. Поэтому он и был против того, чтобы отдавать внучку в детский садик. Говорил дочери, чтобы она нашла подходящую женщину, что ребенок должен расти в

своим детским мире, а не постигать жизненную суровость, видеть грязь с малых лет, у детей тогда рано черствеют души, воспитывается практицизм... Но первым восстал зять. Он заявил: «Не хватало еще, чтобы в дом приходил чужой человек и хозяйничал!» Карагуров не стал тогда спорить. Он отец и имеет право на Юниру больше, чем он, дед.

— Ну как почему? — удивился Азат. И этот вопрос прервал мысли художника. — Говорит, та больница, где бы она работала, если бы не было меня, закрытая и туда многие рвутся работать.

«Медсестра... Медсестра!.. — думал художник и почувствовал, как встрепенулось сердце. — Ведь Фарзана тоже была медсестрой! Какое совпадение!»

— Художник-бабай, ты вчера говорил, что имена всех хороших людей знаешь...

— Говорил.

— Значит, ты и вправду бы назвал имя моей мамы, если б даже я не шепнул.

— Конечно... Правда, не сразу, надо же было подумать. Ведь она у тебя хорошая...

— Ура-а-а! Моя мама хорошая! — закричал мальчик и, подпрыгивая, как мячик, помчался по тротуару в сторону больницы.

Карагуров долго еще слышал звонкий голос Азата:

— ...Моя мама самая хорошая-я-я! Ура-а-а! Моя мама...

Художник взял кисть и начал с упоением работать. Полотно быстро покрывалось цветными мазками, вобравшими в себя всю полноту и богатство красок закатного сентябрьского вечера...

* * *

Когда Сынбулат Бикбулатович собрался заканчивать свою работу, сумерки прохладной тенью легли на землю и все краски потеряли свое очарование. На аллее показался Азат, вприпрыжку спешивший к нему, следом шла его мама... Ямлигуль была в голубом платье с белым пояском, подчеркивающим тонкий стан женщины. «Что это вдруг она надела голубое платье? — подумал Карагуров. — Вчера она, кажется, была в цветастой юбке и вязаной красной кофточке?..

Прямо рок какой-то! Голубой цветок на фронте, медсестра... голубое платье... Не слишком ли много совпадений?»

— Художник-бабай, я говорил маме, что ты здесь, а она не верила! — Азат подбежал к Карагурову и бросился в его объятия как к хорошо знакомому человеку. Художник поднял его на руки.

— Не нужно его поднимать, он уже большой! Вам же тяжело! — заметила, приближаясь, женщина и тут же упрекнула сына: — Азат, ты бы и сам мог догадаться...

Карагуров отметил про себя, с каким достоинством держалась молодая женщина. Она не заискивала перед его громким и известным именем и солидным возрастом. И в то же время не было в ней вызывающе-гордого самомнения, характерного для иных молодых красивых женщин... Сегодня он смог рассмотреть ее более внимательно. Нет, она не была красавицей с идеальными чертами лица, поражающими своим совершенством. Но от нее веяло внутренней симпатией и душевной красотой. Может, она и была привлекательна тем, что была самой обычной — коротко остриженные русые волосы, слегка вьющиеся от природы, высокий белый лоб. Прямой, немного вздернутый нос с тонкими крыльями ноздрей выдавал ее чувствительность, полные, яркие без помады губы были слегка приоткрыты и как бы подчеркивали белизну ровных зубов. Но больше всего Карагурова поразили широко открытые карие глаза Ямлигуль. Она настороженно и в то же время восторженно смотрела на него. Но как бы ни старалась казаться веселой женщина, в глубине ее прекрасных глаз таилась печаль, хотя временами они излучали свет счастья и радости. И украшали это необычно привлекательное лицо густые изогнутые посередине черные брови. Приглядываясь к ней, Карагуров понял, что живую изменчивость лицу придают эти очень подвижные брови.

Женщина заметила, как художник пристрасно разглядывает ее, хотя и старается делать это незаметно. Чтобы как-то скрыть свое смущение, она снова заговорила об Азате.

— Вы уж извините нас... Он, наверно, помешал вам? Он такой озорной, стоит чуть выпустить из ви-

ду, как тут же куда-то пропадает. Впору на привязи держать... Одним словом, детсадовский...

Художник с трудом отвел взгляд от женщины и, как только смог, спокойно ответил, понимая, что надо что-то говорить:

— Про Азата, что ли, говорите? Что вы, он совсем не мешал мне. Мы успели с ним о многом поговорить, и о довольно серьезных вещах. Он у вас смысленный мальчик... Правда же, Азат?

Мальчонка кивнул и, подобрав пестрый, в крапинку лист клена, сказал:

— У-у, какая ладонь смешная! — И тут его лицо озарилось хитрой улыбкой: — Мама, а художник-бабай знает, как тебя зовут...

В подтверждение слов мальчика Сынбулат Бикбулатович весело сказал:

— Вас зовут Ямлигуль...

Женщина не могла скрыть своего удивления. Она смущенно смотрела то на лукаво улыбающегося сына, то почему-то на растерянного Карагурова.

— Верно, меня зовут Ямлигуль...

Если бы сейчас Карагурова увидели знакомые, то они с трудом могли бы поверить, что так весело смеется и так просто держится прославленный на всю страну художник в компании незнакомой молодой женщины и мальчонки лет пяти.

Но эта непринужденность длилась недолго. Стоило женщине сказать:

— А я вас тоже давно знаю. Ваши работы восхищают меня, да не только меня... Я что? — как Карагуров словно окаменел, потом устало-равнодушно махнул рукой:

— Оставьте, сестричка Ямлигуль, эти восторги при себе... — Почувствовав, что своей резкостью он, привыкший слышать такие комплименты постоянно, ни за что обидел человека, художник смягчился: — Извините... Сорвался я... Просто будем говорить, что я знаю вас, а вы меня...

— Хорошо... — зарделась женщина и опустила глаза. Длинные ресницы тенью легли на нижние веки. — Если позволите, я вас буду звать Сынбулат-агай?

— Спасибо, мне это по душе, — опять, как своему давнему другу, сказал Карагуров. И добавил: — Между близкими людьми так принято...

— Тогда я вам больше скажу, только не обессудьте...

Теперь перед Карагуровым стояла решительная, подкупающая своей искренностью («Вот чей характер у Азата!») красивая женщина. Без тени смущения она сказала:

— Я даже знаю, где вы живете... И знаю, что вам нельзя подолгу работать...

— Вы провидица? — усмехнулся художник.

— Конечно, Сынбулат-агай, провидица! — женщина говорила без тени улыбки. — Эта «провидица» была на той «скорой помощи», когда у вас был обширный инфаркт... Мы до рассвета боролись за вашу жизнь...

Услышав это, Карагуров был настолько растерян, что не знал, что и сказать. «Какой же я черствый! Прошло столько времени, и я ни разу не поинтересовался, кто же первый оказал мне помощь! Ожирел! Свыкся, что тебя все знают, все оказывают помощь! Ты — нахал! И хотя бы дочь сказала!..» Спокойный голос женщины, ее сочувствующий взгляд буквально обезоружили его.

Поняв растерянность художника, Ямлигуль весело заметила, стараясь перевести разговор на другое:

— А я, Сынбулат-агай, знаю и членов вашей семьи: дочь, зятя... Так что не только вы умеете отгадывать имена...

Азат, увлеченный рассматриванием красок в тюбиках, кисточек, не замечал глубокого смятения художника.

— Доченька, милая... Вы уж извините меня, — взяв Ямлигуль за тонкие пальцы, начал с волнением говорить Карагуров. — Как я мог? Элементарную благодарность забыл! — Он невольно слегка прижал женщину к груди и еще раз прошептал: — Извините... — и тут же отстранился. — Как я мог?

— Что вы, — смутилась от такого внимания к себе женщина. — Это моя работа... Не я бы, другая вам помогла... Только прошу вас, берегите себя, вы нужны людям... А потом... у вас был такой сильный инфаркт! Даже трудно представить, как ваш организм справился?

— Жизнь прожита... — Хотел сказать: «Кому он

теперь нужен?» — но успел вовремя сдержаться. А то могло это выглядеть как старческое кокетство.

— Так говорить про себя нехорошо, — тихо заметила Ямлигуль и позвала сына: — Азатик, уже темнеет, пора домой.

Несмотря на то что все это женщина сказала строго, Карагуров заметил в ее глазах вспышку неприкрытого сочувствия. Живое участие ее будет понятно ему лишь спустя некоторое время. А пока он счел это за обычную профессиональную тревогу за его здоровье.

— Скоро мы расстанемся, сестричка Ямлигуль, — начал, волнуясь, Карагуров. — Я хочу вас попросить об одном одолжении...

— Догадываюсь, — покраснела женщина. — Хотите узнать про его отца? Скажу, нет у него отца...

— Да не про это, — отмахнулся художник, но уже было поздно. Он уже знал семейную драму. — Я хочу спросить, можете ли немного задержаться? Хочу портрет вашего сына нарисовать...

— Хочу! Хочу! — забыв обо всем, закричал мальчонка.

— Вот и славненько, ну-ка встань вот так, вот и хорошо... — и Карагуров достал лист ватмана, уголь и стал рисовать портрет Азата.

И вдруг мальчик закапризничал:

— Один не хочу, хочу с мамой! — И, тут же вспомнив что-то, он сказал: — Мама, раз ты знаешь, как зовут художника-бабая, значит, он тоже хороший человек! — и стал смотреть, как Карагуров размашисто работал углем, а на ватмане появлялись очертания его лица.

— Ведь вроде играл с красками, ничего не слышал, а у самого ушки на макушке, — удивился Сынбулат Бикбулатович.

— Теперь они такие, — тихо ответила Ямлигуль и сказала сыну: — А ты спросил у Сынбулата-агай, можно ли мне встать возле тебя?

— Художник-бабай, маму со мной ты будешь рисовать? — спросил мальчик.

— Конечно, Азат! Как же я буду тебя рисовать одного, без мамы? — весело, в тон мальчику ответил художник.

Ямлигуль сделала сыну замечание:

— Ты зови его Сынбулат-бабай. Художник-бабай нехорошо.

— Ладно, мама! — охотно и весело согласился Азат и снова позвал к себе мать: — Мама, скорее же, видишь, Сынбулат-бабай ждет!

Поправляя зачем-то платье, приглаживая пальцами чуть взъерошенные ветром волосы, Ямлигуль смущенно встала возле сына. По зардевавшемуся лицу, нервным движениям губ было видно, что чувствует себя она очень неловко.

— Вот так хорошо, посмотрите друг на друга. Ямлигуль, сестричка, вы чуть-чуть встаньте вполоборота, вот так... Можете разговаривать...

Художник сейчас был на седьмом небе от счастья! Он сам бы никогда не осмелился попросить женщину позировать ему. А тут такая удача! Теперь он может смело и сколько ему нужно смотреть на ее красивое лицо, быстро меняющееся от каких-то внутренних всполохов души.

Быстро работая углем, художник спросил:

— Не устали еще? Не скучно ли вам?

— Нет, Сынбулат-бабай! Ведь мы тоже смотрим на тебя, а не только ты на нас!

Закончив рисунок, Карагуров перевернул лист ватмана и заново начал рисовать мать с сыном. Он не в силах отвести взгляда от пышного облака волос женщины. И тут Азат вдруг крикнул:

— Мама, Сынбулат-бабай, наверно, и рисовать-то не умеет!

— Чу! Что ты говоришь? — одернула мать.

— Вот тебе и «чу». Я же видел, как он перевернул первый лист! Значит, мы не получились! — и он хотел было рвануться к художнику, но мать удержала:

— Когда позируют, то шевелиться нельзя!

— Нет, мама, наверно, все же он не умеет рисовать. У нас в детсадике есть Витька, хвостун! Говорит всем, давай нарисую, а потом убегает. Обещал мне один раз рогатку сделать, взамен выпросил коржик, я ему дал. А он до сих пор меня обещаниями кормит. А мой коржик съел.

— Ну что ты, сынок, говоришь, — пыталась она заставить сына замолчать, хотя и видела, как весело его слушает знаменитый художник и, то и дело бро-

сая пронзительные взгляды в их сторону, быстро-быстро водит рукой по бумаге.

«Вот шельмец! Все-то он понимает» — радостно отметил про себя Карагуров, продолжая торопливо водить углем.

— Ну вот, кажется, и готово! — хлопнул художник в ладоши.

— Так быстро? — удивился Азат и изобразил на лице разочарование. Выражение лица женщины тоже было вроде недовольным, расстроенным.

Мальчик не выдержал и подбежал к художнику.

— Ура-а-а! Мама, посмотри!

Женщина, с трудом сдерживая любопытство, степенно подошла к мольберту и склонилась над рисунком.

— И правда... Так похожи! И как быстро вы сделали...— женщина была в восторге не меньше сына и не скрывала этого.

Карагуров ликовал, точно его работу оценила строящая комиссия Союза художников.

Ямлигуль легким взмахом руки поправила упавшие на лоб волосы, и получилось это у нее грациозно, красиво. Карагуров увидел за прядью волос розовую мочку уха и на нем родимое пятнышко величиной с просыное зернышко. Он почувствовал, что покраснел, точно подсмотревший недозволенное.

— Сынбулат-агай, спасибо,— взволнованно сказала женщина, а мальчик норовил поскорее взять лист бумаги со своим изображением.

— Сейчас, малыш,— сказал художник и подписал: «В память об осеннем закате» — и крупно вывел свою подпись.— Вот теперь сделано все по правилам. На, Азатик.—И, обращаясь к женщине, сказал: — Я завтра опять приду сюда, если погода удастся... Пусть ваш сын тоже приходит... Все же ему лучше будет здесь, чем дома сидеть одному...

Азат с надеждой посмотрел на мать, что-то она ответит.

— Посмотрю на его поведение...

Карагуров понял, что эта условность относилась и к нему.

Взяв сына за руку, женщина негромко сказала:

— Берегите себя, Сынбулат-агай!

— ...Постараюсь,— машинально ответил Карагуров.

Ямлигуль и Азат не догадались, что на другом листе ватмана тоже были нарисованы их лица.

Он покинул парк, когда уже сумерки плотно окутали деревья, клумбы, фонтаны, скамейки... Прежде чем пойти домой, он еще раз полюбовался ставшими ему дорогими лицами женщины и мальчика. Хотя и торопился, но сумел схватить самые характерные черты. Это было для него очень важно. Теперь он уже мог создать настоящие портреты.

* * *

Придя домой, Карагуров застал дочь и зятя в ссоре. Мунира, заплаканная, стояла у окна в большой комнате, Музафар, набычившись, посередине комнаты. Увидев отца, Мунира поспешно вытерла слезы и, пытаясь улыбаться, подошла к нему. Зять растерянно и настороженно поглядывал на тестя.

— Почему так поздно ходишь, папа? — как ни в чем не бывало спросила дочь, стараясь казаться спокойной.— Тебе же нельзя переутомляться... Или обиделся на нас? Я же знаю...

Карагуров сурово взглянул на зятя и, обняв дочь, погладил ее по спине, словно маленькую свою внучку. Мунира с трудом удержалась, чтобы снова не расплакаться.

— Ну, успокойся... Ничего, как видишь, со мной не произошло,— и он, поборов в себе неприязнь к зятю, легонько отстранил дочь и направился к зятю. «Тоже ведь теперь родной... Что ни говори, а пока еще большой ребенок... Судьба дочери в его руках. От его отношения к ней зависит счастье Муниры... Я должен быть одинаков к обоим».

Карагуров положил руку на плечо зятю:

— Ты — мужчина, глава семьи. За все благополучие в семье в ответе ты. Не бранитесь, живите дружно. Жизнь, она что сладкий сон: увидел — и уже нет ее. Дорожите ею.— И добавил, повторил с нажимом, теща самолюбие зятя: — Еще раз напоминаю: ты мужчина, глава семьи...

Музафар явно ожидал не такой отеческой речи, спокойного назидания. После последних слов тестя он

облегченно вздохнул и гордо посмотрел на жену, вот, мол, как со мной разговаривает строгий твой отец. Учти, мол, это.

Не дожидаясь, что ответит зять, Карагуров прошел в свою комнату, переоделся и вышел. Дочь и зять были еще там, но, видно, примирение пока еще не наступило. Музафар читал газету. Мунира стояла возле окна. Карагуров подошел к портрету Ивана Прокофьева и в какой уж раз стал разглядывать друга. «Надо другой портрет написать. Что-то я пока не дотянул...» — с огорчением подумал он и сказал дочери:

— Мунира, портрет надо было протереть, запылился же.

Мунира ревнует к нему этого рыжеволосого солдата. Она знает, хотя отец никогда об этом не говорит, что портрет этот для отца дороже портрета матери. Она понимает, что с этим солдатом у отца связаны самые светлые и трагические воспоминания и он дорог ему, как никто другой. Они вместе смотрели смерти в лицо, делили поровну все, только вот жизнь не поделили — Иван погиб, а ее отец остался жив... И все равно сердцем Мунира ревнует Ивана к отцу... Она еще не понимает, что война может сблизить самых далеких людей и разъединить самых близких, родных. Женщина невольно вспомнила дочь, которую отец любит больше, чем себя, и поэтому тяжело переживает несправедливые поступки Музафара. Из-за упрямства и необузданного эгоизма Музафар ни с того ни с сего взял да и отвез Юниру в деревню, мол, я отец и это мое право. При этом совсем не подумал, какое же впечатление это произведет на девушку Юниры, куда он денет свою привязанность к внучке, как скажется ее отсутствие на нем?

— Я пойду пройдусь немного по улице, — перебил размышления дочери Карагуров.

— Поздно же... Куда ты? — встревожилась Мунира и осуждающе взглянула на мужа, вот, мол, из-за твоей прихоти все это происходит. Была бы Юнира дома, разве б он уходил в такой час один?

— Мы все уже взрослые... — загадочно улыбаясь, ответил глава дома. — У каждого из нас свои привычки, свои жизненные планы... Вы же вот живете по своим меркам, своим интересам... Так что давайте не

будем мешать друг другу...— и с гордо поднятой головой вышел.

«Старик бунтует,— подумал Музафар, продолжая делать вид, что читает газету.— Мстит за Юниру. Пытается на чувствах наших поиграть. Что ж, давай, великий художник, кто кого. Надолго ли хватит твоего терпения, упрямства? А Юнира моя дочь, и отцовских прав у меня пока никто не отнимал...»

Дверь давно уже закрылась, а Мунира все не может отвести взгляд от нее.

«Сегодня папа будто помолодел на десяток лет,— думает Мунира.— Не сглазить бы. Как он гордо вышел из своей комнаты и как величаво пошел гулять... Интересно, заметил ли эту перемену в нем Музафар? А как было бы хорошо, если б Юнира была дома и они пошли гулять вдвоем!»

«Странная улыбка у старика,— продолжал анализировать поведение тестя Музафар.— А вдруг нашел зазнобушку? Не жениться ли вздумал? А чего, старик смотрится, да за этого миллионера любая баба пойдет... Может, спросить у Муниры?»

Как бы читая мысли мужа, Мунира тоже была удивлена поведением отца и по-женски ревниво подумала: «Не на свидание ли он пошел? Пять лет нет матери... Может, приглядел какую женщину?! А как же Юнира? — И тут же упрекнула мужа, себя: — Ведь мы сами отняли внучку у деда, единственное его утешение, так какие могут быть претензии к нему? Может, поговорить с Музафаром?»

Давно уже Карагуров не выходил так поздно из дома прогуляться по тихим, пустынным улицам родного города. У него всегда не хватало времени на прогулки, где можно было бы наедине с самим собой обдумать идею замысла картины (вечно он делал это в мастерской, на эскизах), поразмышлять о семейных проблемах, наконец, просто, отвлекшись от всего, любоваться вечерним городом. Не думал Карагуров, что за неделю-другую до своего юбилея у него выпадет вот такой свободный вечер и он, находясь под впечатлением встречи с молодой женщиной и ее сыном, почувствует себя значительно лучше и жизнь, от которой ему казалось, что он устал, снова обернется к нему вдохновением, желанием работать, вновь постигать ее неизведанные тайны...

Слыша на пустынной улице лишь сухой постук об асфальт своих каблуков, всматриваясь в освещенные окна, Карагуров пытался разобраться в своих чувствах к этим двум людям, так неожиданно встретившимся на его закатном жизненном пути. Азат — славный (очень похожий на его внучку!), смысленный мальчонка, по-своему лукавый, простодушный, искренний и в то же время не лишенный практического ума и даже житейской мудрости для своего возраста.

Мать его... Карагуров даже приостановился и произвольно оглянулся, точно его мысли громко прозвучали в ночи. Ямлигуль явно понравилась ему с первой же встречи своей застенчивостью, кроткостью, величавой осанкой и большими выразительными глазами... Может быть, эта молодая женщина, по возрасту равная или чуть постарше его дочери, осветила мягким светом его душу потому, что было в ней уж очень много общего с Фарзаной? И к тому же она, оказывается, была в той «скорой помощи», которая приезжала за ним... Карагуров не мог себе объяснить, какие же чувства он питает к этой семье. Он откровенно и честно спрашивал себя, мог бы он жениться на ней? И тут же отгонял эту пошлую, как он думал, мысль. «И как только, старый, ты мог подумать так?» — зло спрашивал он себя. И в то же время он не мог отказаться от встреч с Ямлигуль — чувствовал, какую вдохновляющую силу и интерес к жизни пробуждала она в нем. От нее веяло той невидимой энергией и верой в свои возможности, которые обычно ученые приписывают естественным силам природы, миллионы лет идущей от каких-нибудь, пока еще неизвестных звезд, находящихся вне солнечной системы. Иначе как понимать, что после короткой встречи, обычного знакомства, он, который еще вчера брюзжал и готов был уйти из дома из-за того, что увезли в деревню его любимую внучку, пришел сегодня в добром настроении и не стал выговаривать эгоистичному зятю, видевшему в жизни главную цель — в вещах и материальном благополучии. Даже сейчас, идя по улице, он слышал разговор Азата с матерью, ее короткие и строгие ответы и настолько реально видел их, что мог сейчас нарисовать их лица... И снова Карагуров поймал себя на мысли, что, думая о Ямлигуль, он тут же представляет себе ее сына. Свои чувства он не

может разделить между ними. Мать и сын дополняют друг друга...

Так и не разобравшись в своих чувствах, но счастливый и радостный оттого, что есть у него теперь Азат и Ямлигуль, Карагуров бодрый вернулся домой...

* * *

Сынбулат Бикбулатович не ожидал, что этот солнечный, безоблачный день будет испорчен и у него сорвутся все планы.

Проснулся он в приподнятом настроении. Сделал несколько легких взмахов рукой, прогнулся вперед, назад. Подошел к окну — остался доволен. Утро обещало ему хороший вечер. А это значило, что он будет дописывать начатую работу.

Позавтракав, Карагуров взял старенький семейный альбом с дорогими ему фотографиями. Перелистывая толстые картонные листы, Карагуров наткнулся на старую фотографию матери. Она сидела на венском стуле, положив натруженные руки на колени, была в платье с оборкой, на голове платок, на ногах лапти... Сзади экран — неизвестный художник намалевал плывущих навстречу друг другу ярко-белых лебедей. Фотография была сделана в начале тридцатых годов в Уфе.

Мать его — Юнира-апай с первых же дней коллективизации стала ярым ее защитником и пропагандистом. Потом ее избрали председателем сельского Совета. Вечерами она рассказывала Сынбулату, как бандиты и кулаки убили его отца — Бикбулата, каким он был сильным и красивым, на сабантуях всегда одерживал в борьбе победу и привозил домой награды — вышитые полотенца, овцу, а раз даже самовар медный.

Провожая сына на фронт, Юнира-апай наказывала ему:

— Сынок, отец твой погиб от рук врагов Советской власти. Фашисты тоже враги Советской власти. Карагуровы всегда были в числе первых защитников нашей Советской власти. Ты должен сражаться не хуже всех Карагуровых, сынок...

На фронте из писем он узнал, что мать заблуди-

лась в пургу, когда возвращалась из района, и замерзла...

А вот и фотография отца — он стоит в буденовке, опершись на эфес шашки. Голову держит гордо, устремив орлиный взгляд вперед. Отцу здесь было лет двадцать—двадцать два. Сынбулат Бикбулатович сейчас старше отца почти втрое... Непредсказуема жизнь.

Телефонный звонок оторвал Карагурова от альбома. «Кто же это может быть?» — подумал он и поднял трубку:

— Слушаю, Карагуров.

— Здравствуйте, Сынбулат Бикбулатович!

Карагуров узнал председателя Союза художников.

— Здравствуйте,— вяло ответил он.

— После летнего отпуска я вот сегодня приступил к выполнению своих бюрократических обязанностей,— начал с шутки Хасан Зиннурович.— Как чувствуете себя?

— Терпимо,— сухо ответил Сынбулат Бикбулатович, пытаясь сообразить, с какой целью ему звонят.

— Над чем работаете?

— Да так, кое над чем...

— Сынбулат Бикбулатович, погодка-то разгулялась! Слава богу, прекратился дождь!

— Если славишь бога, то чего же мне звонишь?

— Замечание принимаю, дорогой Сынбулат Бикбулатович,— весело ответил председатель.— Ведь юбилей ваш приближается...

— Ну и что?

— Что значит, ну и что? Отмечать надо, говорю.

— Отмечайте, я же не против,— сказал с внутренней издевкой Карагуров. Он не любил юбилей, на которых виновник сидит этаким столпом и взирает с высоты своего юбилейного возраста в зал. Каждый выступающий отмечает выдающиеся качества юбиляра, его талант. Смотреть противно! Свое шестидесятилетие Карагуров хотел отметить в деревне и заодно там поработать. Вчера он и заходил в Союз, чтобы опередить события, а вышло вон как.

— Агай, дорогой мой, я ведь любил тебя не только по юбилеям, я люблю и уважаю твой талант! И ты это знаешь. Я ведь не из тех, которые за банкетным столом льют слезу...

— Знаю...

— Тогда прошу, дайте свое согласие... Ведь пока вы лежали в больнице, мы этот вопрос обсудили на правлении, приняли специальное решение, отступать некуда...

— Ну если уж, дорогой Хасан Зиннурович, правление приняло решение, то я подчиняюсь...

— Спасибо, Сынбулат Бикбулатович! Будем считать, что вопрос с вами согласован! — бодро закончил председатель и повесил трубку.

Карагуров сел в кресло и стал смотреть в окно, где белесое сентябрьское небо, точно промытое летними дождями и просушенное суховеями, шатром зависло над городом. Настроение у него снова поднялось — теперь-то он окончательно убедился, что вечер будет отменным!

Карагуров достал этюдник и стал рассматривать вчерашний рисунок. Лица дорогих ему теперь людей смотрели друг на друга весело и с любовью. Он хотел было кое-что подправить по памяти, но, представив, что вечером встретит их, решение свое отменил. И тут он совсем по-иному увидел свою будущую картину. Он легко вскочил с кресла, взял со стола бумагу и стал записывать мысль: вечерние алые лучи солнца, пронзая многоцветную листву клена, освещают искрящиеся брызги фонтана, цветы, а из-за огромных бутонов смотрят чьи-то большие глаза...

И опять телефонный звонок оторвал его от дела. «Кто же это мог быть? — в сердцах подумал Карагуров. — И зачем я не выключил его?»

Первым делом появилось желание не брать трубку. Но, представив, что это, может быть, дочь, тем более после вчерашней ссоры с мужем она нуждается в совете и поддержке.

— Слушаю, — взял трубку Карагуров.

— Наконец-то я вас поймал!

Сынбулат Бикбулатович узнал министра культуры Сырымбаева.

— Здравствуйте, Сынбулат Бикбулатович!

— А что, я дома все время...

— Не скажите! Земля слухами полна. Мой секретарь видела вас вчера в парке с этюдником... Я даже не поверил. Она поклялась. Очень рад за вас, очень! Талантливый человек, он и после тяжелой болезни не сидит дома! — льстил министр.

— Никуда не спрячешься от зорких глаз ваших работников! — в тон министру ответил Карагуров, догадываясь, что и этот начнет вести разговор о юбилее. И чтобы поскорее закончить разговор, прикинулся больным. — Вышел подышать воздухом, этюдник взял больше по привычке. До полного выздоровления еще далеко...

— Что вы, что вы, Сынбулат Бикбулатович! Таки-ми могучими людьми можно небеса подпирать! Вы, как один из наших строгих аксакалов, всегда требовательны к себе.

— Этот могучий аксакал сам нуждается в поддержке... Вот и сейчас разговариваю с вами, лежа в постели, — пустился на хитрость Карагуров, надеясь, что после этих слов министр быстро оставит его в покое.

— Нет-нет, уважаемый Сынбулат Бикбулатович, пессимистическое настроение вы оставьте, а то, что вы вчера уже могли прогуляться без посторонней помощи, нас обнадеживает. А сейчас я вас потревожил только с одной целью — приглашаю вас к себе. Есть серьезный разговор. Если вам тяжело, пришлю машину.

— Никакой машины не нужно. Я же живу рядом, в десяти минутах ходьбы.

— Знаю. Ну, а может быть, все-таки подослать машину?

— Нет-нет! — категорически отказался Карагуров.

«Упрямый старик и самолюбивый!» — усмехнувшись, положил трубку министр.

По складу своего характера Карагуров всегда избегал встреч с высокопоставленными людьми. Он считал, что человек, занимающий высокий пост, больше нужен другим, чем ему, и он не вправе отнимать у них дорогое время. На этот счет у него было немало стычек и с покойной женой. Она не раз заставляла его позвонить или сходить к какому-нибудь министру или начальнику главка, чтобы попросить у него достать какой-нибудь дефицит.

«Им не до нас, — обычно отвечал он. — Они люди государственные, у них каждая минута на счету!»

«Другие же не выходят из кабинетов!»

«Это их дело. У них в этом цель жизни!»

«Выходит, только я одна дуреха! Езжу, сама до-

стаю, пробиваю, а их жены готовенькое берут!»

«Ты хочешь, чтобы и я уподобился им? Ни за что! Никогда!»

Эти воспоминания нахлынули снежным обвалом, и Карагуров впервые подумал с жалостью о жене: «Может, я неправильно с ней поступал?»

У министра культуры сидел председатель Союза художников, втроем они долго обсуждали план торжественного вечера по случаю юбилея Карагурова. Вернее, говорили министр и председатель, а Сынбулат Бикбулатович сидел молча и скучал. Когда они поинтересовались у него, согласен ли он на такой сценарий, Карагуров безнадежно спросил:

— Может, все это не нужно? Честное слово!

— Хасан Зиннурович, я гляжу — наш юбиляр так до конца и не понял политического акцента этого мероприятия! — встал из-за стола министр. — Да поймите же, уважаемый наш аксакал, если мы не проведем на высшем уровне ваш юбилей, народ нас неправильно поймет! Вот где собака зарыта. Могут пойти кривотолки, почему таким-то отметили юбилей, а нашей гордости, подлинно народному художнику забыли! Что, мы будем каждому разъяснять, мол, это он сам не захотел... Нет уж, юбилей отметим, да так, чтоб народ надолго запомнил! Правильно я говорю, Хасан Зиннурович? И вы тоже юбиляру популярно объясните, что своим юбилеем он не может только сам распоряжаться, народ должен высказать ему свои чувства.

Председатель кивнул в знак согласия.

Потом Карагурова повели к заведующему отделом культуры обкома, а от него — к секретарю обкома...

Пришел Карагуров домой усталый, недовольный собой. Он был расстроен, что опоздал на этюд и на встречу с Ямлигуль и Азатом. Хождение по кабинетам практически ему ничего не дало, да оно и не нужно было ему. Он видел, что весь сценарий его юбилея был досконально продуман во всех инстанциях, и его попытка что-либо изменить ни к чему не привела. Поэтому Карагуров сейчас ругал себя, что не сумел уйти пораньше домой. Он понимал, что эти ответственные товарищи, каждый по-своему, хотели выразить к нему свое уважение, признание его таланта. Но ему-то от всего этого теперь ни холодно и ни жарко. Он и в молодости относился равнодушно к шумихе вокруг

себя, всегда главное видел — в повседневной адской работе, постоянном поиске, изучении... А узнав потом, как многие организуют рецензии на себя, пишут портреты высоких чиновников, членов их семей, чтобы только попасть «в обойму» известных художников и услышать свое имя с трибуны из уст высокопоставленного чиновника, Карагуров стал чуждаться редакций, встреч в солидных кабинетах. Он боялся, что его поведение могут истолковать, как вымогание панегирической рецензии или притязания на лауреатство.

Сегодняшние хождения по кабинетам чем-то похожи были на всю эту суету, и он, припоминая улыбчивые лица, как бы слышал: «Довольны вы, Сынбулат Бикбулатович? Видите, как мы чествуем вас? Так что вы это уж учтите».

Несмотря на поздний час, Карагуров оделся и решил все же пройтись до парка. Он понимал, что там сейчас никого нет и его никто не ждет... И нет предзакатой осенней зорьки, которую он так ждал, и, возможно, больше уже и не будет такого заката?!

Может, Карагуров и не решился бы пойти в парк в такой час, но одиночество — он даже не знал, приходили ли дочь и зять домой после работы или в знак примирения пошли в кино или еще куда, — толкало, выживало его из пустых холодных комнат.

Старый художник даже не заметил, как он быстро дошел до парка — по дороге мысленно успел перебрать почти всю свою жизнь: и детство, и первые свои рисунки на грифельной доске, ярко оформленные стенные газеты, вступление в комсомол, Ивана Прокофьева, вступление в партию перед боем, День Победы, первые успехи, рождение дочери... И эта большая жизнь вся уложилась в какие-то двадцать — двадцать пять минут. Как же скоротечна человеческая жизнь!

Парк встретил его прохладным дыханием осени. Деревья потеряли свои очертания и стояли сплошной стеной. Клумбы с цветами можно было угадать только по запаху. Особенно благоухал ночной табак. Но, несмотря на густой сумрак, Карагуров быстро нашел свой клен. От вечерней влажности трехпалые листья обмякли и висели рваными клочьями. «Что, старина, зябко?» — спросил художник и невольно заозирался вокруг в надежде, что они здесь. Потом сам же выругал себя за наивность — ну кто будет столько часов

ждать его! Даже молодые влюбленные не выдержат! И все же ему нет-нет да казалось, что он слышит звонкий голос Азата, спрятавшегося где-то за кустами: «Художник-бабай, я здесь...»

Сынбулат Бикбулатович задрал голову и посмотрел на небо, что оно предвещает на завтра? Густосиним бархатным куполом нависло оно над головой, и яркие звезды живыми огоньками будто перемигивались, переговаривались между собой. Вселенная жила, радовалась и смотрела на Землю. «Похоже, что завтра день будет ясный», — решил Карагуров. Он еще раз прошелся возле своего клена и, заложив руки за спину, медленно двинулся домой. Согбенная спина, шаркающая походка выдавали в нем пожилого человека, немало повидавшего на своем веку. От вчерашнего бодрого, веселого настроения ничего не осталось.

Природа мудра в своем вечном обновлении. Но Карагурову было жаль вчерашнего клена. Каким гордым, нарядным и даже вызывающим был он вчера! А будет ли он таким завтра? Если клен по случайности окажется тем же, то сумеет ли он, Карагуров, вновь зажечь вдохновением свою душу? Увидят ли его глаза те волнующие краски, какие он видел и чувствовал вчера?

* * *

На следующий день Карагуров встал позже обычного. Дочь и зять ушли на работу. На кухне почему-то он не нашел записки, написанной рукой дочери, где что лежит, что он может и должен поесть. Эта мало-значительная деталь не ускользнула от Карагурова. «Наверное, дочери надоело возиться со мной, как с младенцем, — подумал он. И тут же родительское сердце оправдывало дочь: — У нее своя семья, свои заботы — муж красавец! Зачем я им — старая колода?»

Головная боль, которая еще ночью дала знать о себе, сейчас, после раздумий, еще больше усилилась. Карагуров выпил таблетку и прилег. Но тут же вскочил и отключил телефон, чтобы опять ненароком куда-нибудь не вызвали, да к тому же сегодня у него не было никакого желания с кем-либо встречаться. Взглянул в окно и остался доволен — вроде бы день опять удался, значит, перед закатом солнца можно будет

пойти в парк и поработать и... может быть, встретить их... Несколько успокоившись, Сынбулат Бикбулатович уселся в кресло, взял газету. И тут раздался дверной звонок, заставивший вздрогнуть хозяина квартиры. Да что же это такое! Ведь только что он выключил телефон и считал себя недосягаемым, мог спокойно отдаться размышлениям, как на тебе — звонят в дверь! «Нет, открывать не буду! — решил он упрямо. — Никого я не жду, да и некому ко мне сейчас придти!» — и Карагуров глубже уселся в кресло, ожидая повторного резкого звонка. Но звонка не последовало. Карагуров был напряжен в ожидании. Прошло довольно длительное время, а звонка все не было. «Ошиблись, наверное?» Подойдя к двери, он прислушался и услышал, как от его двери кто-то быстро зашевелил каблучками. Он открыл дверь и увидел Ямлигуль, спускающуюся по лестнице.

— Ямлигуль, сестричка! — окликнул художник женщину.

Ямлигуль обернулась. Красивое лицо ее было печальным, а большие карие глаза сейчас удивленно смотрели на него какое-то мгновение, и тут же женщина улыбнулась, засияла.

— Сестричка... Ямлигуль, вы ко мне?

Женщина кивнула.

— Тогда проходите, поднимайтесь... — Карагуров, казалось, на глазах сбросил десяток лет, забыл о нудной, так надоевшей головной боли.

Ямлигуль не особенно уверенно поднималась по лестнице и так же неуверенно вошла в квартиру.

— Я был на кухне и не сразу услышал звонок, — как бы извиняясь, говорил Карагуров.

— ...Я на минутку, проведать... — заметно волнуясь, сказала женщина.

— Ничего-ничего, проходите, — и, взяв Ямлигуль за руки, как школьницу, хозяин дома усадил ее на диван. — Если даже на минутку, у нас же не принято поворачивать гостя от порога...

Ямлигуль еще больше смутилась от такого внимания хозяина, она медленно и осторожно, как на стекле, опустилась на диван, поправила на коленях платье, сжала ладони в кулачки, точно собираясь молиться. Сынбулат Бикбулатович сел в кресло напротив и радостно уставился на гостью. Женщина тоже улыб-

чиво прикусила свои полные губы, вертела по сторонам головой, отчего волосы то и дело обнажали красивые, порозовевшие от волнения уши. Она пыталась что-то сказать, но не осмеливалась. Наконец она шумно вздохнула и открыто выразила свой восторг:

— У вас, Сынбулат-агай, настоящий музей! — Глаза ее сверкали, излучая неприкрытое восхищение увиденным.

Карагуров, казалось, только и ждал этих слов, как любящий отец, которому хвалят его детей. Он подхватил женщину под руку и повел к портрету Ивана Прокофьева.

— Это мой фронтовой друг... Погиб в Сталинграде... — И он рассказал подробно все, что знал о своем друге, как долго, годами не мог приступить к написанию его портрета. Потом он вкратце поведал об истории зарождения замысла каждой картины.

— А почему, Сынбулат-агай, вы их храните дома? — спросила Ямлигуль и сама же покраснела, как ей казалось, от наивного и неудачного вопроса.

— Эти картины для меня самые дорогие, вот я и держу их у себя. После меня... как хотят...

— Странно, Сынбулат-агай, в тот раз я почему-то ничего не видела.

— Когда? — не понял Карагуров.

— Ну... когда на «скорой» приехали за вами...

— Об этом лучше не вспоминать. Давайте-ка, сестричка Ямлигуль, я быстренько приготовлю кофе, — и хозяин, снова усадив гостью на диван, живо прошел на кухню. Ямлигуль принялась заново осматривать картины...

Когда Карагуров принес кофе, Ямлигуль напомнила, что пришла на минутку — занести забытые им в парке темные очки и... узнать, что же случилось? Они пришли вчера в парк, а его не было, там и нашли очки...

— За очки спасибо, сестричка Ямлигуль! Я никак не мог вспомнить, где я их оставил... Насчет самочувствия? Оно у меня превосходное! Вот только жаль вчерашний день, практически он у меня прошел впустую. — Сделав несколько маленьких глотков, Карагуров спросил: — А где Азат?

Женщина сдержанно засмеялась и сказала:

— В детском садике, Сынбулат-агай. — По ее сия-

ющему лицу, радостным глазам было видно, что вопрос Карагурова о сыне доставил ей удовольствие.

— Действительно, чего это я? А как он чувствует себя?

— Хорошо, что ему будет?

— Славный паренек, сестричка Ямлигуль, растет у вас. Смышленный, живой... Я ему желаю удачи и счастья...

— Спасибо... И-и, Сынбулат-агай, что он мне рассказал вчера! — переливчатым смехом залилась женщина и, тут же смутившись, прикрыла ладошкой рот, потом, улыбаясь, продолжила: — Ваш рисунок он понес на следующий день в садик. Говорит, Витьке покажу, как надо рисовать. А дружок-то его в тот день не пришел. Уж переживал он, переживал. Говорит, Витька, хвастунишка, знал, что я принесу рисунок настоящего художника, вот и не пришел, испугался...

— Я сегодня опять приду в парк, пусть Азат побудет возле меня. — Карагуров просительно посмотрел на женщину.

— Боюсь, не помешал бы он вам, больно уж шустрый...

— Не помешает, сговоримся мы с ним, — успокоил Карагуров и вдруг поднялся и подошел к небольшому, мастерски исполненному, портрету девочки. — А это моя внучка, Юнира. Ей почти столько же лет, как и вашему. Вся моя жизнь теперь в ней...

Женщина заметила, как художник взгрустнул.

— А где же она? — спросила гостя.

— ..Отец увез ее в деревню... Соскучился я по ней...

Наступило неловкое молчание. Ямлигуль догадалась, что Карагуров что-то не договаривает о внучке. И чтобы разрядить тягостное молчание, она заговорила о себе:

— Вы уже знаете, что мы с Азатом живем вдвоем... Азат плохо помнит отца. — И совершенно неожиданно спросила: — Сынбулат-агай, вы прожили большую жизнь, много знаете, скажите, пожалуйста, можно простить измену?

— Знаете, Ямлигуль, это такой щепетильный вопрос, что на него однозначно не ответишь... У меня у самого семейная жизнь сложилась не совсем удачно...

Может, оттого, что я был полностью занят своей работой и дома ничего не видел и семьей не занимался. Если бы не так, не исключено, что я не допустил бы смерти жены... Каким-то образом предупредил бы ее... Ей тоже нелегко, наверно, было жить со мной, да и сейчас молодым тоже... У них свой взгляд на жизнь. Но какое-то мое внутреннее чувство подсказывает мне, что прощать ошибки любимого человека — это уж не такой большой подвиг. Не знаю, возможно, я не прав.

— Это за измену-то?

— За любовь всякую всегда надо бороться, вот это я знаю точно.— Карагуров сжал пальцами крепкий подбородок, свел в одну линию седые брови. Хотел отхлебнуть кофе и неожиданно передумал.— Своим вопросом, сестричка Ямлигуль, вы напомнили мне и мою жизнь. Разве легко женщине жить с человеком, который совсем не уделяет ей внимания и занят только своим любимым делом и ничего и никого вокруг не замечает? Это ведь, если хотите знать, тоже какая-то форма измены... Не находить время для того, чтобы поговорить о близких ей вещах, быть совершенно безразличным к ее интересам. Не находить общего языка в компании ее подруг, знакомых... И тогда спрашивается, зачем эти люди живут вместе, жили? Что их объединяло? — Карагуров умолк, выжидательно посмотрел на растерянную гостью и медленно произнес: — Вот так я и сам прожил со своей женой почти тридцать лет... И что я могу ответить на ваш вопрос? Знаю, за любовь надо бороться и бороться! Говорят же, искусство требует жертв, большая любовь тоже требует жертв, и порой немалых.

— Ой, засиделась-то я как! — спохватилась вдруг Ямлигуль.— У вас отняла столько времени...— Но лицо ее было просветленным, точно она решилась на что-то серьезное и смелое.— Я пойду, Сынбулат-агай, вы уж извините меня...— Женщина встала и тут же растерянно посмотрела в сторону двери — в проеме стоял Музафар.

— Вот и пришел один из обитателей нашего дома,— шутливо представил зятя Карагуров.— Познакомьтесь, его зовут Музафар, муж моей дочери, а это — Ямлигуль...

— Здравствуйте, очень приятно...— пытаюсь улыб-

нуться, сказал Музафар и стал объяснять, почему он так неожиданно пришел домой: — Я, кажется, помещал вам... Забыл записную книжку с адресами, вот и вернулся. Извините, пожалуйста...— и пошел быстро в свою комнату.

При последних словах Музафара Ямлигуль встрепнулась, гордо вскинула голову и отчеканила:

— Ваш зять, Сынбулат-агай, знает меня... Он, наверно, не забыл тот день, да и в больнице мы с ним не один раз встречались... Подарки приносил...

— Извините... Я не узнал вас,— обернулся и смущенно ответил Музафар.— Точно, вспомнил...

— Вон как, оказывается, вы знакомы! Совсем хорошо! — заметил Карагуров и напомнил женщине: — Так я жду Азата.

— Раз обещала, Сынбулат-агай, я пришлю его обязательно.

Сынбулат Бикбулатович проводил Ямлигуль до самых дверей.

Вернувшись в комнату, он сел в кресло и, прикрыв глаза, откинулся на спинку. После ухода женщины комната стала сразу неудобной и какой-то стылой. «Чего это до сих пор не топят?» — раздраженно подумал художник, обняв себя за плечи. Он чувствовал, как в комнате остался нежный запах недорогих женских духов... Стоило ему совсем закрыть глаза, как ему мерещилась сидящая на диване Ямлигуль...

* * *

Сегодня Карагуров пришел в парк намного раньше обычного. Посмотрев на небо, остался доволен — своей ясностью и чистотой оно напоминало голубые лепестки крохотных незабудок. Поставил этюдник на привычное место, раскладной стульчик и стал разглядывать ставшие ему близкими деревья, кусты, клумбы. С патриаршим величием взирал на все вокруг «его клен». Сегодня его листья шуршали звонко. Если у человека с возрастом прибавляется серебра в волосах, то у клена за день прибавилось яркости в красках, точно он хотел сказать, вот какую красоту таил в себе, терпеливо накапливал ее изо дня в день все лето. Южная сторона клена сейчас была как бы усыпана коваными медными листьями, изнутри крона су-

рово отливала синими листьями, напоминавшими перья павлина, северная сторона кроны пестрела желтыми, оранжевыми, бордовыми пятнами, от которых невозможно было отвести глаза. И все же художник пока не видел тех единственных красок, которые ему подарит только закат. Карагуров все чаще и чаще по-сматривал на солнце, словно торопил его скорее опуститься и подсветить клен и окружающие кусты так, чтобы сердце екнуло от радости, а руки сами потянулись к кисти... Настроение у Сынбулата Бикбулатовича поднялось, и ему захотелось в оставшиеся минуты с кем-нибудь перемолвиться словом. Как на грех, и Азат что-то запаздывал. Не оказалось сегодня и обычных завсегдатаев этих скамеек — пенсионеров, бодрых, влюбленных в жизнь людей. И тут старый художник заприметил молодого человека, которого он уже где-то видел, вроде бы и вчера и позавчера на этой скамейке.

— Молодой человек, мне ваше лицо, кажется, знакомо! — обратился к юноше Карагуров. — Если не ошибаюсь, вчера и позавчера вы сидели тут же?

— Да, Сынбулат-агай, это был я... — краснея, ответил юноша и встал.

— О! Вы даже знаете меня?! — расплылся в улыбке Карагуров, заинтригованный. — Кто же вы такой?

— Янгалей Сабиров...

— Постой-постой, так это я смотрел вашу дипломную работу? — загорелся любопытством Карагуров. — Тогда здравствуй, крестник! Больно уж скоротечной была наша встреча. Помню-помню, обнадеживающая была у тебя работа. Как защитился? Где работаешь, кем? — засыпал вопросами Карагуров молодого коллегу.

— Защитился хорошо...

— Молодец! А живешь где?

— В общежитии... Работаю в худфонде...

— Женат?

— Нет.

— Почему так? — спросил старый художник и сам рассмеялся своему вопросу.

Янгалей, который только что грустно отвечал на вопросы, тоже рассмеялся и доверчиво глядел глазами необыкновенной голубизны на маститого художника, о котором многие говорили ему, что он нелюдим, су-

ров и вообще ни с кем не «контачит». «Похоже, что этот паренек не перепутал своего бога с чужим», — одобрительно подумал Карагуров о Янгалее. Ему всегда в людях нравилась открытость, искренность.

— Какими делами сейчас ворочаешь? — нарочито солидно спросил старый художник.

Янгалей понял шутку и ответил:

— Пишу одну картину... Не знаю, получится ли?

— Сомнение всегда хорошо, но и верить надо в свои силы обязательно. Хороший пловец может утонуть в неглубокой речке, если не повсрнит в свои силы, братишка. Условия-то есть?

— ...Как сказать, — пожал плечами Сабиров. — При первой возможности выхожу в поле.

— Прекрасно! Природа, окружающая нас жизнь — источник вдохновения! Эту истину надо помнить всегда. Ну, а сюда-то зачем зачастил?

— Прохаживаясь, встретил вас у клена, вот и смотрел... Слышал я, что вы тяжело болели... Хотел к вам домой прийти и сказать спасибо за отзыв о моей дипломной работе, да не решился.

— Ничего, что не пришел, видишь, все равно встретились, — похлопал парня отечески по плечу Сынбулат Бикбулатович.

— Вчера вас не было, я уж перепугался...

Карагуров взглянул на небо и спросил:

— Дело какое есть ко мне? Говори, не стесняйся.

Парень колебался и залпом выпалил:

— Из общежития меня выселяют...

— Только-то?

— Конечно, это не совсем худшее...

— Что еще?

— Один мой знакомый присвоил две мои картины...

— Как присвоил? Украл? Как его фамилия? Вот с этого и надо было начинать.

— Файхразиев...

— Постой-постой... Файхразиев... Где-то я слышал эту фамилию.

— Наверно, слышали, он судился с худсоветом, об этом много говорили.

— Что-то он рановато пошел не по той стезе, — помрачнел Карагуров. — Так что он украл у тебя?

— Не украл, а взял и не отдает,— поправил Янга-лей.

— Это все равно,— сурово отозвался художник.— Теперь странные понятия появились насчет воровства. Я не словесник, тем более не писатель. Но газетчики или еще кто там придумали слово «несун». Слышал? Так вот люди уносят домой с завода — детали, строители — цемент, доски, из мясокомбината — мясо, колбасы, из кондитерских фабрик — конфеты, какао. Вот этих обыкновенных воров называют «несунами»! Кого мы обманываем? — горячился Карагуров.— Так что твой знакомый не взял, а украл, раз не отдает, а попросту — присвоил чужую вещь!

— Одну работу мою вы знаете — дипломную, а вторую — остались только эскизы,— и парень развернул рулон рисунков.— Взял он у меня картину на время, говорит, покажу в одной компании, может, и купят... Я поверил. А когда я встретил его и стал спрашивать, он похлопал меня по плечу и сказал, что подарил одной женщине, выдав картину за свою. Говорит, ты еще намалюешь...

— Да-а-а, видно, зубастый хищник встретился тебе, братишка,— задумчиво сказал Карагуров.— Чем же тебе помочь? А в Союзе художников был?

— Был. Рассказал им обо всем подробно, а они сказали, что с Файхразиевым вести тяжбу — это все равно что против ветра плевать. И посоветовали забыть обо всем.

— Легкий путь они выбрали,— пробурчал художник.— А ты тоже — шляпа. Свои права надо уметь отстаивать. А почему тебя лишили права жить в общезжитии? — спросил он, нетерпеливо поглядывая на закат.

— Комендант общезжития дружок Файхразиева. Узнав, что я жаловался на него в Союз, заставил своего дружка, коменданта, выселить меня...

— Я все понял. Ты дай мне свои эскизы — я с ними завтра пойду в Союз, там и про общезжитие обговорю. Приди ко мне часиков в двенадцать. Знаешь, где я живу?

— Знаю, спасибо.

— Спасибо скажешь потом, когда уладим твои дела. А сейчас, извини, братишка, видишь, какой чудесный закат? — и Карагуров широкими шагами напра-

вился к мольберту.— А впредь будь смелей! Если кто-нибудь станет обижать, скажи, мол, пожалуюсь Карагурову. Так и скажи, самому Сынбулату Бикбулатовичу! — старый художник рассмеялся и погрозил пальцем невидимому врагу. На него радостно смотрел Янгалей.— В общем, работай и работай, а имя само придет. Это говорит тебе Карагуров.

* * *

Когда Янгалей Сабиров ушел, Карагуров начал наносить на полотно первые мазки красок. Работа продвигалась хорошо, художник чувствовал, что он сегодня в ударе и его глаза метко улавливают малейшие отсветы солнечных лучей, осязаемо передают даже теплоту осеннего солнца, его мягкость, усталость... И в самый разгар работы краем глаза он завидел на ближней аллее знакомую женскую фигурку. Карагурову даже показалось, что женщина приостановилась и потянула в его сторону мужчину в летной форме, который держал ее под руку. Прекратив работать, художник посмотрел вслед удалявшейся паре и... узнал ее. Ямлигуль он узнал бы теперь среди сотен одинаковых женщин! Явно это была она. Она шла под руку с красивым молодым мужчиной. Сынбулат Бикбулатович посмотрел на часы, да, в эту пору тут должны были появиться Ямлигуль и Азат. Но где же мальчонка, если это Ямлигуль?

Художник почувствовал, как кровь ударила в голову и в висках запульсировало, сердце где-то притаилось в глубине... Карагуров присел на складной стульчик, достал из стеклянной пробирочки нитроглицерин и положил под язык. Как только сладость начала обволакивать язык, сердце начало биться сильнее, ровнее, ритмичней... «Неужели я ревную? Имею ли я право на это?» — спрашивал художник себя, чувствуя слабость во всем теле. Если даже этот красивый молодой мужчина любимый ею человек, то какое он имеет основание, старый человек, ревновать его к ней? Какое? Что между ними было? Ничего. Что она, объяснилась ему в любви, преданности? Нет. А он? Тоже нет. Но он считал ее посланной ему самой судьбой, как дар за все его страдания. Он признал ее близким человеком сразу же. Даже не зная, есть у нее муж

или нет, он уже был предан ей душой, полюбил ее сына. Он ничего не хотел иметь от этой женщины, а хотел только видеть ее возле себя, слышать ее грудной голос, чувствовать исходящую от нее исцеляющую силу, которая с первой же встречи осветила его жизнь сиянием женской красоты, великодушием.

Раз так нежно прижавшись друг к другу они идут, что даже она не заметила его или сделала вид, что не заметила, значит, они и пожениться могут? Могут, наверное, могут... И он вспомнил свою собственную женитьбу.

Вернувшись с войны победителем, Карагуров поступил в художественное училище. На последнем курсе его группа должна была написать обнаженную женщину с натуры. И случилось так, что постоянная натурщица тяжело заболела. Тогда дирекция училища дала объявление, что приглашаются женщины любых возрастов для работы натурщицами. Вскоре по объявлению пришли две девушки. Одна, которая поначалу показала себя бойкой, острой на язык, узнав, что позировать надо обнаженной, сердито отказалась быть натурщицей и ушла.

Вторая сжалась, точно ее должны были силком раздеть, и расплакалась. «Я согласна, но чтоб об этом никто не знал из нашего института...»

«Вот это деловой разговор! — захохотали парни. — Давай раздевайся, кроме нас никто тебя голой не увидит...» В ответ девушка еще пуще расплакалась. Тогда к ней подошел Карагуров, опустил ей на плечи руки и сказал: «Ты на них не обращай внимания. Они же только языком мелят, а так они чисто голодные галчата. Успокойся, приди в себя... В том, что ты будешь позировать нам, ничего предосудительного нет, и об этом никто не узнает... Как тебя зовут?» — «Разия», — ответила девушка.

Девушка действительно успокоилась и под общий смех сказала: «Только отвернитесь... Я сейчас...»

После натуральных работ Карагуров решил проводить девушку, он видел, в каком подавленном состоянии она находится. По дороге он спросил:

— А где вы живете?

— Пока в общежитии, но скоро, наверно, высе-
лят...

— Почему?

— За успеваемость...

— Точнее сказать, за неуспеваемость,— поправил Сымбулат.

— Ага, агай,— покорно согласилась девушка, видя в Карагурове солидного человека. Она еще в училище заметила, с каким уважением к нему относились товарищи.

— Откуда приехала?

— Из деревни...

— Да-а-а, дела...

Прощаясь, Карагуров дал Разие свой адрес и сказал, если ее выселят из общежития, пусть приходит к нему.

— Спасибо,— проямлила девушка.— Приду, домой-то стыдно возвращаться...

Действительно, недели через полторы Разия постучала в дверь к Карагурову. В одной руке у нее был деревянный чемодан, в другой — узел... Не поднимая глаз, Разия еле слышно пролепетала:

— Агай, я вот пришла...

— Вижу, проходи, раз пришла...

Так они стали жить. О любви, чувствах не говорили. Разия оказалась девушкой хозяйственной, умело расходовала деньги, экономила на всем: вместо масла покупала комбизир, за картошкой, мясом ездила в деревню, обходилось это во много раз дешевле, чем в магазине.

В то время Карагуров уже сотрудничал с издательствами, журналами и зарабатывал неплохо. Он частенько ругал Разию за скопидомство.

— В магазинах, на рынке все есть, зачем же зря время теряешь со своими поездками в деревню? — сердился он.— Лучше бы занималась...

— Деревенские продукты дешевле и вкуснее! — упрямилась она.

— Прошу тебя, не экономь на здоровье.

Так они прожили год, другой, постепенно привыкли друг к другу, а со временем и поженились. За все тридцать лет ни разу ему не пришлось приревновать жену к кому-нибудь. Или повода не было, или чувств никаких, или он был увлечен своей работой и вокруг ничего не замечал? Наверно, все вместе. Однако сейчас он приревновал женщину, которую знает всего три дня. Что это? Любовь? Новые чувства старого

человека? Увлеченно работал, довольный хорошим, словно по заказу выдавшимся заходом солнца, а интуитивно оглянулся в тот момент, когда Ямлигуль проходила по соседней аллее с *этим...* Любопытно, почему все-таки она не подошла к нему. Тогда зачем прошла здесь, могла же вообще не появляться тут! Или у нее вздорный характер и она решила подразнить его немного? Но эту мысль он тут же отогнал от себя. Нет, Ямлигуль не такая легкомысленная и ветреная женщина, чтобы так поступить! Но чем тогда объяснить ее появление здесь с молодым человеком?

* * *

...И когда Карагуров, закончив работу, начал складывать в этюдник краски, кисти, внезапно появился Азат. Он еще издали закричал:

— Художник-бабай, вчера тебя не было, а сегодня я опоздал! Я так торопился, так торопился! А все это из-за Витьки!

Мальчик подбежал к Сынбулату Бикбулатовичу и обхватил его колени руками.

— Я вчера два раза прибежал! — тараторил он и, задрав голову, влюбленно смотрел на художника. — Почему обманул?

— Не обманул, маленький, я тебя. Занят был важными делами, голубчик! — и он погладил Азата по головке, а сам все еще мысленно представлял себе недавно прошедших молодых людей.

— Тогда почему сказал, что придешь, если были важные дела?

— Неожиданно нагрянули эти дела, неожиданно...

— Разве неожиданные дела бывают?

— Как ни прискорбно, Азат, но у взрослых это часто случается. — И, вспомнив, что он утром прихватил с собой для малыша конфеты и крошечный автомобильчик, Карагуров полез в объемистый карман рабочей блузы и протянул ошеломленному от счастья мальчонке подарки.

— Все это мне? — счастливо глядя на конфеты и машину, спросил Азат.

— Тебе, кому же еще.

— Таковую машину я видел только в книгах. Как она называется?

— Модель довоенной «эмки».

— А-а-а! — протянул мальчик, рассматривая миниатюрный автомобиль. Потом отошел на асфальт и стал катать машинку. Надув щеки, старательно подражал автомобильным гудкам, урчанию мотора.

Словно вспомнив что-то важное, мальчик оторвался от игры и сказал:

— Мама тоже вчера переживала за тебя. Долго не спала, говорит, художнику-бабай, наверно, плохо, раз не пришел. Он, говорит, человек обязательный и до этого долго болел... А чем ты болел?

— Сердце болело, малыш, сердце... — и тут же подумал про себя: «Значит, очки были только поводом, она пришла навестить меня. А я-то, старый дурень, за очки благодарил ее...»

— А разве сердце болит? Вот когда я палец молотком ушиб, вот это вот болело! А сердце...

— Верно, палец штука серьезная, ты прав, — и Карагуров стал быстро набрасывать углем на бумаге занятого машинкой Азата. — А сердце... сердце молотком не ушибешь...

Закончив рисунок, Карагуров окликнул Азата:

— Иди-ка сюда, шофер, что я тебе покажу!

— Вот это да-а-а! — округлились от радости глаза Азата. — Жалко, Витьки здесь нет! А когда я ему показал рисунок, где я с мамой, так он ажно покраснел от зависти. Говорит, пусть твой художник-бабай нарисует меня, а я тебе за это рогатку отдам. Во как ему понравился твой рисунок! — мальчик вошел в азарт и рассказал, как воспитательница, увидев рисунок и подпись на нем, ахнула и даже хлопнула себя по бедрам. Азат, дав подержать автомобиль Карагурову, показал, как это сделала Лиза Васильевна.

Художник с упоением слушал звонкий, словно заливался серебряный колокольчик, голос ребенка. Мальчик так эмоционально и живо рассказывал обо всем, что Карагуров на какое-то время забыл о боли, нанесенной ему Ямлигуль, и радовался, что сегодня ему удалось положить на холст именно те цвета, которые он чувствовал, которые ему подсказал закат уходящего солнца. То были не просто цвета радуги, богатая палитра тонов, нет. В эту яркую, богатую гамму красок он вложил мысли, чувства человека на исходе своей жизни, верящего, что и после него Землю будут

украшать люди, более красивые, с доброй и щедрой душой!

— Художник-бабай, а ты меня не слушаешь! — подойдя к Сынбулату Бикбулатовичу, Азат дернул его за куртку. — Я говорю-говорю, а ты о чем-то думаешь!

— Извини, братец, со мной такое бывает. Так о чем ты говорил?

— На будущий год, мама говорит, я пойду в школу и она купит мне костюм.

— У-у-у, оказывается ты какой большой!

— Конечно! Вот видишь, ты хвалишь, а мама плачет, когда говорит о школе.

— И слезы текли?

— Конечно! Разве без слез люди плачут? Вот когда хвастунишка Витька обманул меня с рогаткой, я нарочно заплакал, чтоб он пожалел и дал свою обещанную рогатку. А он смотрел, смотрел на меня и говорит, без слез не плачут, и засмеялся.

— Костюм-то тебе купили или еще нет? — спросил Карагуров.

— Конечно, нет! Мама пока деньги копит. Мне же много денег нужно — на сумку, ботинки... Только вот не знаю, зачем она копит деньги. Я говорю: получи сразу много и купи разом все. Она смеется и говорит, когда деньги копишь, они дороже и ценнее. Чудно! Но все равно, когда я вырасту, я сразу буду маме помногу давать денег. Копить скучно.

— Молодец, малыш, ты верно мыслишь. Будь всегда таким. А теперь, — Карагуров посмотрел на часы, — нам пора пойти в больницу. Помнишь, я обещал твоей матери, что буду тебя передавать прямо ей в руки.

— Нет, не помню, художник-бабай. Забыл. Раз обещал, пошли.

Приближаясь к больнице, Сынбулат Бикбулатович начал чувствовать себя неуверенно, волнение смешало все его мысли. Появилось даже желание довести Азата до крыльца и уйти, сославшись на занятость или усталость. Он боялся, как посмотрит в лицо Ямлигуль и сумеет ли не выдать свои чувства. И в то же время он хотел видеть ее и открыто, не таясь, спросить, с кем это она шла под руку, любезно беседуя? Но не оскорбит ли такой вопрос женщину? Имеет ли он право

спрашивать ее, пусть даже спокойно, о человеке в летном костюме?

Азат, видимо, здесь был своим человеком. Он бойко поздоровался с парнем, несущим какие-то трубы, окликнул женщину в белом халате и спросил, в каком кабинете его мама. Взрослые отвечали мальчику серьезно, не скрывая добродушной улыбки.

— Я сейчас, быстро! — крикнул Азат и скрылся за стеклянными дверьми.

«Наверное, все же я зря пришел, — осудил себя Карагуров. — Что могут подумать люди? — И тут же выругал себя за нерешительность. — Кому какое дело? Что за обывательские мысли? Почему я должен стыдиться своего проступка? Я же привел сюда ребенка к матери... Заверил ее, что приведу, и чтоб она не волновалась...»

— Художник-бабай, мы тут! — раздалось неподалеку.

Карагуров обернулся и увидел в раскрытом окне первого этажа Азата и его маму... В белом халате, белой косынке с красным крестиком на лбу Ямлигуль удивительно была похожа на Фарзану, та же улыбка, то же сияние больших карих глаз... Наконец старый художник взял себя в руки и приблизился к окну.

— Здравствуйте, Сынбулат-агай! — радостно приветствовала Ямлигуль. В ее глазах Карагуров увидел искреннюю радость, теплоту. Заметив растерянность и какую-то неуверенность в лице художника, она весело и громко крикнула: — Сынбулат-агай, это же я!

Карагуров пришел в себя, когда его взял за руку Азат. Он успел вернуться и тоже восхищенно смотрел на маму: «Вот мы какие, посмотрите на нас!» — говорили его шаловливые глаза.

— Здравствуйте, Ямлигуль, сестричка... — наконец вернулся к нему дар речи. — Вот, как мы и обещали, пришли... — «Как она хорошо владеет собой, будто не она шагала под руку с летчиком. Сказать ей, что я видел ее?»

— А я вас, Сынбулат-агай, видела уже сегодня! — кокетливо улыбнулась женщина, видимо своим видом желая удивить Карагурова. — И где бы вы думали?

Карагуров чуть не спросил: «А где?»

Женщина весело продолжала:

— Я провожала брата и хотела его познакомить с

вами, но он уперся и ни в какую, говорит, человек работает, а тут мы... Уж я его тянула, тянула... А потом поняла, что брат был прав...

— Он был в летной форме? — невольно вырвалось у Карагунова.

— Точно. Значит, и вы нас видели?

— Я случайно обернулся — и вроде вы были...

— Он у нас самый старший, живет в Челябинске, штурманом работает.

— Мама, а почему ты с ним к нам в садик не зашла? — обиделся Азат. — Тот раз он приезжал с моим братиком и обещал всегда заходить в детсад, помнишь?

— В следующий раз обязательно навестит тебя, — пообещала мать. — Если, конечно, ты будешь слушать Сынбулата-агай.

— Я буду слушаться, буду! — подпрыгивал от радости Азат.

Карагунов, слушая женщину, чувствовал, как с его плеч точно сняли мешки с песком. Его душа ликovala, и ему было стыдно перед самим собою за какие-то пошлые, надуманные подозрения.

— Ты уж, сынок, сейчас иди прямо домой. Я приду чуть позже. — И пояснила Карагунову: — Отработать надо за то, что днем прогуляла час с его дядей.

— А можно я малыша возьму к себе? — неожиданно даже для себя предложил Карагунов. — Побудет со мной, а вечером я привезу его.

— Что вы, Сынбулат-агай! — отмахнулась женщина. — У вас же свои дела...

— Сегодня я свободен. Вы же знаете, что внуки нет дома... Разрешите...

— Я... я не против, но как вам?

— Все будет нормально. Он посмотрит, как я живу, мы поговорим с ним по душам... Так что мы пошли. Работайте спокойно.

* * *

Когда Мунира и Музафар увидели отца, входящего в дом с незнакомым мальчиком, они недоуменно переглянулись и озадаченно посмотрели на Азата, потом на хозяина квартиры.

— Встречайте гостя! — как будто ничего не заме-

чая, сказал Сынбулат Бикбулатович и, оставив Азата перед оторопевшими детьми, ушел переодеваться.

Азат с любопытством смотрел на непонятно почему растерянных тетю и дядю.

«Неужели это сын той женщины, про которую говорил Музафар? — с испугом подумала Мунира. — Что происходит с отцом? В детство ударился? Но он же еще не совсем старый...»

«Старик ополоумел! Пацан похож на ту гостью — такие же живые глаза, красивый... Неужто?» — тревога охватила Музафара.

Муж и жена еще долго молча поглядывали друг на друга. Вывел их из оцепенения гость. Мальчишка смело подошел к ошеломленным тете и дяде и стал поочередно представляться:

— Азат! — хлопнул он ладошкой по тетиной руке.

— Азат! — так же смело ударил он ладошкой по руке вконец растерявшегося дяди.

— Меня зовут тетя Мунира...

Музафар промолчал, он пытался разгадать, на каких правах появился этот шустрый малец в их доме.

— Дядю зовут Музафар, — вместо мужа сказала Мунира и пригласила: — Проходи. Только тебе, наверно, у нас будет скучно. Любимая внучка дедушки Юнира уехала в деревню.

— Художник-бабай рассказывал нам про нее, я знаю. Вообще-то, мне нигде скучно не бывает. Вон у вас какие красивые рисунки на стенках! — и мальчик стал с интересом рассматривать картины. Остановился возле портрета Юниры и спросил: — Кто это?

— Наша дочь Юнира! — гордо ответила Мунира.

— Любимая внучка художника-агай, — уточнил Музафар и настороженно посмотрел в сторону комнаты тестя.

— Красивая! — заключил Азат, не понимая, какое смятение он внес в эту большую богатую квартиру.

— Дедушка любит рисовать Юниру, — добавила женщина.

— Художник-бабай и меня любит рисовать, — не остался в долгу Азат. — Он нарисовал меня с моей мамой. Я носил в детский садик, и все сказали — мы очень похожи. А Витька, хвастунишка есть такой у нас, он тоже хочет, чтоб художник-бабай нарисовал его.

Переодевшись, в столовой появился Карагуров.

— Гляжу, вы тут нашли общий язык. Молодец, Азат! Ну как, нравится тебе у нас?

— Очень! Особенно твои рисунки!

— Спасибо за высокую оценку! — похлопал мальчика по спине художник. — Дочь, дай-ка нам что-нибудь перекусить. А то мы изрядно проголодались. Правда, Азат?

— Конечно! — поддержал гость хозяина и уселся за стол.

— А какой рисунок тебе больше всего понравился, строгий ценитель? — пребывая в приподнятом настроении, продолжал шутить Карагуров.

— Девочка...

— А-а-а, Юнира... У тебя, дружок, глаза меткие. Действительно, мне этот портрет удался. Вот когда отец привезет ее из деревни, — Карагуров многозначительно взглянул на зятя, — я познакомлю вас. Она девочка душевная.

Азат вел за столом себя с достоинством — сам налил себе в блюдце чай, попросил сделать бутерброд с маслом, потом попросил кусок торта. Когда поел, то сказал «спасибо» и, борясь со своим желанием, спросил:

— Художник-бабай, а можно мне одну конфетку взять?

— О чем речь, конечно! — и Карагуров положил в ладошку Азату несколько конфет.

— Я одну попросил, — пробубнил гость.

— Наелся? — спросил Карагуров.

— Ага!

— Тогда, может, на машине покатаемся? — посмотрев на часы, предложил Сынбулат Бикбулатович. — Время у нас есть еще.

— На такси? — у мальчика загорелись глаза. — Меня мамин брат катал...

— Зачем на такси? На своей, на «Волге».

— О-о-о! — протянул Азат и положил конфеты на стол. — Я катался только на такси. А эта машина твоя?

— Моя, малыш, моя! — И Карагуров обратился к совсем растерявшемуся зятю: — Музафар, машина в исправности?

— В исправности, папа,— вместо мужа ответила Мунира.

— Вот и отлично! Дай-ка, зятек, ключи,— и он протянул руку к зятю.

Музафар замешкался, полез в один карман, потом в другой...

— В пиджаке же они у тебя,— подсказала жена.— Папа, неужели ты поедешь? Поздно же, и здоровье твое...

— Доченька, я сегодня здоров как никогда! Правда, вы меня считаете почему-то за дряхлого старика, выжившего из ума...— Карагуров сурово взглянул на зятя.— Вон даже внучку прячете... Наверно, боитесь, что я ей привью дурные привычки? А вот другие доверяют и не боятся, что научу чему-то худому.

— Папа, что ты говоришь?— с трудом сдерживая слезы, перебила отца Мунира.

— Говорю правду, доченька, правду,— прижимая Азата к себе, точно боясь, что его могут обидеть, продолжал старый художник.— Правду, только приятную, льстивую, приятно слушать, а суровую правду — всегда тяжело. Так что мы с моим другом Азатиком сейчас покатаемся по вечернему городу! Тем более что он никогда не ездил на такой машине,— нарочито весело и бодро говорил Карагуров. Потом, обняв мальчонку за плечики, вышел из дома.

«Что с ним? Неужели так влюбился? Неужели приведет в дом женщину?» — тревожно думала Мунира, удивляясь молодецкой бодрости отца.

«Рехнулся старик, не иначе. Русские верно говорят: седина в бороду, а бес в ребро... Нельзя допустить, чтобы он привел кого-то в дом. Тогда, считай, квартира эта пропала. А он может. Вон же привел мальчика. Ишь, захотел покататься по вечерней Уфе! Не помнит, наверное, когда за рулем сидел! Знает, старый, как подкатиться к молодой... За квартиру можно побороться, а машина, можно считать, фьють! Тю-тю, Музафар! Тут уж никакой суд не поможет...» — уткнув руки в колени, сидел на диване и строил мрачные планы зять.

Не думали в эти минуты муж и жена, в чем причина такого внезапного поведения отца, если бы даже их догадки и предположения оказались верными. Им было не до этого. В лице отца, тестя они видели ста-

рого, переболевшего тяжелым инфарктом, состоятельного художника, который уже отжил свое и может поживать на лаврах. А они, как единственные дети-наследники, здоровые молодые люди, имеют право жить по-настоящему, в свое удовольствие. Зачем им все это богатство, когда они будут в возрасте хозяина дома?!

* * *

В машине Карагуров взглянул на часы — было начало девятого.

— Успеет, малыш! — похлопал он Азата по спине. — Универмаг работает до девяти.

— Конечно, успеет! — поддакнул мальчик, по-своему поняв Карагурова. — Вон ты как ловко ведешь машину!

— Ловко, говоришь? — улыбнулся художник.

— Ага! Вот Витька завтра лопнет от зависти! Не поверит. Скажет, врешь, — рассуждал Азат, устремив широко открытые, полные восторга глаза вперед.

— Поверит, почему не поверит, — утешил мальчика Карагуров.

Припарковав машину у тротуара недалеко от универмага, Сынбулат Бикбулатович взял Азата за руку и повел в магазин.

— Времени у нас, братец, в обрез, так что все будем делать в темпе! Ты согласен?

— Согласен... А я ни разу не видел в магазине столько огней, — сказал мальчик, восхищенно вертя по сторонам головой.

— Не приходил сюда разве с мамой?

— Приходил... Днем, когда дядя Асхат приезжал. Тогда огоньков не было.

— Ничего, вот вырастешь и насмотришься еще не на такие огни, — утешил малыша художник.

В детском отделе Карагуров, даже не поинтересовавшись о цене, увидев понравившийся ему джинсовый импортный костюм, спросил у продавщицы, пойдет ли он Азату. Молодая женщина перегнулась через прилавок и многозначительно сказала:

— Да, гражданин, костюм ему будет в самый раз.

— Ну и отлично. Где касса? — спросил Карагуров и обратился к Азату: — Повезло нам.

— Мне всегда везет, художник-бабай! — отозвался ребенок.

— Гражданин, а вы цену посмотрели?

— Вы же все равно дешевле не продадите, — отшутился Карагуров.

— Естественно! Сейчас я вам выпишу чек.

Пока Карагуров оплачивал покупку, продавщица сказала соседке:

— Видать, деньги куры не клюют. Даже цену не посмотрел. Счастливый у него внук, такого деда имеет!

Получив аккуратно сложенный в целлофановый пакет костюм, Карагуров спросил, где можно купить детские игрушки? Продавщица подчеркнуто вежливо, с улыбкой показала на второй этаж.

Игрушечный пластмассовый пистолет, выстреливающий искры, который разглядывал какой-то мальчик, сразу поправился и Азату и Карагурову.

— Берем? — спросил он мальчика.

— Берем! — ответил громко Азат, чтобы услышал мальчик, и гордо посмотрел на него.

Тот не остался в долгу. И тоже громко сказал женщине:

— Пистолет мне очень нравится. Купи...

Соперничество мальчиков совсем развеселило старого художника. Он тоже в душе сейчас уподобился им — охотно и с интересом разглядывал яркие, красивые, любовно сделанные игрушки. И пожалел лишь об одном — что здесь совсем нет национальных игрушек: ведь какие веселые персонажи из башкирских сказок можно было создать для детишек!

Уже направившись к выходу, Карагуров вдруг повернул в отдел ювелирных изделий. Азат никогда не бывал там. Поэтому его внимание привлек блеск и сияние колец, часов разных размеров, желтых ложек, брошей, цепочек... Он ткнулся носом в стекло и зачарованно разглядывал эти необыкновенной красоты «игрушки» для взрослых.

Карагуров решил купить что-нибудь оригинальное для Ямлигуль. Толк в ювелирных изделиях он понимал — покупал жене, дочери ко дню рождения, зятю на свадьбу — золотые запонки с янтарем, когда родилась Юнира... Но сейчас он был в затруднении. Хотел было купить золотую цепочку оригинального плетения,

уже выписал и... передумал. Это же может оскорбить Ямлигуль! Зачем, скажет, ни с того ни с сего вы мне такой подарок?! И будет права. Ведь может истолковать по-всякому его искреннее побуждение.

— Азат, а когда у твоей мамы день рождения? — схватился за спасительную мысль Карагуров. Ко дню рождения каждый человек должен принять подарок!

— Прошел уже! Мы с ней родились в один месяц — в мае. А что?

— Да так... — грустно вздохнул Карагуров, но тут же преобразился, охваченный какой-то идеей. — Ну-ка, дружок, пошли быстренько в машину!

Азата не надо было просить дважды. Он уже изрядно подустал и сейчас охотно побежал к выходу.

Карагуров подъехал к цветочному магазину. Темные витрины, амбарный замок на двери яснее ясного говорил о том, что там внутри.

— Эх, не повезло! — чертыхнулся художник. — Но ничего, поедem в другой, — утешил он себя.

— Художник-бабай, а что ты хочешь купить?

— Цветы!

— А-а-а!

Второй, третий цветочные магазины тоже оказались закрытыми, хотя должны были работать до двадцати двух.

— Да-а-а! — сжал зубы Карагуров, не замечая того, что после каждого закрытого магазина Азат чуть не подпрыгивал на сиденье машины. Он понял, если цветочные магазины будут закрыты, то он пакатается вдоволь.

— Расстроился, художник-бабай? — сочувственно спросил он.

— Тут расстроишься, брат! Сколько объездили магазинов, а они все, сам видишь, закрыты.

— А на базар чего не едешь? — удивленно посмотрел на художника мальчик. — Там всегда есть, даже зимой.

— Ты-то откуда знаешь?

— Мы с мамой всегда ездим на базар за цветами. Она говорит, что на базаре можно дешевле торговаться, да и цветы там лучше, чем в магазинах. Мама очень любит цветы.

— Слушай, малец, что бы я без тебя делал? — про-

светлея лицом Карагуров, но, взглянув на часы, погрузился: — Все, старик, мы опоздали...

— Не-е-ет,— протянул Азат.— Цветы на базаре допоздна продают.

— Поехали, чем черт не шутит!

Базар был уже закрыт, но возле огромного рыночного павильона, похожего на фантастический летательный аппарат, толкались люди: цветы стояли в ведрах с водой, аккуратными букетами лежали на газетах на земле, некоторые держали целые снопы гладиолусов завернутыми в марли, как запеленутых детей.

— Ну и голова, Азат, у тебя! — остановив машину, похвалил малыша Карагуров.— Не зря ты ходишь в детский сад.

— Розы! Совсем свежие розы! — закричал мужчина в тяжелой широкополой кепке, напоминающей детский зонтик.— Подходи, дорогой, дешево отдам тебе. Бери, не пожалеешь!

Хозяин цветов знал, как надо показать товар. Он стоял под ярким освещением лампы, в белом халате, в ведрах стояли розы — белые, бордовые и даже почти черные. Окрапленные водой, цветы казались только что сорванными и благоухали...

Наметанный глаз торговца уловил в Карагурове неопытного покупателя, которому позарез нужны цветы. Раз он приехал на своей машине, значит, у него есть деньги. А то, что этот седоусый мужчина непрактичный, говорило за него время прибытия на базар. Какой практичный человек не закупит цветы заранее, если надо их кому-то дарить?

— Бэри, дорогой, сколько хочэш! Сговоримся! Таких роз в вашем прекрасном городе нит и ны будет. Запах? Мэх! Утром сам рэзал! Ыз Кавказа!

— Азат, возьмем? Понравится маме?

— Кому, дорогой, такие розы нэ понравятся? Покажи мне такого человека, я ему бэсплатно все цвэты отдам! — строил из себя протачка хозяин цветов.— Тры? Пят? Сэм?! Бордовые? Бэлые?

— Все, которые в этом ведре...

— Ты что, дорогой, зло шутишь? Я с тобой как родной брат, а ты... понимаешь, такие злые шутки!

— Без всяких шуток, гражданин, считайте и заверните.

— Ты мыллыонэр, да? — откинул кепку-сковородку на затылок продавец и, вытаращив оливковые глаза, уставился на Карагурова.

— Миллионср, миллионер, разве не видно? — открыто смеялся художник, довольствуясь тем, что так удивил человека.

— В Уфе тоже есть мыллыонеры, да? — Аккуратно и бережливо заворачивал цветы в целлофан торговец.

— А где их нет сейчас?

— Какой год работаю здэсь, а мыллыонера вижу первого, — влюбленно смотрел на Карагурова хозяин цветов и торжественно вручил букет. — На свадьбу, да?

— Всю получку, наверно, ухлопал, — заметил кто-то.

— Раз можно! — отшутился Сынбулат Бикбулатович.

* * *

На этот раз Азат попросился на заднее сиденье. Рядом с ним лежали пакет с джинсовым костюмом и охапка благоухающих красных роз. Карагуров тоже чувствовал себя счастливым, как человек, исполнивший свою мечту. С таким удовольствием он еще ни разу не ездил в своей машине. Он был доволен и поездкой и покупками.

— У нас есть еще немного времени, Азат, не желаешь посмотреть памятник батыру Салавату Юлаеву? А то можем завернуть.

— Хочу! — охотно отозвался мальчишка. — Воспитательницы нам обещают, обещают сводить к батыру Салавату, да все им некогда...

— Значит, тогда я покажу тебе знаменитого батыра! — И Карагуров повернул машину из центра города к набережной.

Салавата Юлаева, освещенного прожекторами, парнишка заметил еще издали. Батыр сидел на легконогом аргамаке, протянув руку с камчой вверх. Конь и всадник были устремлены вперед, и гордое лицо батыра выражало величие и одухотворенность.

Подсвеченный прожекторами памятник казался воздушным, и всадник с конем как бы совершали прыжок через величавую Агидель, что спокойно катила

свои воды далеко вниз. Темная холодная вода временами освещалась огнями проплывающих пароходов, катеров, буксиров, и тогда в ее волнах отражались двойники бронзового всадника.

— Ой, какой сильный батыр! — воскликнул мальчик и привстал с сиденья.

— Смотри не упади. Сейчас остановим машину и выйдем, — предостерег Карагуров, очень довольный, что Салават Юлаев произвел на малыша сильное впечатление.

— Конь у него тоже был батырский? — выйдя из машины, спросил Азат. Величественный образ национального героя так подействовал на мальчишку, что он на какое-то время даже потерял свою обычную живость. Он ходил вокруг черного постамента задрав голову вверх и все спрашивал:

— Сабля у Салавата Юлаева правдышная была?

— Настоящая...

— Камча тоже правдышная?

— Настоящая...

— А воспитательница говорила, что он стихи писал, зачем же ему тогда сабля, камча?

— Он защищал бедных и стихами и саблей...

— А-а-а, понятно. А он, художник-бабай, ростом был как ты — большой?

— Золото, малыш, никогда большим не бывает, запомни это. Салават Юлаев — великий, запомни это.

— А великий больше, чем большой? — не отставал Азат.

— Да, братец, великий — это во много раз больше большого.

— Теперь понятно, почему он решил прыгать через реку... — сделал вывод Азат.

Карагуров много раз приходил сюда в самые разные часы и времена года. Он хотел постичь секрет впечатляющей силы этого выразительного монумента. Он сам сделал десятки эскизов образа народного героя, изучил горы материалов, прошелся по тем местам, где жил, воевал, провел последние дни жизни великий Салават. Но до сих пор Карагуров не может осмелиться написать его портрет. Пробовал он показать Салавата в бою рядом с Пугачевым, в уединении пишущим стихи, одухотворенным стремлением в буду-

щее, на майдане среди восставшего народа, но образ поэта, воина так пока и не сложился.

Любуясь устремленным вперед всадником и гордой статью его послушного коня, выражающего волю хозяина, Карагуров с благодарностью и даже определенной завистью думал о создателе памятника — осетине Сусланбеке Тавасиеве, который сумел передать в бронзе национальный дух вольнолюбивого народа.

— Понравился батыр? — спросил примолкшего Азата художник.

— Ага... Мне тоже таким хочется быть — сильным и смелым...

— Если очень пожелаешь, то будешь, — заверил Карагуров. — Вот он очень любил свой народ, потому и был сильным, смелым.

— Понимаю...

— А теперь, Азат, пора и домой. Мама, наверно, уже пришла...

— А днем как-нибудь, художник-бабай, придет? — спросил Азат.

— Обязательно, и не раз, — пообещал Карагуров и дал Азату несколько роз, чтобы он положил их на постамент памятника.

До дома Азат ехал непривычно тихо, он не проронил ни одного слова. Как сел на заднее сиденье, так и ехал не шелохнувшись. Художник даже раза три обернулся — не уснул ли пассажир.

Когда машина остановилась возле их дома, Азат закричал:

— В окне свет! Мама дома!

На лестничной площадке четвертого этажа Азат подбежал к обитой черным дерматином двери и, подпрыгивая, попытался нажать на кнопку дверного звонка. Он успел подпрыгнуть раз-другой, и тут открылась дверь, и, смущенно улыбаясь, их встретила Ямлигуль. Одета она была в ситцевый халатик, подпоясана белым пояском, подчеркивающим тонкую талию. На ногах босоножки. Разрумянившееся лицо выдавало волнение.

— Мама! Мы катались на машине! Были в магазине! Вот что купил мне художник-бабай! — и он показал пакет.

Женщина даже забыла пригласить гостя в квартиру, так была поражена словами сына и огромным

букетом красных роз, которые держал в руках Карагуров.

— Вы что, Сынбулат-агай? Проходите... Это так неожиданно... Проходите же...—бессвязно говорила женщина и долго не решалась взять протянутый букет роз.

— За что? — уже дома спросила тихо Ямлигуль.— Я... я... не знаю, что и сказать...— В ее словах столько было искренней радости и счастья, что Карагуров, кажется, впервые в жизни увидел, как его скромный подарок был так благодарно встречен. И совсем уж он расчувствовался, когда увидел на глазах женщины слезы. Она старалась не выдать своего волнения, но не смогла и смахнула пальцем со щек крупные слезинки.

— Чем я заслужила такое внимание, Сынбулат-агай? — теперь уже не стесняясь своих слез, спросила Ямлигуль. Улыбающееся от счастья лицо женщины, заплаканные глаза, букет красных роз в руках говорили о чистоте ее душевных переживаний.

И неожиданно старый художник спросил себя, а лучшие ли он создал полотна с женскими образами? Мог ли он когда-либо подумать, что слезы на улыбающемся лице с особой нежностью подчеркивают женскую чувствительность и благородство души? И он поблагодарил судьбу, которая позволила ему увидеть совершенство природы, духовную ее красоту, выразившуюся вот в этой гармонии.

— Успокойтесь, сестричка Ямлигуль, я потом все объясню,— наконец сказал Карагуров и не узнал своего голоса — он был звонок, молод.

— Простите меня еще раз...— взмолилась женщина.— Я сейчас положу цветы в ванну и залью водой. Иначе они быстро завянут.— И она скрылась в ванной.

Из маленького коридора Карагуров прошел в комнату, где уже примерял джинсы Азат. Он пыхтел, застегивая металлические пуговицы, открывал и замыкал на карманах замки-змейки. Надев джинсы, он заткнул пистолет за пояс и встал перед большим зеркалом.

Карагуров сел на диван и стал разглядывать комнату. Небольшой книжный шкаф был заполнен книгами. Судя по изношенным корешкам, было видно,

что книги в этом доме читают. В углу стоял полированный бельевой шкаф, напротив кровать. Посередине комнаты — круглый стол и четыре стула. На тумбочке с телевизором, столе, подушках огромными снежинками белели кружева. Их узоры были настолько изящны и тонки, что Карагурову захотелось подойти пощупать их — материалы ли они?!

Налюбовавшись собой, Азат взобрался на диван к гостю. В этой небольшой комнатке, прибранной с любовью, было так уютно, что художнику показалось, что он уже бывал здесь не раз и видел все это.

— Художник-бабай, мы расстроили маму, да? — грустно спросил Азат.

— Почему ты так решил, малыш?

— Сколько ей подарков дарили, она никогда не плакала. Может, цветы не понравились, да?

— Наоборот, Азатик, ей розы очень понравились... А вот почему так расстроилась, право, не знаю, — перебирая мягкие волосы мальчика, задумчиво ответил Карагуров.

— Разве так бывает?

— Видишь, бывает...

Азат с недоверием посмотрел на озабоченного художника. Он не понимал — художник-бабай говорит правду или шутит с ним, как с маленьким. Взрослые любят проделывать такие штуки с детьми.

И тут в дверях показалась сияющая, веселая Ямлигуль. Глаза, которые еще совсем недавно были полны слез, сейчас излучали весеннее сверкание росы на цветах. Точно прошел майский дождик и окропил первые лепестки. Она несла трехлитровую стеклянную банку с пылающими, как закат, розами.

— Извините, мужчины, для такого количества роз у меня не оказалось подходящей вазы! — засмеялась она, и комната наполнилась малиновым звоном колокольчиков. И сразу всем стало весело, и Карагуров почувствовал себя легко и непринужденно.

Азат видел, что мать пока не замечает его обновы и не уделяет ему никакого внимания. Тогда он соскочил с дивана и встал перед матерью.

— Сынбулат-агай, что я вижу! Это уж совсем никуда не годится. — Только что улыбавшееся лицо женщины снова стало растерянным, виноватым. Ямлигуль

поставила банку с розами на стол и опустилась на стул, руки положила на колени.

— Мама, нравится? — принял петушиную позу Азат.

Женщина молчала.

«Гордая, честолюбивая!» — отметил Карагуров и поспешил как-то оправдаться:

— Сестричка Ямлигуль, вы простите меня... Я искал себе костюм и случайно наткнулся на это... У нас, людей искусства, есть обычай, если так можно выразиться, когда нам сопутствует удача, то мы дарим близким людям что-нибудь... — Карагуров и сам поверил своей выдумке. — У меня сегодня удивительно удачливый день выпал... Пожалуй, такого дня у меня в жизни не было.

— И что же это была за удача, если не секрет? — спросила недоверчиво женщина.

— Наверно, день рождения! — подсказал Азат — занятый игрой, он умел еще и слушать.

— Почему ты так думаешь, сынок? — засмеялась Ямлигуль.

— А художник-бабай спрашивал, когда у тебя день рождения. Я сказал, в мае. Вместе со мной. А у него, значит, сегодня, — сделал вывод под смех взрослых мальчик.

— Верно, Азат, у него день рождения в сентябре, но не сегодня.

— Вы-то откуда знаете? — спросил Карагуров.

— Везде только и говорят о вашем юбилее...

— В молодые годы не терпится стать старше, взрослее, — с грустной улыбкой начал Карагуров. — Думаешь, вот исполнится столько-то, непременно придет удача, успех, а если еще и подфартит, то и слава. Смешно! И как ни странно, а эту ошибку повторяют все поколения, хотя и передают им свой опыт старшие, учат ценить молодость, беречь ее... Ан нет, всем молодым кажется — жизнь бесконечна и все задумки можно с лихвой выполнить... — Сымбулат Бикбулатович тряхнул седой шевелюрой, вскинул большую, монументально-гривастую голову, чем-то напоминая матерого уставшего льва, но еще не потерявшего интереса к жизни. Он взял детский пистолет, забытый на диване Азатом, и, прищурившись, несколько раз нажал курок. Искры сыпанули из ствола. — О таких иг-

рушках мое поколение и не мечтало, делали наганы, маузеры из дерева, и все равно было интересно, а может быть, даже интересней, чем теперь. Ведь мы вкладывали свой труд в эти игрушки, если не понимали, то чувствовали, что это мое, я сам сделал...— заметив на лице хозяйки печать тоски, спохватился: — Это вы, Ямлигуль, напомнили мне о моем юбилее, натолкнули на грустные размышления,— виновато заметил гость.

— Что вы, Сынбулат-агай, я всегда такая... невестая... Мне многие об этом говорят,— смутилась хозяйка.

— Я бы этого не сказал. Даже наоборот, с первой же встречи вы показались мне жизнерадостной, веселой, уверенной в себе,— попытался смягчить разговор Карагуров.

— Да вы, Сынбулат-агай, не обращайтесь внимания... Давайте лучше пить чай.

— Охотно!

— Мама, мама,— оставив игрушки, вклинился в разговор Азат.— Мамочка, а художник-бабай меня тоже угощал чаем с конфетами, бутербродами... Там еще были пирожные, но я не стал есть... Чай подавала его дочь — тетя Мунира. Его внучка мне понравилась, но ее не было дома. А дядя Музафар, муж тети Муниры, все время молчал и был хмурый...

— Играй, играй! — перебила мать.— И когда это ты успеваешь все видеть и слышать? — Брови женщины нахмурились, большие глаза осуждающе уставились на сына. И, как бы извиняясь за излишнюю говорливость ребенка, она обратилась к гостю: — И откуда у него все это, Сынбулат-агай? Другой раз я готова провалиться сквозь землю! Такое скажет!

— Что вы так расстроились? Ребенок сказал правду. Говорят же: устами ребенка глаголет истина... Он, как мы все, дитё своего времени... Может, сестричка Ямлигуль, я не прав, но ребенок должен воспитываться на глазах у матери...— грустно сказал Карагуров.— Конечно, если мы хотим воспитать автомат, то сегодняшняя система воспитания: родился ребенок, отдаем в ясли, потом в детский сад, после школа с продленкой... И видят родители ребенка только вечерами, перед сном и утром в кроватке или за столом... Днем он отдан улице... Да и в яслях они не видят нормального воспитания. Подумайте сами, Ямлигуль, на

двадцать—двадцать пять детей одна неопытная двучушка-воспитательница! Что она может дать им? Мокрые колготки она должна в день снять и надеть около ста раз... Я уже не говорю об индивидуальном подходе, это прожекты... Извините, опять меня, старика, потянуло на бурчание,— смутился Карагуров и осудил себя: «Вот молодой человек, наверно, не вел бы такие разговоры в доме женщины, которая кажется ему божеством».

— Я сама, Сынбулат-агай, часто об этом думаю, и будущее сына меня очень тревожит. Я и сейчас-то целыми днями не вижу Азата, но знаю, что он под присмотром в садике. А вот как мне быть, когда он пойдет в школу? Появятся новые товарищи у него, старшие по учебе — из третьего, четвертого классов... Они же на него будут влиять больше, чем я.

— Вы сядьте,— сказал Карагуров.— А то как-то неудобно, вы уже стоите сколько времени, а я сижу...

— Так я за чаем собралась! — засмеялась хозяйка и легкими шагами направилась в кухню.

Ямлигуль возвратилась быстро. На подносе, расписанном под хохлому, она принесла чайник с заваркой, три чайных прибора, мед в деревянной плошке, пахучее земляничное варенье, вафли и тонко нарезанный сыр.

Азата не пришлось два раза приглашать к столу. Мать только сказала, брось игру, садись за стол, мальчик был тут как тут. И, попросив мать налить чай, стал с аппетитом ужинать.

— Вот я и говорю, Сынбулат-агай,— разлив всем чай и пригласив гостя отужинать вместе с ними, Ямлигуль продолжала делиться своей тревогой.— На следующий год я встаю перед серьезной проблемой. Да разве я одна! — махнула рукой молодая женщина.— У нас в больнице половина женщин в моем положении. Некоторые даже с двумя детьми... Пока маленькие — ничего, а дальше как быть? Говорим мы много о воспитании, а на деле дальше разговора не идет. Обвиняем школу! Сколько статей в «Литературке» об этом написано! Но может ли учитель усмотреть за сорока учениками? Вы говорите, в детсаде и яслях по двадцать три ребенка. Но они-то хоть малыши, несмышлениши и верят каждому слову воспитателя. А школьники? Да вы пейте чай, пейте! — заметив, как

гость внимательно слушает ее, Ямлигуль смутилась.— Заговорила я совсем вас своими проблемами...— И тут же вздохнула: — А у кого их нет?

— Мама, спать хочу...— промямлил Азат.

— Сейчас, сынок,— и женщина быстренько откинула с кровати покрывало, подняла одеяло, поправила подушку и вернулась за сыном.

— Разрешите, я его отнесу,— тихо попросил Карагуров.— Вам же тяжело.

— Что вы, Сынбулат-агай! Я — сильная! — и она действительно легко подняла ребенка, отнесла его на кровать, раздела и уложила.

— Смышленный парень растет у вас,— заметил Карагуров, когда Ямлигуль снова села за стол.— И варенье отменное! Помню, до войны мы земляникой объедались до оскомины на зубах. Более смелые ходили на кладбище и там собирали землянику ядреную, с вишню. Я боялся греха...— улыбка скользнула по лицу старого художника.— Ребята разбегались по кладбищу, а я оставался сидеть у ворот... Было жутко одному. Но сидел и ждал приятелей, а сам думал, а вдруг кого-то покойники схватили за руку или ногу... Ой, как давно, сестричка Ямлигуль, все это было!

Женщина слушала Карагурова с любопытством, по-детски подперев подбородок рукой. Рукава халатика сползли и обнажили красивые предплечья. Карагуров отметил про себя, какая нежно-бархатная белая кожа у Ямлигуль. «Дочь моя черная, как негр. Загорела за лето, стала как чугун, а эта? Видно, ни разу и солнца не видела?» — подумал он и спросил, как и где она отдыхала летом?

— Какой может быть отдых с ним? — И женщина кивнула в сторону спящего сына.— Кому я его оставляю? А потом... Во время отпуска я вяжу людям... В будни тоже вяжу...

— А что вяжете? — изумился Карагуров.— Вот такие кружева?

— Нет, они для себя, а зарабатываю я на кофтах, шапочках... Да что это я вам про свои дела! Давайте налью вам еще чайку!

— Нет-нет, пора уходить. Ему надо спать, да и вам не мешает уже отдыхать...

— Ну смотрите... А то посидели бы...

— Честно, сестричка Ямлигуль, уже поздновато...

— Тогда я вас провожу.

— Может, не надо, а то проснется Азат и испугается...

— Он у меня молодец! Спит крепко! — и женщина с любовью поглядела на сына.

Возле машины Карагуров вытащил из кармана визитку и протянул Ямлигуль:

— Тут телефон домашний и мастерской, если понадобится, звоните. Вечерние зори, наверно, уже закончились для меня, придется теперь работать в мастерской... Я почти все время буду там.

Женщина робко взяла лакированную карточку с красивым типографским набором и с интересом рассматривала ее.

— Спасибо... Я позвоню только в крайнем случае, — сказала она. — Огромное спасибо еще раз за цветы! Такой букет мне еще никто и никогда не дарил... Спасибо, Сынбулат-агай...

— Нет, сестричка Ямлигуль, это вам спасибо за такой чудесный вечер. Вы даже не можете представить, как душевно я отдохнул у вас. До свидания...

* * *

Карагуров точно в воду смотрел вчера. Ночью он проснулся от боли в сердце и услышал, как стучал по железным крышам дождь. Сынбулат Бикбулатович включил настольную лампу. По оконным стеклам ручьи́лась вода, ежесекундно меняя рисунок. Он подошел к окну. В стекле отразилось лицо больного человека.

Карагуров, что-то ворча себе под нос, выдвинул ящик тумбочки, достал валокордин и на глазок налил в рюмку. Налил из графина воды и морщась выпил. «Осень и есть осень, вечером еще сверкали на небе звезды... А я молодец — главное успел сделать на натуре!» — похвалил он себя.

Утром Карагуров снова не увидел на обычном месте — на столе в столовой — записку от дочери. Дочь и зять ушли тихо. Видно, он крепко уснул от принятого лекарства. Напевая веселый мотив шуточной народной песенки: «Все лето ничего не делаешь — только лежишь под ивой и играешь на курае, сено не кошишь, а зимой нечего будет есть...», Карагуров вскипятил чай и впервые за долгое время сделал яич-

ницу, сверху положил кружочки помидора (однажды в Баку его угощали такой яичницей, и он на всю жизнь полюбил ее), и когда кожица помидора сморщилась, он снял сковородку с плиты, круто наперчил. Покачал головой, осуждая себя (вспомнил, что врачи категорически ему запретили есть перец, чеснок, горчицу), потом махнул рукой и сел за стол. Ел он с аппетитом, чувствуя во рту изумительный вкус с легкой кислинкой черного хлеба, обжигающий перец, томатный привкус помидоров поверх глазуньи...

Заварил крепкий, пахучий чай, подсыпал горной мяты и после каждого глотка прищуривал глаза, светящиеся от удовольствия, и затаенно улыбался.

В мастерскую Карагуров приехал на машине, хотя имел привычку ходить пешком. Но сегодня было дождливо и он торопился скорее приступить к работе. Поставив мольберт, он, как всегда, стал приглядываться к эскизу, сделанному накануне. Работой Карагуров остался доволен — за эти дни он схватил самое главное — неповторимые краски осеннего заката. Таких закатов не бывает ни весной, ни летом, ни зимой и не всякий день осенью. Этот закат выражал его настроение, настроение шестидесятилетнего человека, накануне своего юбилея и в пору, когда он встретил любовь своей молодости. Художник радовался, что он сумел в пейзаже передать жизнестойкость могучего клена, его багрово-медно-синие листья, волнение человека... Особенно ему нравились синие цветы — лепестки анютиных глазок и вообще сочетание сине-голубых красок. И за всем этим радостно-грустным настроением угадывалось присутствие женской красоты, и все предметы, попавшие в поле зрения — клен, клумбы с анютиными глазками, край фонтана, были как бы озарены теплотой авторского сердца, щедростью его таланта.

Раскладывая возле мольберта краски в тюбиках, кисти, художник вдруг отметил (раньше почему-то он этого не замечал), что даже его любимый синий цвет никогда ранее не трогал так сердце, а теперь те же синие цветы в лучах заходящего сентябрьского солнца воспринимаются как нечто от неземной красоты, позволяющей ему, человеку, ощутить значительность своего земного существования, вселяя в него веру в жизнь, добро и счастье...

Карагуров неожиданно подумал: «Моя жизнь чем-то тоже похожа и на утреннюю зарю, и на осенний закат... Фарзана вдохновила меня и пропала где-то на фронтовых дорогах. Я жил мечтой о ней, лелеял несостоявшуюся любовь... Ямлигуль... Встретилась на закате, да еще осенью, когда и чувства свои открыть невозможно. Стеснялся сказать Фарзане о своих чувствах, прошло сорок лет, и снова оторопь берет...»

Над новым полотном работалось вдохновенно. Карагуров забывал об отдыхе, еде. Ему об этом время от времени напоминала телефонными звонками дочь. Она не знала, над чем работает отец (думала, что-нибудь готовит к своему юбилею), но в голосе ее не было прежней мягкости и заботы. Она просто констатировала, что время столько-то и пора приехать на ужин. Музафар совсем о себе перестал напоминать. В последние дни они даже не встречались. Сынбулат Бикбулатович возвращался поздно, Музафар уже спал или делал вид, что спит. Утром зять уходил на работу, а тесть еще спал...

Сдержанному, сухому отношению к себе со стороны дочери и зятя Карагуров не придавал значения, а может быть, даже не замечал. Он был весь поглощен работой и жил мечтой о встрече с Ямлигуль и Азатом.

Однажды Ямлигуль позвонила в мастерскую и попросила разрешения прийти к нему с Азатом — посмотреть, как и где он работает. Художник ответил, что он давно уже ждет ее звонка, и был удивлен затянувшимся молчанием.

— Боялась вас беспокоить, Сынбулат-агай, оторвать от вашей работы...

— А чего же тогда сегодня осмелели? — поддел Карагуров, не скрывая своей радости.

— Сегодня есть причина, Сынбулат-агай!

— Если не секрет, можете сказать?

— Конечно! В городе висят афиши с вашим портретом, вы там такой молодой! Там сказано, что республика широко будет отмечать ваше шестидесятилетие. Поздравляем вас с юбилеем! Мы так рады!

— Спасибо, сестричка Ямлигуль, за вести! Давайте приезжайте, — Карагуров положил трубку и подошел к небольшому зеркалу, прибитому в простенке между большими окнами. На него смотрел с белой шевелюрой, седоусый хмурый бабай. «И зачем они

прилепили фотографию молодых лет? — раздраженно подумал он. — Скажут еще, что аксакал решил молодиться! А Ямлигуль обрадовалась, что мой юбилей отмечают... Дочь с зятем ничего не говорят... Мстят? За что?! Странно...»

После телефонного звонка Ямлигуль Карагуров больше не смог работать. Он ждал их. И когда прозвонел дверной звонок в мастерской, он прытко подбежал к двери и открыл. У него было такое радостное волнение, что он не мог скрыть его. Художник сразу подхватил на руки Азата, взял под руку женщину и провел их в глубь мастерской.

— Молодцы! Хорошо, что пришли! Я ведь уже соскучился по вас!

— Мы тоже, художник-бабай, сучали. Я маме давно говорил, давай поедem к тебе домой, а она говорила, что ты много работаешь и очень занят, — сойдя с рук на пол, затараторил мальчик.

— Садитесь, Ямлигуль, устали, наверно...

— А у вас тут как интересно! Я впервые такое вижу... — искренне удивлялась женщина, с любопытством разглядывая мастерскую, где, казалось, для постороннего глаза все находилось в хаосе: вдоль стены стояли коробки с красками, несколько огромных полотен были натянуты на подрамники, на некоторых пестрели начатые работы, кисти разных размеров лежали возле мольбертов, старый паркет во многих местах был заляпан красками.

— Мама, смотри, потолок весь стеклянный! Вот здорово-то! — крикнул Азат, шныряя, как сыскной песик, по всем закоулкам мастерской.

— Смотри, ничего не трогай! — предупредила мать.

— Нет!

— А где же вы отдыхаете, кушаете? — спросила Ямлигуль после беглого осмотра мастерской.

— Сейчас увидим мою келью, — весело ответил художник, тронутый вниманием женщины. Ведь сколько до этого у него бывали знакомые, но никто из них ни разу не спросил, где он отдыхает!

Возле глухой стены Сымбулат Бикбулатович отдернул тяжелый, сшитый из двух байковых одеял занавес, отгораживающий небольшой уголок. Тут стоял старый кожаный диван, застеленный ковром, лежала небольшая атласная подушка. Старинный стол с рез-

ными ножками из мореного дуба был заставлен чайником, посудой, хлебницей. Тут же стоял холодильник «Морозко», приемник...

— Уютно и тихо... Таинство какое-то... — заметила женщина.

— Какой уж уют, — отмахнулся художник. — Но мне, честно говоря, нравится, здесь не стесняешься: устал — полежал, послушал, что творится в мире, попил чайку, подумал...

— Ой! Сынбулат-агай, я ж забыла рассказать, как увидела ваш портрет... — она чуть отклонилась назад и пристально посмотрела на художника, спросила: — Зачем вы дали старую фотографию? — и покраснела, что ее сокровенное вырвалось помимо ее воли.

Карагуров сделал вид, что ничего не заметил, хотя сердце ликовало и он готов был покрыть поцелуями руки этого божества...

Взяв себя в руки, Ямлигуль продолжила:

— Увидела и остолбенела. Прошла немного возле театра — опять ваш портрет и текст большой, перечислены главные ваши работы, премии, награды... Я и не знала, что у вас столько знаменитых картин! А тут подошли люди и тоже читают, обмениваются мнениями, спорят... Меня так и подзадоривало сказать им, что я знаю вас, видела, как вы работаете...

— Спасибо, милая, за добрые слова... А портрет я им не давал. Они, товарищи из Союза, сами нашли где-нибудь в деле, вот и тиснули на посмешище людям.

— Почему на посмешище? — удивилась женщина.

— Как почему? Сами же сказали, зачем дал старую фотокарточку? Другие еще хуже подумают.

Потом художник показал Ямлигуль готовые картины, подписал на память альбом с его рисунками, чем безмерно обрадовал женщину.

Наблюдая за Ямлигуль, как она пристрастно и с пониманием рассматривает картины, Сынбулат Бикбулатович отметил, что у нее острый глаз и хороший вкус. Она легко воспринимала настроение полотен, умело о них рассказывала. Особенно долго Ямлигуль стояла возле небольшого пейзажа, где был изображен тихий уголок Агидели. Эта работа самому Карагурову нравилась своей ласковой печалью, мягкими тонами. Кусты ивняка, белые лилии, могучие

дубы вдали выражали вечность жизни и красоты.

Про себя Карагуров решил подарить эту картину Ямлигуль в день своего юбилея. «Интересно, как она воспримет этот подарок?»

Этот день вообще выдался удачным. Несмотря на хмурое утро, настроение у будущего юбиляра было отличным. После ухода Ямлигуль и Азата Карагуров понял, как эти два человека прочно вошли в его жизнь. Одно их присутствие вселяло в него силу, он забывал о болезни, не думал о предстоящем юбилее, приближение которого его раздражало.

Вернулся он домой раньше обычного. Дочь и зять были несколько удивлены — они его явно не ждали в эти часы. Сынбулат Бикбулатович поздоровался с ними как ни в чем не бывало и направился в свою комнату. И тут услышал из комнаты дочери:

— Наконец-то мой дедуленька пришел! — И Карагуров услышал топот детских ног.

Он обернулся, и лицо его расплылось в счастливой улыбке. Он пригладил усы и бросил дочери:

— Вы что, не могли позвонить мне, что Юниру привезли? — и тут же, забыв обиду, ринулся на встречу внучке. Он не слышал, как дочь шепнула зятю:

— Говорила тебе, давай позвоним, а ты... Видишь, что получилось!

— Кто знал, что он придет так рано... — буркнул Музафар, ревниво сверкая глазами в сторону тестя и дочери. — Ничего, переживет...

Внучка, к удивлению Карагурова, немного побыла у него на коленях, сдержанно дала поцеловать себя и стала освобождаться из объятий деда.

— Не заболела ли, внученька? Что с тобой? — спрашивал Карагуров, пытаясь еще раз обнять девочку, поиграть с ней.

— Я уже большая... — поглядывая в сторону родителей, пролепетала девочка.

— Ну и хорошо! Я вижу, как ты выросла! — пытался он свести на шутку непонятное поведение внучки.

— Мне сказали, неприлично такой большой девочке, как я, сидеть на коленях у мужчин, дядей... — равнодушно глядя на деда, говорила чьи-то заученные слова Юнира.

— Я же не дядя и не мужчина, а твой дедушка, ты — моя любимая внучка... Я очень соскучился по тебе, пожалей деда, — все еще на веселой ноте уговаривал внучку Карагуров. Он видел, как торжествующе держит себя зять и как страдает между двух огней дочь.

— Нет, — теперь уже твердо и решительно ответила девочка. — У тебя есть другой внук — Азат... — она равнодушно повернулась и пошла в свою комнату.

Черствость детской души равносильна затуханию солнца.

— ...Юнира, так нельзя разговаривать с дедушкой... — робко пролепетала мать.

— Чего только с ребенком в этом возрасте не случается! Она же нервная, разве не видишь? — подал голос зять.

Сынбулат Бикбулатович посидел еще некоторое время, пораженный случившимся, тяжело поднялся и пошел к себе.

В этот вечер он не ужинал. Поздно вечером к нему заглянула дочь. Рыдая, она упала ему на грудь и вымаливала прощение:

— Папа, поверь, я не учила ее этому... Я даже не представляла... Прости, папа...

— Иди, Мунира, уже поздно. Тебе завтра на работу... Свою жизнь ты сама строила... Иди...

Этой ночью Карагуров не мог сомкнуть глаз. У него все перепуталось в голове, душа была растоптана легкими ножками любимой внучки. «Скорее бы рассвет, поехать в мастерскую и дописать картину...»

Дом еще спал, а он встал и, не выпив, как обычно, чашку чая, тихо вышел на улицу. Уже ходили первые трамваи. Машину он решил на этот раз не брать.

Увидев дорогую для него картину, он обрадовался — она была почти готова, только кое-где еще надо было положить мазки — то «чуть-чуть», которое всегда отличает подлинного мастера от ремесленника. На раме написал: «В час заката». Сел на диван, отпил глоток холодного чая и почувствовал, как зажгло в левой части груди. «Устал, видно, — решил Сынбулат Бикбулатович. — Ночь почти совсем не спал, одни переживания... Надо пойти поскорее домой».

— Папа, что с тобой, на тебе нет лица? — встретила сочувственно Мунира.

— Ничего, устал, наверно...

— С чего ты взяла, что папа плохо выглядит? Я видел сегодня на улице его портрет — он у нас еще ого-го, лев! — сострил зять.

«Не свалиться бы до юбилея», — подумал Карагуров и поспешно скрылся в своей комнате. Довольный вид Музафара раздражал его.

Карагуров с трудом разделся, разобрал постель, выпил валокордин и прилег. Взял в руку нитроглицерин и отложил. Обычно в таких случаях Мунира укладывала его в постель. Не успел он подумать о дочери, как она почти ворвалась в его комнату. Увидев отца в кровати, она бросилась к нему. Села возле изголовья и, сдерживая слезы, упрекнула:

— Чего же ты не дождался меня? Я бы приготовила тебе постель. — И она стала поправлять подушку, подвернула одеяло.

— Я хорошо лежу, не надо... — слабым голосом он приостановил суетливые действия дочери. — Ты же видела, что я пошел к себе... Зачем же мне надо было еще напоминать? Да это мелочи, дочь... Вот то, что вы сделали с Юнирой... вот это плохо. Вы же знаете, она единственная у меня... Чего вам не хватает? — голос Карагурова стал надламываться.

— Папа, не надо! — Мунира попыталась по привычке (она знала, что это ему нравилось) взять ладонь отца в свои руки и ласкать ее. Но Сынбулат Бикбулатович, слабо сопротивляясь, не позволил взять его руку. Мунира с испугом почувствовала, какие холодные пальцы у отца. Она спросила:

— Лекарство принял? Ты очень бледный...

— Принял... Ничего, пройдет...

— Я вызову врача?

— Пожалуй... — больной кивнул и прикрыл глаза.

Мунира заметила, как испещрены фиолетовыми точками веки отца, а лицо его приняло бледно-землистый цвет.

Часа через два приехал врач, внимательно осмотрел, долго прослушивал сердце, снял кардиограмму и наказал Мунире, которая стояла рядом, чтобы больной лежал и никто его не беспокоил, выписал рецепты на новые лекарства и сказал, что пришлет медсестру, которая сделает ему уколы, а расшифровав кардиограмму, они примут необходимые меры.

— Сынбулат Бикбулатович, вы сейчас сами самый главный доктор для себя. Покой и еще раз покой. Давление ничего, но сердце подызыносилось... Вы же обещали не работать, а вот дочь говорит, что вы последние недели за мольбертом стояли по восемь — десять часов... Нехорошо... Тем более накануне юбилея...— доктор похлопал Карагурова по бледным рукам, ободряюще подмигнул: мол, все будет в порядке.

После ухода доктора больной незаметно уснул. Проснулся он от знакомого звона серебряных колокольчиков.

— Сынбулат-агай, Сынбулат-агай...

Карагуров с трудом поднял отяжелевшие веки и снова закрыл их. Он не поверил. Это был сон или все это было наяву?

— ...Сынбулат-агай...

Больной открыл глаза и... блаженная улыбка осветила его бледное лицо.

— Вы?

— Я, Сынбулат-агай... Пришла уколы делать...— Ямлигуль села на стул возле кровати больного, достала шприцы, ампулы, ватку... и все у нее получалось ловко, бесшумно.

— Спасибо, что пришли...

— Доктор меня прислал. Как только сказал, что мой старый знакомый снова слег, я сразу догадалась... Вот сейчас мы легонечко уколем, и вам станет легче. Дайте-ка руку. Минут через десять сделаем укол в ягодицу...— Ямлигуль разговаривала с Карагуровым как с капризным ребенком, и голос ее то журчал горным ручейком, то становился похожим на трель жаворонка, то совсем был похож на голос Фарзаны...

— Может, туда не надо? — взмолился Карагуров.

— Надо, вы же больной, я сделаю небольно,— сказала Ямлигуль, словно не понимала, что имеет в виду Карагуров.

— Я не об этом...

— Ничего-ничего, мы мигом...

Протянув руку, больной поднял глаза на Ямлигуль и только тут заметил, что рядом стояла Мунира, которая не могла скрыть своей неприязни к медсестре. Она перебирала свои пальцы, точно четки, и нетерпеливо ждала, когда уйдет эта молодая женщина, сумевшая покорить сердце отца и внесшая раздор, по

ее разумению, в их благополучную семью. Мунира слышала, как отец благодарил эту медичку, как ожились у него глаза при виде ее.

После первого укола лицо больного немного порозовело, он негромко спросил:

— Азат помирился с Витькой?

— Вам нельзя разговаривать... Полежите спокойно... Доктор говорит, что переутомление, работать совсем нельзя пока...

— Следующий раз обязательно Азата приведите, я ему кое-что должен сказать.

От последних слов отца Мунира непроизвольно вздрогнула, прикусила губы.

— Вот как только поправитесь, он обязательно придет... Пока до свидания, завтра я еще приду...

«Ишь как она с ним говорит! Видите ли, она приведет свой привесок!» — загорелась еще большей ненавистью к Ямлигуль Мунира.

Не успела закрыться дверь за Ямлигуль, как Музафар и Мунира устроили семейный совет. Они были уверены, что приход Ямлигуль к больному был подстроен и явно эта молодая красивая женщина решила женить на себе знаменитого художника, несмотря на большую разницу в годах. Ямлигуль ничего не теряла — отец их пожилой и больной человек, и совершенно ясно — долго не протянет. Так что есть резон медичке женить его на себе.

И чтобы этого не случилось, Музафар и Мунира решили подключить Юниру...

В этот день они раньше обычного привели девочку из детского сада. Еще на пороге мать сказала Юнире, что дедушка опять сильно заболел и его надо пожалеть. Девочка недоуменно поглядела на маму, мол, правду ли она говорит. Глазенки у нее заблестели, личико расплылось в радостной улыбке.

— У него же внук Азат есть... — сказала капризно Юнира, еще не понимая, когда же родители говорили правду.

— Мама верно говорит, доченька, слушай ее, — подтвердил Музафар. — Дедушку надо нам жалеть...

— Я его так люблю, так люблю! — крикнула девочка и стала торопливо снимать резиновые сапожки, привезенные дедушкой из Чехословакии, куртку с капюшоном из ГДР...

— Дедушка, дедушка, ты спишь? — подбежала девочка к кровати больного и тихонечко тронула его за руку.

— Это ты, Юнира? — спросил Карагуров.

— Я! Разве не узнаешь меня?

— Который сейчас час? Ты уже вернулась из сада? — поглаживая нежную детскую ладонь, он посмотрел на большие часы, стоящие в углу. — Рано еще.

— За мной папа приходил, сказал, что ты болен, и привел меня к тебе... Я, дедушка, очень тебя люблю!

— Знаю, внученька... Папа твой молодец, что сходил за тобой. А мне и впрямь худо было, сейчас уже лучше...

— Это потому что я пришла, да?

— Конечно... Вчера ты была какая-то другая... — и Карагуров взял в руки мягкие ладошки внучки и стал их жадно целовать, прижимать к щетинистым щекам.

— Колешься, — рассмеялась девочка.

— У больных всегда борода быстро растет, родная, ты уж на дедушку за это не обижайся. Завтра утром я ради тебя побреюсь...

— Дедушка, а знаешь, почему я вчера была нехорошая?

— Нет. Ты же убежала и ничего мне не рассказала.

— Вот сейчас расскажу, только ты не обижайся.

Сделав таинственное выражение лица, так обычно дедушка рассказывал ей сказки про леших, злых колдунов, чудищ, Юнира осторожно прижалась к колючей щеке дедушки и зашептала:

— Когда я была в деревне...

— Доченька, хватит, дедушка устал, — улыбочиво заметила мать, приоткрыв дверь. — Пусть он отдохнет, потом, потом...

— Ничего-ничего, Мунира, мне с ней хорошо... Ведь мы с ней почти вечность не разговаривали... И тем более что она хочет рассказать дедушке причину своей обиды...

— Нет-нет! — вошел Музафар и, взяв дочь за руку, повел ее из комнаты.

— Не буду я, папочка, ничего дедушке рассказывать, только оставьте меня с ним!

Карагуров решил вмешаться:

— Иди, внученька, папу надо слушать. У нас впереди теперь много будет времени и мы еще наговоримся, иди, милая.

Ночь эту Карагуров провел довольно спокойно. Хотя сон и был чуткий, однако утром он чувствовал себя бодрее, чем вчера. Сев на кровати, он достал из тумбочки зеркальце и взглянул на себя. Провел ладонью по седой щетине и решил побриться до прихода Ямлигуль. Тихо запел: «...Мы уезжаем, вы остаетесь, до свидания, родные...» Эти слова он повторил много раз, словно пластинка с заезженной рисккой. Настроение было приподнятое, в груди не было вчерашней боли и тяжести. Печальный мотив песни снимал тяжесть с души.

Вошла Мунира.

— Доченька, дала бы мне бритвенную машинку. Побриться надо. Видишь, как быстро зарос! А то опять внучка скажет, что колюсь. Да и Ямлигуль должна вот-вот прийти.

При последних словах отца лицо Муниры потемнело, и она долго ничего не могла ответить.

— Мунира, слышишь, машинка мне нужна...

— ...Сейчас, папа,— неестественно робко ответила дочь.

Мунира вернулась к себе в комнату, переговорила с мужем, взяла в ванной машинку, одеколон, крем. А к деду забежала Юнира и, осторожно поцеловав его в щеку, затараторила:

— Недавно приходила тетя в халате тебе уколы делать, а мама с папой ее не пустили. Сказали, ее уколы ядовиты и чтоб она забыла дорогу в наш дом... Тетя заплакала и ушла...

Что еще говорила Юнира, Карагуров не слышал. Его словно оглушили взрывом низко летящих сверхскоростных самолетов. Этот гром напоминал чем-то тот, который он слышал в парке, когда был на этюдах и впервые увидел Ямлигуль. Но тогда он почувствовал облегчение, легкость во всем теле, душа его пела от увиденной красоты женского совершенства. Сейчас же в голове стоял гул, и казалось, глаза кто-то выдавливал жестокими пальцами, а на него навалили мешки с тяжелым песком.

Вошли Музафар и Мунира. Дочь, улыбаясь, несла

бритвенную машинку, одеколон, полотенце, крем...

— Внучку уведите,— еле пролепетал Карагуров, не слыша своего голоса.

— Папа, что с тобой? — бросилась дочь к отцу.

— Ребенка уведите...

— Музафар, возьми Юниру.

— Почему вы не пустили Ямлигуль? — медленно, прижимая руку к сердцу, спросил больной.

— Мы... Она... Хотели, как лучше...

— ...Кому лучше? — едва слышно прошептали губы Карагурова, и он стал медленно падать на спину.

— Папа! Музафар! Папа, что с тобой? — пыталась подложить руку под голову отца Мунира.

Вбежал Музафар.

— Что с ним? Хотел же побриться...

— Срочно звони в больницу! Юнира ему про эту... медичку рассказала. Говорила тебе, не связывайся, пусть делает укол! Нет, свое, чтоб ноги ее не было!

— Сама же говорила, пел песню, бриться захотел! — бурчал Музафар, набирая номер больницы.

Доктор и медсестра Ямлигуль приехали минут через двадцать. Ямлигуль быстро раскрыла саквояж, приготовила все для укола, и пока доктор прощупывал пульс, массажировал грудь, она приготовила шприц.

— Срочно делайте внутривенное вливание! — сказал доктор и обратился к Мунире, чтобы она набрала телефон больницы.

— Немедленно присылайте машину реанимации!

— Да! Положение критическое.

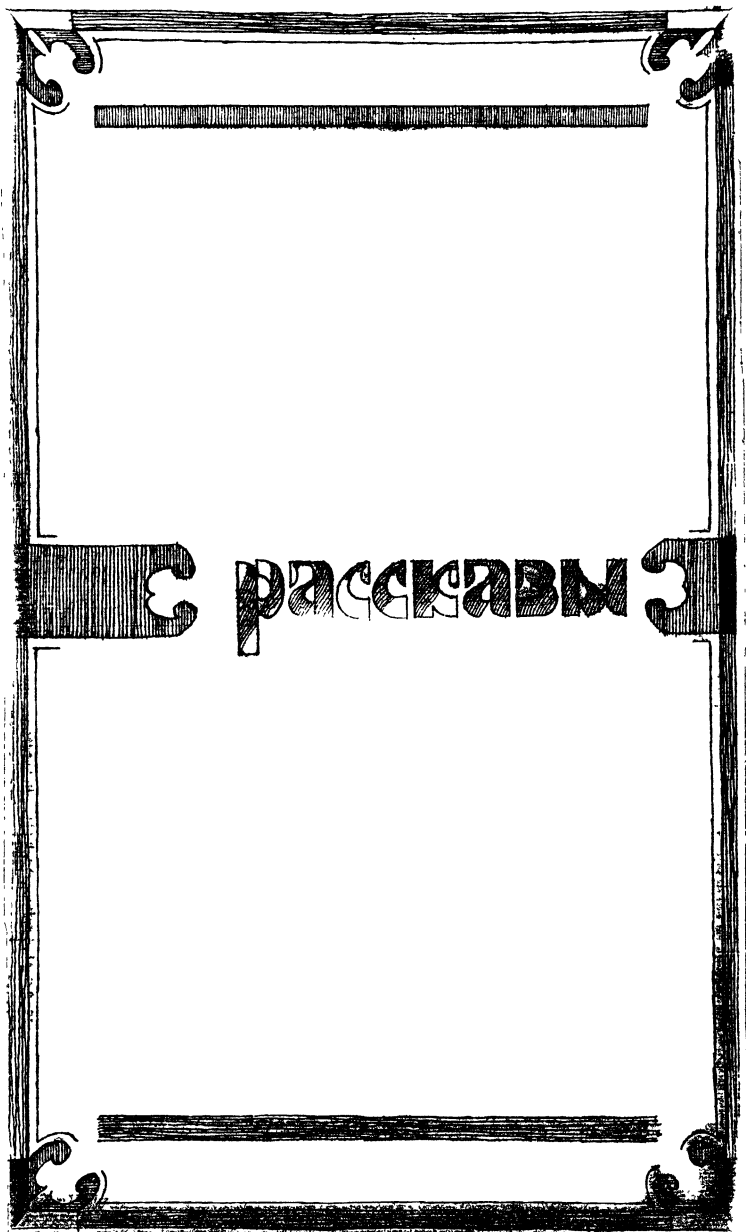
Когда санитары выносили на носилках Карагурова из комнаты, казалось, что он спокойно уснул.

— Что с ним? — поймала за руку доктора Мунира, обливаясь слезами.

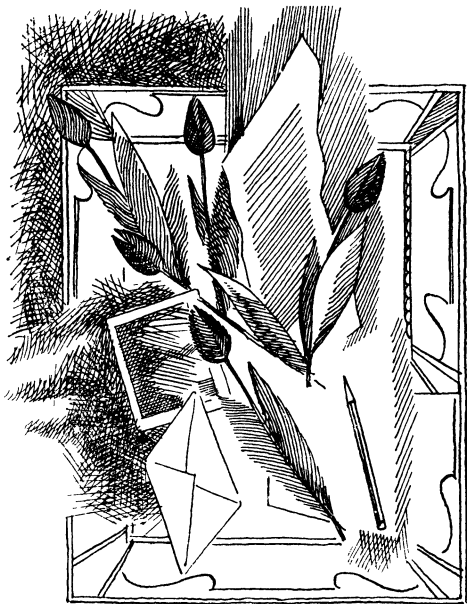
— Пока ничего определенного сказать не могу. Мы сделаем все от нас зависящее...

* * *

...Юбилей Карагурова по случаю его шестидесятилетия не состоялся. Но никто не решился снять расклеенные по городу афиши с его портретом. Только возле театра, напротив гостиницы «Агидель» кто-то аккуратно отклеил одну афишу.



рассказы



ПРОСЕЛОК

Эта проселочная дорога, располосованная колесами телег, арб, кажется, тянется в бесконечную даль. Она переваливает через холмы, перескакивает через глубокие овраги и ущелья, пересекает речки, то круто поворачивает вправо, то неожиданно уклоняется влево, а порой скрывается в пойменных лугах, где в высоких травах может легко затеряться конь... Дорогу эту хорошо знает Ягуда, он сотни раз проехал по ней. Ездил по ней и в морозные зимние дни с их непроглядными бурапами, и в летнюю пору, когда солнце с приветливой улыбкой поднимается все выше к зениту, и в осенние темные ночи, когда не видно протянутой руки... только слышно нудное чмоканье копыт по липкой грязи. Теперь Ягуда мог бы с закрытыми глазами сказать, на каком месте и как подпрыгивают колеса, где он сейчас находится. Короче говоря, дорога эта сродни его собственному жизненному пути...

Ягуда родился в горном крае, где склоны гор поросли непроходимыми лесами. Он здесь прожил всю

жизнь, здесь ему, видно, предстоит увидеть в последний раз и небо и солнце...

Высокие скалистые горы, окружающие его деревню с четырех сторон, придают его жизни целостность, согревают его душу теплом, и видит он в этих горных кряжах уют и гармонию. И когда случается Ягуде отправляться по делам в дальние поездки и он вырывается из тесной горной дороги в степные просторы, ему вдруг становится тревожно, он чувствует себя неуверенно, будто в этой однообразной равнине его подстерегает неведомая опасность. И Ягуде кажется, что он очутился в избе без стен и крыши, разрушенной пронесшимся ураганом. И он чувствует себя одиноко и беспомощно. Но стоит ему вернуться в свои горы, как Ягуда снова обретает покой, уверенность, точно оказывается в надежном укрытии. Он знает, что здесь его не коснутся бури и ветры, а если и коснутся, то они свои, близкие сердцу.

Почти тридцать лет Ягуда развозит почту по зимкам и аулам, в самые отдаленные места. Необходимость в любое время года вставать в самую ненастную погоду с первыми петухами и запрягать лошадь вошла в его кровь, стала привычкой. Ни ветер, ни дождь, ни буран не могут быть помехой для его работы. Как вручил ему отец вожжи, когда было ему лет пятнадцать, так с тех пор он и не выпускает их из рук.

— Постарел я, сынок, передаю тебе свое ремесло,— сказал отец.— Только знай, почту возить — дело не простое и легкое. С душой к нему относись! Даже не ахти какая радостная весть, доставленная вовремя, продлевает человеку жизнь...

Прошло много лет, а Ягуда помнит напутствие отца, которому пришлось возить почту и в тяжкие военные годы. Ведь их маленькую деревушку, затерявшуюся в этом медвежьем краю, война тоже не обошла стороной.

Вот с тех пор Ягуда и не выпускает вожжи, полученные из рук отца.

Со временем его родные места стали заповедными. Жизнь улучшалась на глазах. В горах выросли новые поселки, развернулись шумные стройки. И как ни странно, а маленьких хуторов, займок, затерянных по лесам и ущельям, как забытый людьми и

богом аул Ягуды, где он родился, не убавилось. Напротив, люди обновляли свои дома из звонких сосновых бревен, строили их более просторными, красивыми... Ягуда подметил, что народ стал жить богаче, многие не довольствовались транзисторными приемниками, а еще и выписывали газеты, журналы... Да и всяких почтовых отправок, вроде посылок и бандеролей, больше стало. По всему было видно, что народ и не намеревался покидать свои глухие бездорожные поселения. Люди старались жить в ногу со временем. Таких аулов, заимок и хуторов, которые обслуживает почтальон, наберется теперь с десяток. Расстояния между ними не близкие — по десять — пятнадцать километров.

Родной аул Ягуды считался в округе самым крупным и имел почтовое отделение, что придавало ему солидность. Имел он и определенные льготы. Аул Ягуды носил странное название, и веяло от него чем-то древним — Кыркейлэ¹. Возможно, этим названием подчеркивалась масштабность аула по сравнению с ближайшим хутором или заимкой. Об этом сейчас никто точно сказать не может.

В таких селениях, как Кыркейлэ, народ живет деловой: егери, бортники, заготовители лекарственных трав и ягод, сборщики смолы... Некоторые из этих профессий горожанину кажутся экзотическими. И не перечислишь, какие здесь вершатся большие и малые дела, нужные государству. И самое любопытное во всем этом то, что отвозить заготовленную ягоду, смолу, мед часто поручают безотказному, тихому Ягуде. Первое время его робко просили, дескать, подбрось по пути, все равно же едешь почти порожняком — с десятков писем, столько же посылок, но со временем привыкли и как бы вменили эти перевозки ему в обязанность. И если иной раз по какой-нибудь причине Ягуда забудет прихватить груз, то люди обижаются по-настоящему, «дают» на его сознательность, упрекают в отсутствии у него общественного духа. Вообще-то, почтальону выполнять поручения, просьбы не в тягость, почему бы не сделать то, что тебе под силу, от этого руки не отвалятся. Потому, наверное, три года тому назад его наградили меда-

¹ Кыркейлэ — (кырк+ейлэ) — имеющая сорок домов.

лью. Вызвали в поселок — и при всем народе сам председатель поселкового Совета торжественно вручил награду, пожал руку.

Ягуда был несказанно обрадован наградой. Пока ехал от поселка до Кыркейлэ, а это почти тридцать семь километров, — на глазах у него блеснули слезы. И во всей этой памятной истории была одна печаль — не довелось его верной Муслиме разделить с ним такую великую радость...

А пришла беда в дом Ягуды незадолго до награды. Вернулся Ягуда в тот день из своей очередной поездки в хорошем настроении, хотя и усталый. Выполнил все поручения местного начальства. Супруга его Муслима подоила корову, накормила ребятишек и забралась в кровать, жалуясь на слабость. Лицо приобрело землистый цвет, губы посинели. Никогда раньше веселая, говорливая Муслима не жаловалась на самочувствие. Не было в хозяйстве дела, которое не умела бы делать эта небольшая трудолюбивая женщина. И сено косила, и с конем управлялась, и дом содержала в порядке и обилии, и еще родила трех славных сынков. И успел Ягуда прожить с Муслимой всего четырнадцать лет.

В тот роковой вечер он, управившись с делами по хозяйству, натопил баню, задал скоту корм и только после этого пришел к Муслиме.

— Ягуда, — тихо промолвила жена и опустила глаза. — Не считаешь ли меня бесстыдницей, если скажу тебе что-то? — На опавших щеках выступил едва заметный румянец.

— Говори, родная, что тебе заблагорассудится! — шутливо сказал муж и подсел к ней на кровать. И тут Ягуда обратил внимание на то, что жена неестественно бледна. «Устала», — решил он. — Говори же, говори, — улыбнулся муж.

— Ягуда... Обними меня... — прошептали губы Муслимы.

Ягуде стало забавно от этих слов, которые она никогда раньше не произносила. Дети еще не вернулись с улицы, и он, расчувствовавшись, прижал свою Муслиму к груди. И почему он не поцеловал ее тогда? Теперь вот сильно раскаивается. Видите ли, ему подумалось, сидеть целоваться при свете дня просто неловко. Род у них такой суровый, что ли?

Он еще не выпустил жену из своих объятий, как увидел в ее глазах отсвет заката. Пораженный Ягуда едва не вскрикнул и осторожно положил ее на подушку. Увидев на губах жены страдальческую улыбку, Ягуда начал тормошить ее:

— Муслима, Муслима! Что с тобой?

— Хорошо, что ты рядом...— произнесла она с трудом.— Береги детей...

— Ты что? Ты что?— рыдал Ягуда и совсем не слышал, что вошли дети и испуганно стояли у порога.

Последние багровые лучи заходящего солнца, за долгий летний день срезавшие вершину горы, проникли в окно и потухли над полузакрытыми глазами Муслимы...

Потом в больнице выяснили, что у Муслимы был врожденный порок сердца, вот он и явился причиной ее ухода из жизни.

Ровно три года прошло с того дня. После смерти жены Ягуда вовсе замкнулся в себе. О женитьбе не помышлял, и только эта проселочная дорога, по утрам и вечерам бежавшая назад из-под колес, в какой-то степени отвлекала от печальных мыслей, умиротворяла душу.

Сегодня Ягуда готовился к поездке особенно тщательно. Проверил обода колес, вытащил новый хомут со шлеей, до этого висевший на крюке под навесом, отыскал там же кнут с кисточкой. Поскреб бока у Гнедухи, расчесал ей гриву.

Старший сын Вазих, характером и ликом удавшийся в мать, помог отцу запрячь лошадь и заметил:

— Папа, ты выглядишь сегодня словно жених!

Ягуда не нашелся что ответить, постоял в задумчивости и сказал:

— Дорога ведь дальняя, сынок...

Не по себе стало Ягуде от вопроса сына. Он даже заколебался: не отложить ли эту поездку вообще? Но в конце концов решил ехать, вспомнив, что обещал Сафаргалею — начальнику узла связи в поселке. Сафаргалею его прямой начальник и, наверное, ждет его, отложив свои дела.

Сафаргалею человек шепутной, настырный и пристаёт к нему при каждой встрече:

— Ягуда, сколько ты еще будешь маяться в хо-

лостых? Когда ты женишься, наконец? Не забывай за детьми нужен женский глаз!

Об этом ему не раз и соседи намекали, называли имена овдовевших женщин. Но всякий раз Ягуда однозначно отвечал:

— Подожду!

Но Сафаргалей оказался настойчивым, не зря, видно, начальником работает. На прошлой встрече даже сказал:

— Клянусь, Ягуда, не удержишься от соращения, если долго будешь так ходить, по себе знаю!

— Типун тебе на язык! — буркнул вдовец и грустно улыбнулся. Кто-кто, но разве мыслимо, чтобы Ягуда совратился? Смешно! На шее, словно хомут, три сына. Потом, и женщин нет подходящих ни в деревне, ни в окрестных хуторах. Не то что совращать, взять-то некого. Все замужем. Одинокие давно разъехались в поисках своей доли. Конечно, есть молодые женщины, незамужние, но с каким сердцем Ягуда, мужчина сорока пяти лет, сделает предложение молодой бездетной женщине, имея на руках трех пацанов.

Сафаргалей давно знает Ягуду, потому, видно, принимает участие в его жизни. Близко к сердцу принял его горе. Он не раз бывал у него дома, знал покойную, детей. А совсем недавно явился дождливым вечером с какой-то молодой женщиной.

— Ягуда, пришли прощупать струны твоей души,— заявил Сафаргалей с порога, пропуская вперед разряженную под городскую полную женщину.— Ты думаешь налаживать личную жизнь или нет? Вот Миннибикэ...

Не успел Сафаргалей договорить, как у Ягуды дрогнуло сердце, увидев расфуфыренную и жеманно держащуюся гостью. «Неужто пришел сватать ее за меня?» — мелькнула мысль у Ягуды, и он с опаской посмотрел в комнату, где спали дети. «Только бы они не поднялись», — тревожно подумал Ягуда.

Хозяин помог гостям раздеться, пригласил к столу. Пока зачерпывал медовуху из бочки на печи, успел заметить оттуда, что Сафаргалей бесцеремонно обнимает свою спутницу за талию и поглаживает ее по мясистой ягодице. «Ах вот оно что! — в сердцах ругнулся он.— Что же это, у меня, выходит, тут ме-

сто встреч?» — но тут же успокоился — слава аллаху, не его сватают! Собрав терпение, стал ждать, когда гости заговорят.

Когда уселись за стол и пропустили по два стакана медовухи, Ягуда задал вопрос гостю:

— Какие ветры занесли, кордаш?

— Как тебе сказать...

Миннибикэ и Сафаргалея переглянулись. Потом оба заискивающе заулыбались, а гостя даже опустила накрашенные веки. «И как она глаза не засорит?» — подумал Ягуда.

Вместо Сафаргалея ответила его спутница:

— Смотрю, что-то сиротливо у вас... — Она обвела избу любопытными глазами. — По всему видно, что тут давно не прикасалась женская рука...

— От судьбы не уйдешь... — грустно ответил хозяин и задернул занавеску в другую комнату.

— Ты не вали все на судьбу, — начальственным тоном вмешался Сафаргалея и поднялся с места, заходил взад-вперед по комнате. Потом подошел к окну и, отдернув краешек занавески, посмотрел на ночную улицу и покачал головой: — Ай-яй, будто дно прохудилось у неба, льет и льет. Как нам ехать домой в такую ночь? — и, вперив глаза в Ягуду, он закурил папироску.

— Куда вы торопитесь? Завтра поедете... — уступил Ягуда своему начальнику и сделал вид, что поверил, — их к нему загнал дождь.

Деревенский мужик сам не знает, какая гибкость ума, хитрость таится в его душе. Мог ли кто-нибудь из деревенских поверить, что у их почтальона, честнейшего Ягуды, могла оказаться такая прозорливость. Идти против воли начальника — это все равно что плевать против ветра.

Как бы прочитав его мысли, Миннибикэ со значением сказала о себе:

— Я работаю в поселковой аптеке. В последнее время сократился сбор лекарственных трав. Вот и упросила Сафаргалея, благо у него есть мотоцикл, прогуляться, людей поагитировать... Не повезло только, под дождь угодили...

— Оно так... — Ягуда наполнил медовухой стаканы. — Айда, Сафаргалея, что ты поднялся?

Тот вдруг рассмеялся и, бросив через открытое

окно окурок на улицу, сел к столу, пододвинув табуретку ближе к своей спутнице.

— Э-э, я ведь сказал, все не надо валить на судьбу. Нельзя же, в самом деле, бирюком жить в твои годы. Нам, Ягуда, пора взять вожжи судьбы в свои руки, вот что я тебе скажу! — гость говорил как с трибуны — сек воздух волосатой рукой, блестя глазами.

В ответ звонко рассмеялась Миннибикэ и подначила Сафаргалея:

— Можно подумать, что ты как раз из таких, кто берет вожжи в свои руки! — молодая женщина подмигнула хозяину, дескать, все это сказано только между нами. Ягуда вынужден был поддержать ее смех.

— Ну ладно, — заерзал Сафаргалей, недовольный тем, что разговор перешел на него. — Ягуда, Миннибикэ что-то хочет тебе сказать.

— Уж скажи сам, — отмахнулась женщина.

Сафаргалей продолжал:

— В аптеке с Миннибикэ работает одна очень симпатичная женщина. Теперь одинока... — многозначительно взглянул на подчиненного начальник узла связи.

Ягуда покраснел, не мог найти места своим рукам, которые до этого лежали спокойно.

— Сватать тебе плохого человека мы не станем. Она прекрасная женщина, лицом пригожа. Детей не имеет. В другое время я сам, вот ей-богу, не упустил бы случая...

Но его тут же перебила Миннибикэ:

— Ладно, ладно, себя-то не ввертывай! Ишь, пехух сыскался!

— Все, все, я шучу...

— Знаю я тебя...

— Погоди, Миннибикэ, дай досказать! А то сразу в бутылку полезла... Ну вот я и говорю, может, подкатишься к ней? Не пожалеешь. Работящая, выдержанная. Зовут ее Кёнхылу...

Миннибикэ добавила:

— Уже сколько лет вместе работаем! Я-то уж знаю ее...

Ягуде стало неловко. Перед глазами встала его Муслима. Ему даже показалось, что в избе душно.

Он встал и шире распахнул выходящее на улицу окно. Гости замолкли.

В это время, то ли услышав разговор, то ли просто случайно проснулся, в дверях показался старший сын Вазих. Ягуда подошел к нему, погладил его по голове и увел за перегородку.

— Иди, сынок, спи... Завтра много дел...

Во дворе загавкала собака. Ягуда извинился перед гостями и, воспользовавшись удобным моментом, удалился, заторопился во двор. Он не мог больше слушать разговор о женитьбе, к горлу подкатил удушливый ком...

Ягуда постоял в сенях, слушая монотонный голос дождя, подождав собаку, потрепал ее за обвислым ухом.

Вернулся Ягуда в избу, когда совсем успокоился. Казалось, он уже свыкся со своей судьбой. Ему еще куда ни шло, он вытерпит одиночество, но дети почему должны сиротствовать, быть без материнской ласки?

Сев за стол, хозяин одним духом выпил стакан медовухи и принялся потчевать гостей, пригорюнился:

— Ну-ка, гости, пейте-закусывайте чем бог послал...— И добавил досадливо: — Кабы знал, что придете, приготовил бы что-нибудь.

Только тут гости облегченно вздохнули:

— Ладно, ладно, кордаш, у тебя тут и так полный стол...

— Не беспокойся, все хорошо,— бодренько поддержала женщина.

Когда подошло время ложиться спать, Ягуда постелил женщине в горнице. Но Сафаргалея шепнул на ухо:

— Не беспокойся, все хорошо. Говорю же, не утруждай себя, дай паласик какой-нибудь и одеяльце — мы пойдем на сеновал, на свежий воздух.— Видя, что Ягуда нахмурился и молчит, добавил: — Дело мужское, кордаш... Наша жизнь, что звезда падающая...

— Смотри, дело твое,— пожал плечами Ягуда и остановил Сафаргалея, когда тот уже уходил с постельным бельем: — Кордаш, а она... ваша Кёнхылу.. Тоже такая? С бухты-баряхты... Не повидав ее...

— Да ты не волнуйся! Женщина что надо! — по-

казал большой палец гость.— Встречу мы запросто организуем.— Сафаргалей понизил голос: — Заодно ко мне заглянешь, подтвердишь перед женой, что я у тебя ночевал. А то она у меня на этот счет лютая...

Недели две спустя Сафаргалей встретил Ягуду в поселке, как начальник, порасспросил о делах, снисходительно похлопал по узким плечам подчиненного и велел ему приехать следующий раз поприличней одетым.

— Накажи соседям, чтобы за домом приглядывали, за детьми,— поучал Сафаргалей.— Переночуешь здесь,— последние слова он произнес со значением и заговорщицки подмигнул.— Куй железо, пока горячо, как говорят в таких случаях русские.

— Да ты что, кордаш? — испугался предложения начальника Ягуда.

— Тебе десять лет, да? — напирал Сафаргалей.— Тебя что, учить надо?

— Что я скажу сыну, если он спросит, почему я не буду ночевать дома?

— И как ты столько времени работаешь почтальоном? — развел руками Сафаргалей.

— Ладно, приеду...— пообещал Ягуда, не зная, куда спрятать от стыда глаза.

И вот сегодня Ягуда запряг лошадь новой сбруей, положил на телегу полмешка овса и поехал «ковать железо, пока горячо».

Можно уверенно сказать, что почтальон за тридцать лет езды породнился с этой проселочной дорогой. Ягуда разговаривает, советуется с ней. Дорога, она будто живое существо, сопровождающее его на протяжении многих верст. К слову сказать, Ягуда в самом деле не чувствует себя одиноким в дороге. За ним, не отставая ни на шаг, бежит лохматый, вислоухий рыжий пес величиной с теленка. Народ, дивясь его верности своему хозяину, прозвал его Хвостом. А псу все равно, как его зовут. Стоит хозяину позвать его:

— Хвост, Хвост, ко мне! — как пес обрадованно подбегает и начинает ластиться к нему. Ласковый голос хозяина, его разговор с Хвостом понимает и Гнедуха. Она грустит и прислушивается, прядая ушами.

В том месте, где узкая дорога, извиваясь змеей, неожиданно вклинивается между двух огромных

скал, Ягуда всегда придерживает лошадку. Гнедуха настолько тоже изучила дорогу, что ей излишне что-либо подсказывать. Не дожидаясь, когда хозяин потянет вожжи, она поворачивает всегда туда, куда надо. Вот и сейчас Гнедуха замедлила шаг и остановилась перед скалами, которые, казалось, вот-вот рухнут.

Перед въездом в ущелье — небольшая поляна поразительной красоты. По одну сторону от нее островком зеленеет березовый колок. Кругом высятся безмолвные горы, и по утрам с них сползает туман, обволакивая окрестность сизой мглой. Величавость гор постепенно переходит и в душу человека.

Ягуда распрягает лошадь на лужайке у скал. Дорога дальняя, и без привала нельзя. Здесь сочная, густая трава. А сама поляна напоминает огромный ковер, вытканый из благоухающих цветов. Верный спутник почтальона непоседливый Хвост чувствует тут себя вольготно, радостно гавкнет пару раз, будто приветствуя мрачные скалы, он то катается по шелковой траве, то несется, очертя голову... Всегда мрачный Ягуда тоже преображается, очутившись на этой лужайке. Светлеет лицом, а небольшие глаза становятся грустными, и вся его жилистая, всегда собранная фигура излучает одухотворенность. И как ни странно, а на этой поляне его всегда охватывает волнение. Впрочем, полянка эта имеет и свою предысторию.

Сейчас Ягуда, как всегда, неторопливо распряг лошадь. Стянул чересседельником поднятые вверх оглобли и пустил Гнедуху, послушно стоявшую и кивавшую костистой головой, пасти. Лошадка раза три ударила себя по животу задними ногами, отгоняя кровожадных слепней, хлестнула по бокам, крупу хвостом и трусцой отбежала в сторону. Перед ее мордой несколько раз гавкнул пес, точно приглашал на игру. И только потом Ягуда снял новый костюм и облачился в свою обычную одежду. «Успею переодеться по приезду, коль в этом будет нужда...» — решил он. И неторопливо двинулся к Светлому ключу. Интересно, сколько раз в своей жизни он утолял жажду из этого звенящего по камушкам родника? Разве сочтешь!

Вода родника до того холодна, что ломит зубы. В

его прозрачной и кристально чистой воде отражаются небо, солнце, травки, голубые стрекозы. И от этого родничок кажется ярко раскрашенным детской рукой. А облики солнца похожи на россыпь драгоценных камней.

Народ не случайно назвал родник Светлым ключом. Основание скалы, откуда крупными слезинками капает ключ, словно выложено белоснежным мрамором — до того оно чистое и ослепительно белое. И кажется, что эта огромная скальная глыба покоится не на белом камне, омываемым родничком, а висит над землей. Приглядевшись, можно заметить, особенно в жаркие дни, как по крутым бокам скалы слезинками стекает влага и у основания образуется звонкий родничок, придающий свет и радость всей округе.

Недалеко от родника — в низине прижились кудрявые ивы, перевитые стеблями ежевики и хмеля. Тут же высятся гибкие кусты черемухи и калины, разнообразя и дополняя неповторимую красоту.

Четырнадцать лет тому назад в пору цветения черемухи Ягуда прибыл сюда рано утром, когда еще туман покрывал сизым одеялом все вокруг. По обыкновению, он распряг лошадь и подошел к Светлому ключу попить воды. Угнездившиеся в тальнике соловьи заливались так, что их переливчатые мелодии проникали в самое сердце и заставляли млеть душу. Казалось почтальону, стоит ему поднять, подобно сказочному богатырю, всей купой этот тальник и встряхнуть его, как со звоном посыплется оттуда поющие осколки бриллиантов. Зачарованный парень оторвал лицо от прохладной воды, вытер губы и обернулся. Ягуда не поверил своим глазам: у Светлого ключа стояла... девушка в белоснежном сатиновом платье. На фоне закуржавевшихся цветов черемухи ее трудно было различить. Черные длинные косы у нее перекинута на грудь, на голове венок из цветов ромашек, тычинки напоминали золотые бляшки, глаза, как агат, черные, и казалось, в них таится какая-то неземная тайна, а смуглое лицо девушки излучало сияние, а стройный стан и гордый вид выдавали в девушке целомудрие и нежность.

Ягуда заметил, что, увидев его, девушка испугалась. Но постепенно ее замешательство сменилось любопытством, лицо прояснилось.

— Меня зовут Ягуда...— произнес парень, чтобы не испугать незнакомую девушку. Та звонко рассмеялась.

— А я знаю...

Парень осмелел и подошел поближе к ней.

— Откуда ты знаешь?

— Бабушка говорила. Я уж не раз видела, как ты здесь проезжал.

Почтальон больше любовался девушкой, чем говорил. Он не заметил, как со стороны лужайки появилась старушка.

— Здравствуйте, бабушка...— поздоровался негромко парень.

— А-а, Ягуда, здравствуй, дитя мое! — Она несла целую охапку дикого лука, щавеля и пучки других всевозможных трав. Старушка подозвала парня.— На, полакомься. Теперешние не знают, где растет дикий лук. Я вот набрала кое-каких трав, хочу научить Муслиму распознавать лечебные травы... Вы, молодые, все на микстуру да пилюли надеетесь... А забываете то, что в травах сила земная... Если уж хлебушко выращивает земля, то ей под силу дарить людям и полезные травы.

Муслима опустилась на землю рядом с бабушкой, складно подогнув ноги, одернула платье.

— Дорога, поди, утомляет каждый день-то, дитя мое? — спросила старуха, обращаясь к парню, как к давнему знакомому. Ее заскорузлые, с обломленными ногтями пальцы ловко перебирали травы. Когда-то чуткие пальцы на миг замирали, старушка нюхала траву и отбрасывала ее в сторону:

— И-и-и, совсем глаза никудышные стали!

— По-всякому бывает,— уклончиво ответил Ягуда и, решившись, спросил: — А меня вы откуда знаете?

— И-и, в здешних местах, где редко ступает нога человека, почтальон самый известный человек, дитя мое. Я и отца твоего хорошо помню. Раньше, бывало, и к нам в деревню он заезжал.— После этих слов старуха порывисто махнула рукой в сторону гор.— Деревня-то наша во-о-он она. И матушку твою знаю с девичьих лет. Дружбу с ней водили. Вот и моя жизнь к концу близится... Ровесников моих никого не

осталось вокруг... Ой, худо одной... Вам это не понять...

Муслима звонко рассмеялась. В ее глазах запрыгали озорные искорки. Зубы заблестели жемчужинками, смоченными росой...

— Будет тебе, бабушка, не мучай человека своими рассказами. Ты у нас еще поживешь! Ты у нас — молодец!

— Мед в твои уста, внученька!

Девушка взяла из кармана фартука бабушки почти игрушечную эмалированную кружку и пошла к роднику.

— Козочка моя! — любясь внучкой, сказала вслед старуха. — Уж душа у нее ангельская!

— Агай, хотите пить? А то все в сторону родника поглядываете. Я сейчас принесу...

Ягуда растерялся и отвернулся.

Старушка поддержала ее:

— Конечно, неси. Солнце-то палит как! — взглянув на парня, обдала его теплым добрым взглядом. — Просьбу девушки уважить следует...

Когда девушка принесла воды, парень выпил ее залпом и не почувствовал обжигающего горло холода. Осмелев, вдруг спросил:

— Инэй¹, отдашь мне Муслиму в жены?

От неожиданности девушка присела на траву, черные глаза устремила на Ягуду — насмехается или правду говорит?

Лицо же старушки несколько не изменилось, точно почтальон попросил у нее пучок трав. Она аккуратно завернула травы в платок, пригладила редкие седые волосы и только тогда молвила:

— А что, и отдам... Она достойна самого лучшего парня...

Щеки Муслимы запылали огнем, пальцы стали щипать траву.

— Да ну тебя, бабушка... — отмахнулась девушка, встала и обидчиво отошла в сторону. Старуха хихикнула.

— Ах, дитя, за твоего дедушку я вышла, не повидав его ни разу. Ягуда-то... сын известного человека...

¹ И н э й — вежливое обращение к пожилым женщинам, буквально — мама.

Решив разрядить обстановку, Ягуда стал собираться и шутя заметил девушке:

— Помни, что бабушка сказала! Завтра остановлюсь в это же самое время...

— Это совсем не обязательно...— Муслима улыбнулась искренне.

Уже отъехав, почтальон услышал печальный мотив:

Яблоко делится на пять частей для друзей,
И смерть красна, когда отдаешь жизнь за друга...¹

Песню эту Ягуда и до этого слышал много раз. Но она никогда так не трогала душу. В этот раз, видно, что-то случилось с парнем. Мотив и слова песни угодили на благодатную почву — чувствительное его сердце.

На другой день впервые за годы работы, парень не поехал за почтой. Он верхом примчался к Светлому ключу... Глядит, Муслима сидит на том же месте и плетет венок из ромашек. Один венок уже нимбом сиял на ее голове, для кого же второй?

Услышав цокот копыт, девушка подняла голову и, увидев парня, не скрыла своей радости.

— Это мне? — шутливо спросил Ягуда, подъехав к девушке. Затем лихо соскочил с коня, ударил ладонью его по крупу.

Девушка встала, улыбнулась и надела венок на голову оторопевшего парня. Отошла чуть назад и стала любоваться делом своих рук.

— Я думала, ты не придешь...— просто сказала девушка.

— А я боялся, что ты не придешь....

— Правда боялся?—девушка сделала шаг к Ягуде и тут же остановилась.

— Правда....

Они некоторое время смотрели друг на друга. Лица их были вдохновенны и счастливы.

— Пойдем, я напою тебя водой из Светлого ключа.— Муслима побежала к роднику, за ней широкими шагами спешил Ягуда. Когда парень подошел к роднику, Муслима зачерпнула воду пригоршней и смущенно сказала:

— На... Попей...

¹ Слова народной песни.

Ягуда до сих пор помнит это божественное мгновение, будто все это случилось совсем недавно. Стоит ему закрыть глаза, как он зримо видит сквозь воду прожилки на ладони Муслимы, чувствует запах ее рук, которые почему-то слегка дрожали...

Потом Ягуда посадил девушку на коня, и они направились к родителям Муслимы. По дороге он попросил ее спеть вчерашнюю песню. Счастливо улыбающаяся девушка немного смутилась и печально запела:

Яблоко делится на пять частей для друзей,
И смерть красна, когда отдаешь жизнь за друга....

Потом добавила:

— У бабушки научилась...

Так они и поженились. В их любви, на первый взгляд, нет ничего исключительного. Но этот Светлый ключ, первая встреча с Муслимой у родника и эта песня, до сих пор звучащая в его ушах, остались самыми дорогими воспоминаниями... Эти чувства до сих пор согревают его душу и в тяжелые минуты придают ему силы.

Вот почему Светлый ключ всегда волнует сердце Ягуды и он как бы видит в нем отражение Муслимы, слышит залиvistое пение соловьев и уходит, точно поговорив с женой...

Сейчас еще раз пережив эти чувства, Ягуда запряг неторопливо Гнедуху, окликнул пса, убежавшего в тальник, и продолжил свой путь...

Поселок, расположенный за пределами заповедника, давно уже стал для Ягуды своим, и он знает в лицо почти каждого жителя. Только он одно не принимает сердцем, почему поселок построили на открытом поле и жители не удосужатся разбить перед домом клумбы, посадить деревья... Поэтому, покончив с делами, он торопится скорее домой — к своим горам, в свой тихий зеленый уголок. А вот сегодня он должен решить здесь свою дальнейшую судьбу...

Начальник почты Сафаргалей встретил Ягуду с распростертыми объятиями, чего раньше никогда не позволял себе.

— Маладис, вовремя подоспел, — сказал он по-русски, что должно было означать высшее его расположение. — Иди, переоденься покуда. Лошадку рас-

пряги в моем дворе... А я сейчас...—и он принялся звонить куда-то по телефону. Поговорил с кем-то. Потом открыл во двор окно и крикнул:—Постой, Ягуда, не уезжай пока, вместе поедем. Знаешь что? М-м...—И, позвав, тихо сказал:—Надо решить вопрос насчет выпивки, чтобы не ударить лицом в грязь... Об остальном они сами побеспокоятся...

— Кто «они»?

— Вот еще, да уж они—Миннибикэ и Кёнхылу. Прямо к ней и поедем.

— А удобно ли?—уж в какой раз засомневался Ягуда.

— Да перестань ты ломаться!—одернул Сафаргалей.

В назначенный час почтальон и его начальник подъехали к воротам Кёнхылу.

Сафаргалей то и дело придирчиво оглядывал костюм Ягуды. Когда уже собрались было войти в избу, он снова остановил Ягуду:

— Ты это... причешишься-ка. Не забывай, что женихом являешься. Да галстук не мешало бы...

Ягуда так сильно волновался, что с трудом нашел в кармане расческу. Не бывало такого, чтобы он переступил порог чужой женщины. Его обуял страх.

Но все вышло проще, чем он предполагал. Вдруг отворилась дверь, и женщина, не слишком впечатляющая своей красотой и молодостью, но вполне миловидная, смугленькая, с продолговатым лицом, скромно одетая, приветливо пригласила их в избу:

— Проходите, милости просим, дома поздравляемся!

Кёнхылу почти и не взглянула на Ягуду. Поздоровалась за руку и побежала за перегородку. Сафаргалей подмигнул:

— Ну как?

Ягуда испытывал неловкость: ладони вспотели, бордовая нейлоновая рубашка прилипла к спине. Ведь он не скотину выбирает на базаре. Поэтому пожал плечами. Вообще-то, Ягуде понравилось, что Кёнхылу держится просто.

— Ну ничаво,—снова вставил русские слова начальник почты.—Вот пропустим рюмку-другую, там присмотришься получше,—хохотнул Сафаргалей, потирая руки. Между тем он успевал шлепать по кру-

тым бокам Миннибикэ, которая шустро сновала между кухней и комнатой, он старался ухватить ее то за руку, то за талию.— Баба что надо! Не горюй! Поди, принеси свой гостинец.

Ягуда вышел во двор, достал из-под сена на телеге спортивную сумку и, как вареный рак, весь красный, вернулся в избу, сел молча на свое место.

Смущенного гостя выручила Кёнхылу:

— Ты что стесняешься, ну-ка дай, в холодную воду поставлю,— сказала она и осеклась, увидев, что в сумке много бутылок.— Помереть же можно, если их все выпить! Неужто так помногу пьешь?

Ягуда еще больше стушевался. Тут подошел Сафаргале́й и взял хозяйку под руку:

— Ягуда вообще не дружит с этой штукой... Сегодня же случай такой, праздник, можно сказать. Гульнем, а, Кёнхылу?

По лицу хозяйки трудно было судить, как она отнеслась к такому предложению. Однако она послушно приняла бутылки и проследовала за перегородку.

— Видал, слово мужика для нее закон. Это главное в жизни! — поучал Сафаргале́й.

На этот раз Ягуда кивнул, соглашаясь с ним.

Вскоре накрыли стол. Кёнхылу и Ягуда сели по одну сторону стола, а Сафаргале́й и Миннибикэ по другую. Только с той разницей, что начальник почты сразу обнял за талию свою зазнобу.

— Начнем! — выпалил сразу Сафаргале́й, наполняя рюмки.— За знакомство...— Посреди стола стояла миска с горячим мясом и картошкой. «Значит, ждали»,— решил Ягуда.

— Ну, что ж, начнем,— присоединилась хозяйка к предложению, и все четверо опорожнили свои рюмки. В голову Ягуды, человека непьющего, тотчас ударила горячая волна. Он даже пожалел, что выпил, но, сообразив, что в сегодняшней ситуации не обойтись без этого, успокоился.

— Ешьте, хорошенько закусывайте! — потчевала Кёнхылу несколько приподнятым тоном, каким потчуют гостей на обычной пирушке. Она с вёрхом положила в тарелку Ягуды всяких закусок и просила, чтобы он больше ел мяса. Заметив это, Сафаргале́й хихикнул:

— О! Хозяйка знает, чем потчевать гостя! Ну, ска-

жи хоть слово, чего бирюком сидишь? — приставал повеселевший начальник почты.

Ягуда ел молча, насупившись. Зато Сафаргалей и Миннибикэ беспрестанно болтали и, шепча что-то друг другу, смеялись от души. Казалось, что в доме они одни.

Изрядно захмелев, Сафаргалей возвестил:

— Вот, Кёнхылу, это и есть Ягуда, про которого мы тебе говорили...

— Догадалась... Глаза у меня есть, вижу,— сердито отозвалась хозяйка и в то же время пытливо и заинтересованно глядела на Ягуду.— Но гость наш что-то стеснительный и не разговаривает совсем...

— А ты задабривай его! — хохотнула Миннибикэ.

Сообразив, что настал его час, Ягуда обрел дар речи:

— Что же я скажу... Жена померла три года тому назад. Имею дом, хозяйство, живность. Трое паванов у меня...— Он потупился, чувствовал себя не в своей тарелке. В груди, обжигая, зачастило сердце. Кёнхылу, кажется, поняла его состояние.

— Ладно, на то и жизнь, разное приходится терпеть,— хозяйка ласково положила руку на плечо Ягуды. Вдовец почувствовал, как с души сошла тяжесть. Что ни говори, видно, он истомился по женской ласке...

— Мне сказать о себе тоже особенно нечего...— негромко заговорила Кёнхылу. И тут неожиданно постучали в дверь.— Войди, кто там? — предложила хозяйка.

Открылась дверь, и в избу вошла женщина примерно одних лет с Кёнхылу. Гостья была в белом платке, в ярком кримпленовом платье, быстрая в движениях, пригожая лицом. Гости заметили, что хозяйка встретила гостью без особой радости. Но быстрая, решительная женщина, видать, была не из застенчивых. Она не стала ждать приглашения, прошла к столу и села на свободное место по правую сторону, на сторону Ягуды.

— Раз уж села, Разия, угощайся! — предложила сквозь зубы хозяйка бесстрастным голосом.— Она дошная,— кивнула на соседку по столу хозяйка.— Все равно до всего докопается, лучше сама скажу.— И Кёнхылу по-свойски, с улыбкой взглянула на Ягу-

ду. — Замуж выхожу, Разия. Вот Ягуда приехал за мной. У ворот конь стоит, небось видела?

— Видела, стоит. Потому и пришла: думаю, взгляну-ка, кто подкатил к моей подруге, глядя на такой поздний час?

— Правильно сделала...— ответила Кёнхылу, хотя в ее тоне чувствовалась ирония, но Разия не уловила этого.

— Что ж, желаю счастья! — съехидничала соседка. Однако на это никто не обратил внимания. Только жених косо взглянул на нее.

Кёнхылу повернулась к Ягуде, снова положила ему на плечо руку и неназойливо закончила рассказ:

— У меня дочь растет, Ягуда. Пока живет у бабушки. Отец бросил нас, ушел... Хотя я сама сказала, чтоб ушел. Откровенно говоря, блудливый был, по чужим бабам таскался. Зачем мне такой? Пусть себе гуляет, вольному воля.— Тут Кёнхылу многозначительно взглянула на Миннибикэ и Сафаргалея. Начальник почты сжал губы, отодвинулся подальше от своей подруги и принялся разливать вино по рюмкам.

— Правильно сделала, Кёнхылу! — вдруг неожиданно поддержал хозяйку Сафаргалея. — Чем мучиться с таким мужем...

Никто, кроме хозяйки, не заметил, как на нее с укором посмотрела Миннибикэ и приняла мину непорочной женщины.

— Нет, не могу сказать, что мучалась с ним, — возразила Кёнхылу. — Я счастливо прожила с ним одиннадцать лет.

— И все тебе мало? — захмелевшая соседка скривила губы, встала. — Зачем тебе второй раз замуж-то идти?

Кёнхылу поглядела на Разию с усмешкой и ответила:

— Берут же, потому и иду, — отвернулась, зашмыгала носом хозяйка. То ли плакать собралась, то ли смеяться, не поймешь. Ягуда осторожно притронулся к ней. Кёнхылу широко открыла глаза и посмотрела на него как на близкого, верного человека, на которого можно полностью положиться. Молодая хозяйка подкупала Ягуду своей прямоотой и откровенностью. Сафаргалея наступил под столом на ногу Ягу-

де. Тот понял этот жест как приказ действовать решительнее.

Разия подперла голову руками и запела:

Разрослись дубы, посаженные нами,
И жизнь стала привольной...¹

Сафаргалей и Миннибикэ тоже подтянули песню, к ним присоединилась и Кёнхылу. И отрешенно, стуча легонько вилкой по тарелке, один Ягуда сидел молча. Он исподволь наблюдал за женщинами. Разия выглядела помоложе и красивее Кёнхылу. Ее молодили стройность, длинные ноги и выпиравшие, как у девушки, груди. «Сатана, как сумела так одеться?» Тем не менее Кёнхылу была обаятельней, женственней, и вся она излучала теплоту. Лица у певцов озарились, просветлели, и в глазах каждого Ягуда уловил угрызение совести, о которой они, видно, и сами не подозревали.

Когда песня была допета, Разия обняла Кёнхылу, ткнулась лицом в ее грудь и разрыдалась в голос.

— Почему я одна такая несчастная? Почему нет справедливости на этом свете-е-е?! Господи!

Все сидели обескураженные.

— Ну-ну, Разия, успокойся, будет тебе! — уговаривала ее Кёнхылу.

— Давайте лучше пропустим по маленькой, — предложил Сафаргалей, пытаясь вымучить улыбку.

Но Разия и не думала успокаиваться, тем более поддержала начальника почты. Неожиданно сна обернулась к Ягуде:

— Вот ты скажи, чем я хуже Кёнхылу? Она что, позолоченная? Почему счастье валит одним, а другим ничего?

Ягуда от неожиданности растерялся, виновато улыбнулся, встал из-за стола и вышел во двор. За ним последовал Сафаргалей. Ягуде казалось, что он совершил грех, который невозможно снять с души. И то что в избе плакала женщина, он винил себя. Вот не приехал бы «женихаться», все было бы спокойно...

— А ну их, пускай сами разбираются, — сказал Сафаргалей, закуривая. — Нахлестаются и давай реветь, на судьбу обижаться... Ты? Я? То-то же! — пытался философствовать начальник почты. — Судьба,

¹ Строки популярной песни.

я так разумею, что вожжи, каждый держит их в своих руках. Вот я — человек на виду! Каждая собака в округе знает, однако у меня есть зазнаба! Может, и не первого класса, но судьбе отрада... Говорят, судьба! Судьба! Да она у меня вот где! — И Сафаргалея поднес к носу своего почтальона волосатый кулак.

Ягуда промолчал, посмотрел на небо. Там мерцало бесчисленное количество звезд. Они словно подмигивали ему, зовя куда-то. Кто-то уже ввел его коня во двор, послышался его храп. «Кёнхылу!» — догадался он. Из-под телеги выполз Хвост и заискивающе стал ластиться к нему. Глаза собаки то и дело сверкали при лунном свете и будто спрашивали: ну, долго еще мы тут будем канителиться? Ягуда вспомнил свой дом, потрепал Хвоста по серому загривку. Подумал о своих сыновьях, и голова стала ясней ясного, будто он окунул ее в студеные воды Светлого ключа.

Сафаргалея по-своему понял его молчание и проговорил:

— Знаешь, почему заревела Разия? Видишь, она и помоложе, и покрасивей, и статью породистей, а вот замуж никто не берет. Всю жизнь без мужа... Нет, вру, кажись, однажды выходила замуж, пожила с полгода и вернулась. Вот и живет одна, завидует другим...— Сафаргалея шагнул к Ягуде и понизил голос: — Потому что, говорят, многих мужчин знает, хи-хи! Когда кому нужна, идут к ней, а так...

Он не договорил, распахнулась дверь, и двор осветился треугольным снопом света.

— Эй, заходите! Куда же вы пропали? — звала Миннибикэ. Тут она заметила Ягуду. — А ты, жених, не раскисай, будь мужчиной! Все теперь зависит от тебя самого. Кёнхылу прекрасная женщина...

Ягуда неохотно направился в избу. Миннибикэ и Сафаргалея остались и забрались на телегу. Предупредительно зарычал пес. «Пошел отсюда!» — ругнулся Сафаргалея. «Я боюсь...» — сказала женщина. «Не бойся... я ее сейчас приструню...» А Ягуда остановился у порога, не решаясь войти, он думал: пройти за перегородку или нет? «Опять начнет судьбу клясть...» И вдруг он услышал:

— ...Почему я такая несчастная? Кёнхылу, соседка, скажи почему? Почему этот мужчина при-

ехал к тебе, а не ко мне, когда я мучаюсь всю жизнь одна, а ты ведь только что вылезла из объятий мужа?

— А ты пошла бы за него? Валяй, я же не сама набиваюсь к нему. Захочу — другого найду. Их много...

Ягуда больше не мог стоять истуканом. Чувствовал он себя мерзко, что довелось услышать чужие секреты. Ягуда кашлянул и топнул: женщины разом замолкли.

— Спасибо за угощение! — сказал Ягуда, чувствуя дрожь в руке. Снял с гвоздя фуражку и подошел к Кёнхылу. Постоял, ничего не сказал, повернулся и вышел, широко распахнув дверь. Напугал Сафаргалея и Миннибикэ, стоявших в сенях в обнимку.

Ягуда подтянул чересседельник, поправил дугу, открыл ворота, и тут с грохотом, будто ее кто вытолкнул силой, выскочила из избы Кёнхылу.

— На что ты обиделся, Ягуда? Не уезжай, оставайся! — она взяла коня под уздцы. Но Хвост, всегда верный своему хозяину, не подвел и на этот раз, зарычал, оскалил клыки. Женщина отпустила узду и отступила назад. Гнедуха с места взяла в рысь.

Ягуда успокоился, когда оказался за поселком и выехал на близкую его душе дорогу между суровых скал. Здесь он чувствовал себя под защитой этих могучих кряжей. Он мысленно представил Светлый ключ, где ему предстояло сделать привал. Лицо почтальона просветлело, он почувствовал, точно сбросил с плеч тяжелый груз.

Ему показалось, что откуда-то сверху из поднебесья льется мелодичный звон. Мелодия была прекрасна. Он прислушался. Это был мотив знакомой песни:

Яблоко делится на пять частей для друзей,
И смерть красна, когда отдаешь жизнь за друга...

ОРДЕН

Было ясное, теплое летнее утро. Доктор наук Баграм Габитович Сафиуллин сладко спал, посапывая. Увы, отсыпаться ему удавалось только в воскресные

дни. В будни он ложился поздно, а в шесть утра уже был на ногах. Под утро он всегда видел хорошие, согревающие душу сны. Вот и сегодня он парил над Уфой на розовых облаках и видел сверху все научные институты, и ректоры приглашали его принять кафедру... Баграм Габитович мило им улыбался, махал пухлыми ручками и пел, именно пел: «Я еще не выбрал кафедру...» И надо же было случиться, что в этот кульминационный момент доктора наук разбудил поцелуй жены. Баграм Габитович захлопал сонными глазами, увидев жену, кисло улыбнулся. Но Гульсира-ханум¹ обняла его горячо, страстно, чего давно уже не позволяла себе. Баграм Габитович пытался освободиться от ее объятий, однако жена, как в пору былой молодости, ласкала горячо и желанно. Щеки ее рдели спелыми яблочками, в черных глазах появилось загадочное сияние, словно в них шалили бесенята. Она порывисто дышала, большие груди, спрятанные во французский модный бюстгальтер, колыхались, будто она пришла домой после бега. Баграм Габитович все еще пытался снять с шеи ее полные руки, но из этого ничего не вышло.

Гульсира-ханум только что пришла с улицы, ее волосы пахли солнцем утренней свежестью. Баграм Габитович только сейчас заметил, как соблазнительна его жена. Он порывисто встал и попытался обхватить ее за талию, но Гульсира-ханум ловко увернулась и весело засмеялась, разметав по округлым плечам густые русые волосы.

— Ну что дашь за суюнче?²

— Что же тебе такое дать?.. — приговаривал Баграм, плохо соображая спросонок. Глаза его все еще жадно были устремлены на жену... «И с чего это она сегодня такая шальная? Уже успела сходить куда-то. Что еще за суюнче?» Заметив валявшуюся на столе сумку, он догадался, что жена ходила в магазин.

— Ты что так ликуешь, будто самородок нашла? — отшутился он, недовольный странной сдержанностью жены. «Налетела шаровой молнией и хохочет!..» Но у Гульсиры выдержки хватило ненадолго.

¹ Х а н у м — уважительное обращение к замужней женщине.

² С у ю н ч е — радостное известие и вознаграждение за него.

Белыми руками она еще сильнее обвила шею мужа и выронила из рук газету.

— Орденом тебя наградили! Орденом! Вот и указ напечатан в газете...— взволнованно ответила Гульсира, освобождая мужа из своих объятий.

— Каким орденом?

— Встала в очередь за молоком и слышу, как одна знакомая расхваливает тебя,— блестя белыми, будто смоченными росой, зубами, тараторила жена.— И вдруг спрашивает: «Радио сегодня утром слушала? Он орденом награжден!» Тут уж мне было не до молока. Побежала в киоск, купила газету одну, другую, пробежала глазами... И правда — ты там! Ну я, конечно, бегом домой... Думаю, обрадую сейчас муженька.— Гульсира порывисто нагнулась за газетой.— Вот, прочитай сам!

Пораженный неожиданным известием, Баграм сел на кровать, босые ноги не чувствовали прохладу паркета. Он выхватил газету из рук жены и жадно впился в нее глазами. Обычно сдержанный, он не мог скрыть волнения — бледные щеки зарумянились, руки слегка дрожали. Прежде всего он выискивал свою фамилию — Сафиуллин Баграм Габитович... Потом пробежал глазами весь указ. И, только уверившись, что все это правда, принялся читать вслух указ, испытывая при этом необыкновенное наслаждение... «За заслуги в области науки...» Радость мужа — отрада для жены. Гульсира тоже слушала его заворуженно, словно задушевную песню, с любовью глядя на мужа. С ее гладкого лица ни на секунду не сходила довольная улыбка. Баграм тоже менялся на глазах: чуть растерянное поначалу лицо его стало ласково-радужным, глаза сияли гордостью, а густые брови то круто изгибались, то сходились на переносице. Он улыбался, и жена сейчас не замечала щербатости его зубов.

— Ну наконец-то! Наконец-то! — ликующе воскликнул он, потрясая газетой, и на мгновение величаво замер, словно боясь, что радость может разом исчезнуть, если он сделает какое-нибудь неосторожное движение.

Гульсира-ханум хорошо понимала состояние мужа.

— Наконец-то! — повторила она вслед за мужем и

облегченно вздохнула, точно путник, достигший цели. В это слово женщина вложила свой особый смысл, понятный только им обоим. Баграм Габитович благодарно взглянул на жену, и они вновь заключили друг друга в объятия...

Потом они недолго понежились в постели, очень довольные, что дочь вчера с подругами ушла в турпоход, а то пришлось бы посылать ее в магазин, поспоминали молодые годы, первые успехи.

— Все, Баграмушка, пойду я завтрак приготовлю,— Гульсира встала, привела себя в порядок и ушла на кухню.

Доктор наук поднял с пола газету и снова стал перечитывать указ...

— Вот видишь, все равно победа осталась за тобой! — донесся из кухни звонкий голос Гульсиры. Баграм Габитович услышал звяканье кастрюль, шипение и потрескивание масла на сковороде, а вскоре в квартире запахло жареным мясом и пряностями.— Спасибо, Баграмушка мой! Знаешь, как мне приятно было, когда поздравляли женщины в очереди...

Баграм не вытерпел, как был в цветастых трусах, так и двинулся на кухню к жене.

— Голубка моя, а ведь в моих заслугах есть и твоя доля,— Баграм произнес эти слова особенно ласково.— Ведь без тебя я как без рук...

— Ну, уж скажешь! Какая уж тут моя заслуга...— и она лукаво отмахнулась полной рукой.

— Вот ты как раз и помогла мне больше всех, женушка! Помнишь, в самые тяжелые минуты, когда со мной не больно-то считались, кто помог мне поверить в собственные силы, сохранить искру надежды? Ты! Кто помог мне готовить кандидатскую, недосыпая ночами, когда я готовился к защите диссертации? Ты, моя умница, ты! — Баграм Габитович расхаживал в шлепанцах по кухне и время от времени почесывал округлившийся за последние годы волосатый живот. Гульсира-ханум слушала слова мужа, как хорошую музыку — полные губы ее улыбались, черные, как спелая смородина, глаза поблескивали. А Баграм упоенно продолжал: — Кто брал меня под защиту, когда злые языки распускали обо мне всякие небылицы? Говорили — бездарь, деревня, а лезет в науку! Ты, Гульсирушка моя, защищала меня и ум-

но выбирала друзей. И вот наконец-то официальное признание!

Эти слова заставили обоих взглянуть друг другу в глаза и торжествующе улыбнуться. Баграм, не скрывая волнения, осмысливал значение этого события. Получение ордена, во-первых, выведет его имя в первый ряд ученых в научно-исследовательском институте, где он работает. Теперь он — Сафиуллин не просто доктор наук, а еще и орденоносец! А это в научном мире что-то да значит! Докторами наук можно трижды Агидель перегородить, а докторов наук орденоносцев раз-два, и обчелся. Не секрет же, что перед заслуженным деятелем, если он даже десятилетиями пишет только заштампованные рецензии, преклоняются, как перед богом.

Орден этот — только первый шаг к вершине. В душе Баграм Габитович, конечно, сознает: знаний награда ему не прибавит, зато придаст его имени золотой отблеск славы. Если уж честно признаться, думал он и о том, что как только имя утвердится, тут уж будет и до чинов недалеко. Авторитетному человеку мало одного почета, по положению, которое он занимает, определяется высокий оклад, персональная легковая машина, депутатство... Так что оказаться в этой обойме ученых — мечта многих...

Объятый сладкими мыслями, Баграм Габитович покинул кухню и, взяв газету, плюхнулся на кровать... В институте уже давно пустует место заведующего отделом, возможно, теперь его и выдвинут... Ну, на худой конец, можно довольствоваться и менее высокой должностью, а остальное придет постепенно, со временем. Ведь ему еще нет и пятидесяти, а заслуги его в науке очевидны, иначе бы не оказался в списке награжденных. «А сон-то — в руку!» — внезапно вспомнив свой полет на розовых облаках, подумал Сафиуллин. Как его зазывали ректоры институтов. Любопытно, что было бы, если бы и ректоры видели такой же сон? От этой мысли Баграм Габитович рассмеялся и снова с благодарностью вспомнил бурную деятельность жены, чьи советы, подсказки свели его с влиятельными и нужными людьми. То ли Гульсире хотелось скорее стать женой профессора и в ней рано проснулось чувство зависти по отношению к женам людей менее одаренных, чем муж, но зато с положе-

нием? Входя в роль будущей профессорши, она даже здоровалась, разговаривала со знакомыми женщинами по-иному, устраивала застолья и приглашала именитых гостей. И делала все так, что потом в городе долго говорили, какой у нее был стол, какие интересные встретились люди, и даже был сам — знаменитый на всю Россию поэт. Надо отдать должное таланту Гульсиры-ханум — она умела устраивать вечеринки, и получалось у нее это красиво. Сам Баграм тоже любит шумные, веселые компании, охотно встречается с друзьями-приятелями, приглашает их в гости. Но в последнее время жена почему-то предпочитает ходить в гости сама, бывать на людях...

— Баграмчик, ты что-то совсем растерялся у меня! Оставь благодущие, сегодня у нас праздник! — появилась в спальне жена. — Давай-ка приведи себя в порядок.

— Праздник, женушка, ты права! — откликнулся Баграм, с улыбкой потирая руки. Он быстренько натянул пижаму, носки.

— Стало быть, готовиться надо. Долго ждать не заставят... — нежно поглядывала на мужа Гульсира-ханум.

— Кто не заставит долго ждать? — не понял Баграм, направляясь в ванную.

— Кто же, как не гости?! Поздравлять придут. Вот увидишь, позвонят все твои подчиненные, сослуживцы... Пока тихо, потому что сегодня воскресенье, люди спят вволю, газеты еще не смотрели.

— Это точно.

Баграм Габитович ждал этого дня. Как бы там ни было, а добросовестный труд оценен. Пусть теперь злые языки перебивают ему кости. Ему ни жарко и ни холодно. Все-таки это событие, и оно наводит на размышления.

...Жена и раньше твердила, что он заслуживает больше внимания и наградами его обходят нечестно. Будучи не совсем сдущей в вопросах науки, она тем не менее часто слышала от других, от сослуживцев мужа, что ее Баграм толковый и даже талантливый ученый. Стало быть, награда вполне заслуженная. Сегодня жена дала себе слово устроить ему настоящий праздник. Занимаясь уборкой, Гульсира старалась представить себе, как будет выглядеть это

празднество. Тех, кто придет поздравлять, надо будет усадить за стол, угостить, а кое-кого придется пригласить персонально. В первую очередь, конечно, руководителей института. Это же они так постарались. За угощением дело не станет, тут уж Гульсира не ударит лицом в грязь. Пусть все видят, как она умеет отмечать радостный день мужа.

Представив все это мысленно, Гульсира решительно обратилась к посвежевшему и даже помолодевшему супругу, выходящему из ванной:

— Слушай, Баграмчик, не забудь побриться. Надень черную тройку, которую привез из Франции. Белую рубашку и галстук в черный горошек — все, в чем сам в гости ходишь. Лакированные туфли, слышишь?..

Внимание жены растрогало Баграма, он умиленно глядел на нее.

Резкий телефонный звонок прервал Гульсиру-ханум и заставил обоих вздрогнуть. Они переглянулись.

— Чуешь? — спросила Гульсира и тихо закончила: — Началось...

— Наверное, — Баграм, волнуясь, поднял трубку. — Алло!..

Звонил из другого конца города научный сотрудник Баграма. Сперва он дотошно поинтересовался здоровьем Баграма, расспрашивал о настроении, между делом упомянул имя Гульсиры и только после этого поздравил Баграма с высокой правительственной наградой, конечно же превознося заслуги своего руководителя... Баграму даже неловко стало от таких похвал. Он хотел было решительно пресечь панегирики, но тут, словно догадавшись о его намерении, жена с улыбкой любовно пригрозила ему пальцем. Потом, подойдя ближе к мужу, прислонила ухо к трубке, прислушиваясь к разговору. Когда разговор закончился, она вытерла руки о передник и сама села к телефону.

— Ну вот видишь? Иди скорее, милый, приводи себя в порядок, — прошептала она. Да, она очень и очень довольна! Пока муж переодевался, Гульсира стала обзванивать своих подруг.

— Алло, Нафиса, ты, надеюсь, понимаешь наше положение? Не успеваем. Беги в магазин, потом расчитаемся... Только смотри, бери все самое лучшее!

— Хамдия! Беги на рынок! Чтоб одна нога здесь, другая — там!

— Самигулла, оставь-ка все свои дела, купи мне самых лучших напитков... Да, да, только через знакомых, достань хоть из-под земли!..

Баграм — в какой уже раз! — поразился деловитости своей жены, даже головой покачал:

— Огонь, ну просто — огонь ты у меня!

Гульсира как должное приняла комплимент мужа и, снисходительно улыбнувшись, заметила:

— Не мешало бы тебе перенять у супруги кое-что, потому что ваш брат привык смотреть на жизнь сквозь розовые очки,— Гульсира-ханум хотела сказать еще что-то, но тут прерывисто зазвонил телефон. Трубку сняла Гульсира.

— Да, слушаю... Кхм... Спасибо, спасибо!.. Дома, как же. Сейчас передаю ему трубочку... — улыбаясь, точно видела человека на том конце провода, ворковала хозяйка.

С этой минуты телефон уже не знал покоя. В квартире Баграма Габитовича поднялась суматоха. Гульсира почти и не вылезала из кухни, выходила к мужу, занятому уборкой квартиры, лишь затем, чтобы отдавать распоряжения.

Вскоре позвонили в дверь. Сафиуллин открыл. Перед ним стоял с цветами в руках, расплываясь в улыбке, его давнишний сослуживец Карим Халимович. Он колом вкатился в дом и схватил Баграма в объятия. Низенький, кругленький, казалось, он весь был наэлектризован энергией.

— Поздравляю, дружище, от души! — приговаривал он, протянув цветы Гульсире и поцеловав ее изящную руку. — Орден — это великая штука, друг Баграм! Вот что я тебе скажу.

— Конечно... Ну уж так ли это важно для ученого? — слицемерил Сафиуллин. — Сам знаешь, ведь живем для науки!

«Смотри-ка ты, какой он у меня!» — с похвалой подумала жена и, извинившись перед гостем, пошла переодеваться.

Гость прошел в комнату, продолжая восторгаться другом:

— Правительственная награда не всякому дается, дружок. Ее дают не за то, что у тебя глаза черные

или жена красивая...— В это время из спальни вышла разодетая Гульсира. Гость тотчас внес ясность в вопрос: — Вот ты, друг Баграм... Баграм Габитович, во всех отношениях дельный, толковый ученый...— И совершенно неожиданно Карим Халилович принялся расхваливать хозяйку: — Про вас говорю, Гульсира-ханум, вы как цветок выглядите! У кого хватит сердца, чтоб не дать орден мужу такой обаятельной женщины?! Но у тебя, Баграм Габитович, заслуги большие, ты — мыслитель, в твоей голове кишат идеи одна новее другой, мысли, открытия...

Сафиуллину стало неловко.

— Карим Халилович, вы захвалите меня... Я ведь могу и испортиться...

Гульсира-ханум, сразу раздурманенная и помолодевшая, таяла от медовых речей гостя. И как же тут было не возразить мужу:

— Ты уж, солнышко, помолчи, дай людям высказаться. Карим Халилович свой человек, друг нашей семьи, он-то уж зря не скажет.

— Да-да, Гульсира-ханум, истинная правда,— охотно подхватил гость слова хозяйки.— Вот, друг Баграм, раз уж я разоткровенничался, то скажу и это: и с женой тебе здорово повезло...

Карим Халилович был близок Баграму и его семейству. Он руководил сектором в научно-исследовательском институте, где работал и Сафиуллин. В этот дом он никогда не приходит случайно или без дела. Он знает все торжественные дни в этой семье и прибегает всегда первым. По выражению Гульсиры, Карим Халилович масштабный человек. Среди научных работников его имя произносится часто и с уважением. Сегодня Карим Халилович тоже не изменил своей привычке.

...Когда на столе появилось шампанское, стали со вещаться, кого пригласить на вечернее застолье.

— Гости у вас сегодня будут, пригласите вы их или нет,— сказал, как утвердил, Карим Халилович.— Это — традиция, и не нами она выдумана.

— Что ж, встретим гостей честь по чести! Лицом в грязь не ударим! — ответил Баграм Габитович, глядя на жену.— Ну-ка, женушка, как нам быть?

По совету Карима Халиловича отключили теле-

фон, от которого совсем не было покоя, и все трое уселись за стол.

— Пусть знают, что от поздравлений отбоя нет... — польстил Карим Халилович.

Баграм Габитович взял чистый лист бумаги и начал составлять список. Жена и гость называли фамилии, он записывал. Вначале перечислили всех, кого обязательно следует пригласить, начиная с директора института. Затем включили в список тех, кто может прийти и без приглашения. Гостей набиралось порядком.

— Давай прикинем еще раз, не пропустили ли кого? — предостерегла Гульсира-ханум.

Баграм Габитович встал, заложил руки за спину и прошелся по комнате. Глубоко задумался. Карим Халилович постучал ручкой по столу и решительно заявил:

— Все! Никого не забыли!

Хозяйка облегченно вздохнула. Баграма Габитовича что-то осенило. Он многозначительно посмотрел попеременно на своих собеседников, нахмурил лоб и сел за стол.

— Ну что ты там еще надумал? — спросила нетерпеливо.

— Дорогие мои, мы ж упустили из вида самого дорогого гостя, который должен сидеть в переднем углу! Я говорю про Шукруллу-агай!

Гульсира сделала большие глаза и хлопнула в ладоши.

— Боже, Шукруллу-агай забыли! А Маргуба-енгэ? Пиши, пиши, Баграмушка, их записывай первыми в список! И как это мы их забыли?

Карим Халилович заерзал на стуле от чувства неловкости — допустить такой промах!

— Да-а, старика, безусловно, надо пригласить! Конечно, он бы не обиделся, человек он пожилой, домосед. Но, друг мой Баграм, за тебя он в свое время крепко воевал. Помнишь, как он выступал на заседаниях научного совета? О-о-о! — пустился в воспоминания гость. — И ведь настоял-таки на своем. Уж я откровенно скажу: если ты в свои неполных сорок лет защитил докторскую диссертацию, несмотря на все препоны твоих недругов, то этим в первую очередь ты обязан ему.

Баграм Габитович закивал, поддакивая.

— Конечно, я ему многим обязан, он вывел меня в люди! — Он неожиданно быстро поднялся, сходил в рабочий кабинет и принес фотографию старого ученого. — Вот он...

— О-о, совсем седой стал старик. Давненько я его не видел. Сколько лет он уже на пенсии? — спросил гость.

Хозяева переглянулись.

— Года три-четыре... — сказала Гульсира-ханум неуверенно. И добавила: — Ведь они с тетушкой Маргубой оставили свою шикарную квартиру совсем незнакомым людям и переехали жить в дачный поселок около Уфы.

— Ты немного перепутала, женушка. Шукрулла-агай благороднейшая душа. Он свою квартиру оставил трем аспирантам института, которым негде было жить. «Уфа теперь нужнее вам, молодым», — сказал он, когда те начали отказываться. И чтобы как-то вывести аспирантов из неловкого положения, Шукрулла-агай пошутил, мол, в наши годы нам надо быть ближе к природе. Вот такой старик. Шум был тогда на весь город. Одни осуждали, другие его поступок называли глупостью, третьи одобряли и поражались благородству. У меня, по-моему, есть новый адрес Шукруллы-агай.

— Тогда за чем же дело стало? — Гульсира-ханум вскочила со стула.

— Что же делать?

— Сейчас же дать срочную телеграмму с приглашением! Помнишь, мы ведь две зимы прожили у них, когда ты окончил аспирантуру? Я тогда еще была студенткой. Какое трудное было время — ни денег, ни одежды...

— Не говори, женушка. Сейчас бегу на почту. От поселка до Уфы какой-нибудь час езды. Погостят, переночуют у нас. — Баграм Габитович начал собираться.

Карим Халилович тоже встал.

— Вы сидите, сидите, куда вдруг заторопились? — хозяйка подошла к гостю и положила ему на плечи свои полные руки.

— Спасибо, заглянул на минутку, чтоб поздравить коллегу, а вон как засиделся...

— Тогда, Карим Халилович, милости просим к семи часам. Стряпня моя будет готова к этому времени...

— Несомненно, Гульсира-ханум, разве я упущу такое торжество! — гость, прощаясь, вновь поцеловал хозяйке ручку и, уходя, сказал Баграму: — Ты уж отбей телеграмму Шукрулле-агай приглашающую. Я ведь его тоже очень уважаю. Хороший старик...

Когда Баграм вернулся, послав Шукрулле-агай телеграмму, он до самого вечера только и вспоминал старого ученого.

Расставляя столы, стулья, отвечая на телефонные звонки, пожимая руки тем, кто приходил поздравлять, принимая от них цветы, он все время думал о великодушном мудром старике. Он время от времени окликал Гульсиру-ханум:

— Я про старика все думаю, сильно ли изменился?

— Надо полагать, ведь возраст уже преклонный... — жена, бегая по квартире, не забывала нежно притронуться пальцами то к щеке мужа, то ткнуться ему носом в шею.

— Вот удивится старик! Может, он уже знает из газет? — спросила жена.

— Наверное. Ты ведь знаешь, он утренний чай не станет пить, пока газеты не просмотрит.

Баграм Габитович разволновался от нахлынувших воспоминаний.

— Помнишь, женушка, а ведь мы и поженились благодаря ему.

Гульсира-ханум, совсем как в молодые годы, обняла мужа за шею, глянула ему в глаза.

— А ты, оказывается, еще не забыл...

— Да разве такое забудешь. А ты помнишь, как мы с тобой познакомились?

Разговор на эту тему возникал у них часто, но Гульсире-ханум все равно приятно было слушать воспоминания мужа. Как и утром, у нее чувственно затрепетали ноздри красивого носа, щеки разругались.

— Ну-ну, где встретил? — Она с трудом сдерживала свое желание приласкаться к мужу.

— Ты — студентка, еще молоденькая... А я только-только приехал из Москвы, закончив учебу. Ты

даже называла меня тогда агай. Руководителем моим назначили Шукруллу-агай. Как я его боялся в первое время. Ведь он, в свое время преподавал в вузе. Разыскал я его в аудитории, а там было несколько девушек, и среди них — кто?

— Я... сидела там! — счастливо улыбнулась Гульсира-ханум и, не выдержав, поцеловала мужа в губы, глаза, но тотчас вынуждены были освободиться из объятий друг друга — требовательно зазвенел дверной звонок. Почтальон принес первую поздравительную телеграмму.

Когда время перевалило за шесть, появились первые гости. Столы уже ломились от угощения, на тумбочках, шкафах в хрустальных вазах благоухали цветы. В квартире все дышало праздником.

Баграм Габитович в своем черном костюме, белой рубашке, при галстукке почти не отходил от двери, встречая гостей, и очень был похож на церемонного дипломата.

Ближе к семи в магнитофон вложили ленту с мелодиями курая. Пусть уж все будет как положено. У хозяев и гостей было прекрасное настроение.

Пока собирались гости, Баграм и Гульсира совещались.

— Куда посадим Шукруллу-агай? — Баграм Габитович привычно посмотрел жене в глаза. Дескать, как ты скажешь, так и будет.

Та не замедлила с ответом:

— Ясно, что рядом с директором института...

Гульсира повесила на спинку двух мягких стульев в переднем конце стола полотенца, вышитые башкирским орнаментом: мол, эти места ждут своих достойных хозяев.

За шумными шутливыми разговорами время летело незаметно. Уже давно пора было рассаживать гостей, но хозяева все откладывали и откладывали — ждали Шукруллу-агай и тетюшку Маргубу. В душу закрадывалось сомнение: а вдруг телеграмма не дошла? Впрочем, Баграм Габитович посылал телеграмму с уведомлением, и сообщение получено — телеграмму вручили днем.

Тянуть дальше было невозможно. Гости уже устали ждать и расхваливать гостеприимных хозяев. Они стали чаще поглядывать на яства и напитки с разно-

цветными этикетками, отвернувшись, старались скрыть предательскую зевоту.

Наконец хозяева пригласили гостей за стол. Тамадой избрали Карима Халиловича. По его команде наполнили фужеры шампанским, приготовили закуску. И только было Карим Халилович собрался дать слово директору института для первого тоста, как встал Баграм Габитович и виновато заговорил:

— Дорогие гости, просим у вас прощения...— и смущенно взглянул на жену. Когда та чуть-чуть улыбнулась, он осмелел, кивнул на пустующие два стула: — Должны были подъехать Шукрулла Хайдарович с супругой... Может быть, сейчас подойдут...

— О-о, такого человека надо подождать,— сказал кто-то.

К нему присоединился другой:

— Многие ученики Шукруллы-агай теперь стали крупными учеными...

Гости оживленно заговорили:

— Говорят, замечательный человек...

— Я уже не застал его.

— И неудивительно, ты еще молод.

— Зато он Баграму Габитовичу вместо отца родного был. Прекрасной души человек. С тех пор как ушел он на пенсию, я его не видел.

— Разве он уехал куда?

— Где-то, говорят, под Уфой живет...

— Что ни говорите, друзья, много сил он отдал каждому из нас и науке...

— Крупный ученый. Баграм Габитович — один из его учеников...

Раздался долгожданный звонок. Сидящие за столом все разом задвигались, обернулись в сторону двери.

— Пришли?!

Хозяева кинулись к двери. Но немного спустя Баграм Габитович вернулся с телеграммой в руке.

— Поздравляют друзья из Алма-Аты,— сообщил он и предложил: — Давайте, друзья, начнем вечер...

Гости произносили тосты, стараясь перещеголять в остроумии и оригинальности друг друга, шутили, смеялись. Вскоре и Гульсира-ханум втянулась в общее веселье. Только Баграм Габитович был в напряжении и чувствовал себя неуютно. Он то и дело по-

глядывал на дверь. Тут уж не до веселья, когда не приходит приглашенный дорогой гость. Вдобавок Баграм о нем рассказал другим. «Чего доброго, еще подумают, что старик пренебрег приглашением своего ученика. И чего стоило съездить за ним на такси?» — тоскливо думал он, досадуя на себя.

А вечер разгорался, с каждой выпитой рюмкой гости становились все говорливей. Произносили тосты:

— С высокой правительственной наградой!

— За науку, за Баграма Габитовича!..

— За здоровье Гульсиры-ханум!..

Затем поднялся Карим Халилович и, как тамада, попросил тишины:

— Друзья, сегодня я, поздравляя Баграма Габитовича с орденом, хочу предложить всем вам выпить за здоровье его учителя — Шукруллу Хайдаровича!..

Гости дружно захлопали.

— Bravo! — крикнул кто-то. — Счастлив тот, кто имеет учителя! Дорогой наш Баграм Габитович, ты счастлив сегодня вдвойне! Вот увидите, сейчас появится его великий учитель...

Не успел закончить захмелевший гость свою речь, раздался звонок, заставивший всех замереть в ожидании. Карим Халилович даже забыл опустить поднятую рюмку. Гульсира-ханум метнулась к двери. Все взоры устремились за ней. Утомительно долго тянулись минуты ожидания. Первой показалась тетушка Маргуба, супруга Шукруллы-агай. Кто-то произнес экспромт:

У счастливого гость опоздал,
Но и этим честь оказал...

— Добро пожаловать, проходите в передний угол!

— Мы уже истомились, дожидаясь вас...

— Спасибо, тетушка Маргуба, спасибо, что уважили!.. — раздались голоса из-за стола.

Как только тетушка Маргуба вошла в комнату, гости, как сговорившись, все разом подняли рюмки. Кто помоложе старушку приветствовали стоя. Гульсира-ханум проворно поднесла тетушке Маргубе мягкие домашние тапочки.

— Где Шукрулла-агай?

— Почему он задерживается?

— Спасибо, доченька, спасибо! Уж так у меня но-

ги устали...— тихо говорила старушка хозяйке и точно не слышала возбужденных голосов изрядно подвыпивших гостей. Изборужденное морщинами лицо ее было скорбным.

А из-за стола продолжали лететь ей навстречу веселые шутки:

— Выговор надо ему объявить!

— В прежние времена за опоздания он никому спуска не давал!..

— Ха-ха, Шукрулла-агай и крутым быть умел в свое время. Теперь небось забыл уже начисто. И в институте не показывается...

— Шукрулла-агай, ну где вы там?

— Терпенье, друзья, Шукрулла-агай сейчас собственной персоной представится...

Но старый ученый в дверях не показывался. Тетушка Маргуба, недоумевая по поводу возникшего шума, сказала что-то, но ее никто не расслышал. И она терпеливо стала ждать, когда люди угомонятся за столом. На ее лице проступила виноватая улыбка.

— Баграм Габитович,— заговорил Карим Халилович, призвав гостей к тишине.— Прикрепил бы ты на грудь свой орден, а? Пусть видит Шукрулла-агай...

Кто-то рассмеялся:

— Орден-то не вручили, только указ опубликовали.

— Да ведь у Шукруллы-агай одышка, ребята,— напомнил вдруг тамада.— Помните, как медленно он ходил в жаркое время. Сегодня же...

Баграм Габитович виновато сказал:

— Как назло, лифт не работает толком, надо бы спуститься за ним...

Тетушка Маргуба, поддерживаемая под руки хозяйкой, медленно шла вдоль стола. Навстречу поднялся виновник торжества. Несмотря на протест старушки, ее усадили на один из стульев, на спинке которого было перекинута вышитое полотенце. Тетушка Маргуба смущенно отказывалась от внимания, которое ей оказывали. Кто-то даже наполнил шампанским два пустовавших бокала и один из них, предназначенный для Шукруллы-агай, протянул Баграму Габитовичу:

— Держи и не пускай своего учителя через порог, пока не выпьет этот солнечный напиток!

— Правильно, не будем нарушать обычай!

Баграм Габитович подошел к тетушке Маргубе, держа в руке хрустальный бокал, в котором золотилось игристое шампанское, и торжественно произнес:

— Енга, у меня сегодня радостный день, праздник... Но почему задерживается агай?

Гости притихли и усталились на пожилую женщину. Тетушка Маргуба печально улыбнулась и поднялась с места. С ее головы сполз черный платок...

— Он... не придет,— еле слышно промолвила она.

— Как... не придет? Ведь я сказал в телеграмме... Ведь он... ради меня...— недоумевал хозяин дома.

Тетушка Маргуба посмотрела на Баграма Габитовича долгим пристальным взглядом, поколебалась, затем пригладила седые волосы. Поправила на плечах сползший платок и перевела скорбный взгляд на окно.

— Скоро год, как его... не стало,— едва слышно произнесла она. Потом добавила, повернувшись к Баграму Габитовичу: — Когда слег, все тебя спрашивал...

ПАРЕНЬ В БЕЛОЙ КЕПКЕ

Всякий раз перед выездом на маршрут Рамиля неторопливо усаживается в кабину трамвая, сосредоточенно начинает вглядываться в маленькое зеркальце, прикрепленное над ветровым стеклом. Она критически рассматривает свое красивое личико и не может сдержать довольной улыбки. Повертев головкой, проводит кончиками пальцев по тонким бровям, как бы желая сделать их еще более тонкими. Румяные щеки, пышущие здоровьем, пухлые пунцовые губы, готовые вот-вот расплыться в улыбке, черные озорные глаза придают всему ее облику гордый, неприступный вид. А русые волосы, выбивающиеся локонами из-под синего форменного берета, так и пляшут при каждом повороте головки над белым крутым лбом. Поправив кудряшки, Рамиля напускает на себя серьезность, а потом снова расплывается в неудержимой улыбке, и на щеках образуются ямочки. Девчонка явно нравится себе, она склоняет голову то вправо, то влево,

не отрывая взгляда от зеркала, и только после этого принимается красить не нуждающиеся в помаде губы.

Вот и сегодня, закончив эти хлопоты, Рамиля взглянула на часы. Воспользовавшись тем, что у нее оставалось время, она проверила обе кассы в салоне, уложила рулончики билетов. Прохаживаясь по вагону, она посматривала на свое отражение в окнах и осталась довольна своей фигурой. Спортивный костюм подчеркивал безупречность ее стройного, гибкого станна.

Настроение у Рамили поднялось, и она представила себе, как на первой же остановке салон наполнится пассажирами: войдут и пожилые, и молодые, и женщины с малышами, и шумливая ребятня... У каждого из пассажиров будут свои разговоры, и каждый будет слышать в общем гаме то, что ему надо. Первое время Рамиля поражалась, как в этом шуме люди понимают друг друга. Теперь уже за два года работы водителем трамвая девушка привыкла к этому и насмотрелась всего: и хорошего и дурного. Теперь она с первого взгляда может определить, кто есть кто. А что до прихорашивания... Впрочем, это ведь личное дело каждого. К тому же Рамиля делает это не во время движения трамвая. Возможно, она хочет кому-то нравиться, что в ее возрасте вполне позволительно. Она знает, что немало ребят стреляют за ней глазами. Да и среди солидных пассажиров были такие, которые откровенно любовались ею. Некоторые, упершись лбом в стекло кабины, подолгу смотрят на нее. И если она даже говорила: «Гражданин, вы закрываете мне стекло!» — то в ответ те только улыбались и продолжали стоять. Рамиля, хотя и была занята делом, сосредоточив свое внимание вперед, но быстро замечала любопытных, посматривая на висящее перед ней зеркало. Нередко на нее заглядывались и довольно симпатичные парни...

Рамиля еще раз бросила взгляд на свое отражение в окне, и тут из динамика прозвучал голос диспетчера:

— Булатова, зайдите в диспетчерскую!

В парке люди знают друг друга, а поэтому этот вызов был несколько странным, тем более что до выезда остались считанные минуты. Возможно, кто-нибудь из подруг пришел. Ведь если человека сейчас не

поймаешь, то потом, как разъедутся по своим маршрутам, искать его бесполезно. Уфа — город большой, растянутый, из одного конца в другой надо ехать больше часа. «Кому я понадобилась?» — подумала Рамиля и побежала в диспетчерскую. Едва она переступила порог, ей сразу же вручили телефонную трубку.

— Судя по голосу, парень — красавец, — пошутил кто-то. Девушка хотя и поняла шутку, однако сердце ее затрепетало, лицо запылало.

— Доброе утро, подруженька! — раздалось на другом конце провода. — Мы с тобой как солнце с лунной, и встретиться некогда.

Рамиля сразу узнала голос Гульбикэ, с которой они живут в одной комнате в общежитии. Погрозив пальцем тому, кто пытался разыграть ее, девушка стала внимательно слушать подругу.

Гульбикэ работает в другом парке и водит троллейбус. Она самая задушевная подруга Рамили. Она ростом и фигурой очень похожа на Рамилю, скромная, застенчивая, умеет ценить дружбу. На их дружбу многие в общежитии смотрят с завистью. Подруги работают в разные смены, видятся редко, но в их комнатке всегда чисто. Они никогда не торгуются, чья очередь прибирать в комнате. Кто свободен, тот и вымоет пол, протрет окна, погладит белье... Нередко, отправляясь в театр или на концерт, а то просто на прогулку, девушки меняются нарядами.

«Что же случилось? — успела подумать Рамиля, услышав в трубке голос подруги. — Неужели из деревни приехал кто-нибудь?» Вот уже второй день они с Гульбикэ не могут встретиться, ведь смены у них разные. Совпадения смен они добиваются с трудом — или одна из них поработает за кого-нибудь, или уговорят диспетчеров, чтобы они дали возможность им встретиться. А как подойдет праздник, так снова все летит кувырком...

— Привет, привет, подруженька, — улыбнулась Рамиля, услышав подругу. — Ты откуда звонишь?

— Из общежития, — звонко рассмеялась Гульбикэ. Рамиля догадалась, что у подруги хорошее настроение. — Думаю, дай-ка я ее поймаю, пока не выехала на линию. Суюнче, подруженька, суюнче!

Рамиля тоже хохотнула:

— Ты сама для меня суюнче!

— Нет, нет, я не шучу, суюнче!

— Мама, что ли, ко мне из деревни приехала? Она давно собиралась...

— Не угадала, подруженька. Ну, ну...

— Эй, не мучай же...— Рамиля терялась в догадках и ничего определенного сказать не могла, что могло бы послужить поводом для провозглашения суюнче.— Ну говори же, не морочь мне голову. А то весь день буду думать...

— Что дашь за суюнче? — настаивала Гульбикэ.

— Что ж тебе дать-то? Ладно, поцелую разок.

— Думаешь одним поцелуем отделаться?

— Тогда подарю свою синюю косынку!

— Ха-ха! Подруженька, ты опоздала, я уже появилась се...

— Не изводи же меня, Гульбикэ. Тут торопят, телефон нужен.— Подумав добавила: — Придумала! В кино приглашу в воскресенье!

— То-то! — Гульбикэ снова засмеялась. — Тебе письмо!

— Письмо? От братишки из армии?

— Не угадала, подруженька. Тут написано: «Лично в руки». Со вчерашнего дня у вахтерши пролежало, а ты и не заметила.

— На этих днях неоткуда было ждать, я и не просматривала письма. Да ну тебя, небось разыгрываешь...

— Правда, правда! Из Казани письмо. Адресовано лично тебе...— и тут почему-то голос Гульбикэ сник, что не ускользнуло от Рамили.

— А ты не можешь передать с кем-нибудь?

— Не с кем — все уже ушли.

— Ладно, оставь, вечером прочтем вместе. Пока! — и Рамиля, положив трубку, побежала к своему трамваю.

...Вот Рамиля едет сейчас по проспекту Октября — самой длинной улице города. Всего лет пятнадцать назад здесь был пустырь, ютились деревянные домики, места эти считались «загородом». А теперь выросли многоэтажные красивые дома, гостиница «Россия», привлекает взор архитектура Драматического русского театра, памятник В. И. Ленину.

В это время на улицах города обычная утренняя суета: люди спешат на работу, молодые родители ве-

дут детишек в детские сады, ясли... Тысячи машин развозят продукты, туристы осматривают город. В эту пору следует быть особенно внимательной. Иные люди, особенно женщины, готовы лезть под колеса, лишь бы успеть сесть на нужный им автобус или трамвай, словно больше не будет никакого транспорта. Можно уверенно сказать, что половина жителей Уфы едет на работу, в учебные заведения по проспекту Октября. В часы пик транспорт перегружен. Пожалуй, так будет всегда, пока не построят в городе метро.

Как сосредоточенно и внимательно ни ведет свой трамвай Рамиля, но мысли ее нет-нет да и обращаются к письму из Казани. «Почему оно адресовано мне? От кого? И голос Гульбикэ вдруг погрустнел, хотя она и старалась казаться веселой. Обиделась, что ли? До сих пор общий знакомый из Казани Рамзиль адресовал свои письма нам обеим... Странно, почему я вспомнила этого парня?»

...А началось их знакомство со встречи в ее трамвае. Тогда, как и сейчас, Рамиля ехала по самому длинному маршруту в городе. Был зимний морозный день. Людей на улице совсем мало, зато трамваи, автобусы, троллейбусы переполнены пассажирами. Желających пройтись в такой мороз было мало. Каждый норовил поскорее попасть в тепло. Рамиле изредка на перекрестках приходилось выходить из трамвая и переводить стрелки. Даже во время таких коротких вылазок она заметила, как жестко скрипит под ногами снег, точно был замешен на канифоли, и этот скрип доносился далеко.

У Рамили за два года работы выработалась профессиональная привычка, находясь на маршруте, нет-нет да и посматривать, что делается в салоне: не кончились ли билеты, все ли в порядке...

В ту памятную поездку время приближалось к двенадцати ночи. Народу на улицах резко поубавилось, пассажиры схлынули. И тут Рамиля обратила внимание на парня в белой кепке, сидевшего в одном из передних рядов. Пассажир приткнулся головой к промерзшему окну и дремал. «Наверно, пьяный, а такой молодой», — подумала Рамиля. Проехав какое-то время, она снова обернулась в его сторону. Уже сколько людей присаживались к нему и сошли на остановках,

а он все сидел в той же позе. Рамиля заметила на его левой руке дорогие часы с золотым браслетом, рядом лежал портфель. Девушка стала тревожиться за парня. Ведь всякие люди попадают среди пассажиров. За последние годы шпаны стало больше. Они ходят табунами по пять-семь человек, так и норовят к кому бы придраться. Им ничего не стоит снять часы с руки спящего. Тем более что сейчас и время позднее. Долго ехала девушка, тревожась за этого парня, но на одной из остановок не выдержала и вышла в салон, делая вид, что проверяет кассы. Когда проходила обратно, тронула пассажира за плечо.

— Эй, парень, проспал ведь остановку свою!

— Разве? — парень резко вскинул голову, и белая кепка чуть не упала на пол.

Рамиля заметила, что он не пьян, а просто очень устал. Наверно, ехал после работы издалека. В свою очередь пассажир сдержанно и признательно улыбнулся. Парню было лет двадцать пять. Худощавое, продолговатое лицо его, голубые глаза, удивленно полуоткрытые губы выражали добродушие и недоумение. Девушка еще раз обратила внимание на его приветливое лицо. Брови его были темнее выбившейся из-под фуражки шевелюры. Такой контраст показался Рамиле особенно странным. Она улыбнулась и мягкой походкой направилась в свою кабину. Теперь она была спокойна за своего пассажира.

Когда время подходило уже к часу ночи, Рамиля объявила последнюю остановку и на кольце повернула к парку. Девушка почувствовала, как она за день устала. Рамиля знает, что сейчас она поставит свой вагон в парк и на дежурном трамвае отправится в общежитие. А там не исключено, что ждет ее чай с душицей, мед, баурсак...

С такими мыслями Рамиля въехала в ворота парка, тренькая звонком. Она вышла из кабины, поразмяла затекшие ноги и была удивлена: парень в белой кепке все еще сидел в салоне и спокойно дремал. Рамиля и думать забыла про парня, после того как разбудила его, была уверена, что он где-то сошел.

Рамиля растерянно потопталась на месте, не зная, что предпринять. На всякий случай она оглядела парня: вещи его были при нем, часы целы.

Девушка вытащила оставшиеся билеты из касс и

решила сначала разбудить, как она нарекла парня, «Белую кепку» и потом сдать деньги.

— Эй, парень, вставай, небось уже сотый сон до-сматриваешь.

— Что? — спросил спросонья парень.

— Вот тебе и «что»? — Рамиля нарочно разговаривала громко, чтобы их услышали. — Слезай-ка поживее! Небось еще без билета ехал...

— Да... Вроде бы нет... — мямлил пассажир.

— Во, напился! Даже не помнит, брал билет или нет... — Девушка хотела пройти мимо парня, но тот, окончательно проснувшись от последних слов водителя трамвая, встал, снял перчатки, протер глаза и удивленно уставился на Рамилю, как бы соображая, где он находится. И, узнав девушку, рассмеялся:

— Прости, сестричка, ради бога. Уснул, видать, дуралей, крепко. Только ведь... я не напивался, милая. — Парень взглянул на часы и заулыбался, поняв, в каком положении он очутился. — Ладно, все к лучшему, а то не знал, как скоротать время до самолета. Почти двое суток не спал. А завтра на работу... Девушка, а как мне до аэропорта добраться?

Рамиля пытливо смотрела на парня: дескать, не заливает ли? А то есть такие, которые ищут любой повод, лишь бы познакомиться. Но «Белая кепка», похоже, не из тех. Поэтому девушка решила быть к парню поприветливее.

— А куда лететь-то? — спросила Рамиля.

— Куда? Домой, в Казань...

Такой простой и несколько наивный ответ парня даже рассмешил Рамилю.

— Откуда же вы? — продолжала допытываться девушка.

— Из Кумертау. К другу хорошему ездил. Вместе служили в армии, переписываемся. Да вот на днях у него мать умерла, вот я и решил в такое тяжелое время для друга побыть с ним, — разоткровенничался парень.

— Конечно, дороже матери у человека никого нет... — посочувствовала девушка.

Парень в белой кепке собрался уходить, но Рамиля, заметив его нерешительность, сказала:

— Подождите, сейчас я освобожусь. Я помогу вам

быстрее попасть в аэропорт. А то еще проплутаєте всю ночь... Мороз, улицы пустынные.

Парень замялся:

— Неудобно вроде бы...

Девушка будто не расслышала его:

— Как выйдете из ворот, подождите меня!

Когда Рамиля, сдав дневную выручку, оставшиеся билеты, отправилась домой, за воротами ее встретил парень. Он еще раз поблагодарил девушку за любезность, и некоторое время они шли молча. Потом парень вдруг предложил:

— Пора бы, наверно, и познакомиться. Меня зовут Рамзиль...

— Рамиля...— сказала девушка.— Почти тезки!

И после этого они уже говорили без умолку, точно давние знакомые. Рамиля узнала, что Рамзиль живет в общежитии, как и она, работает на заводе. Сам он из деревни, в Казань попал из Актапышского района...

— А чего же так налегке?— спросила девушка.

— Собирался так поспешно, что никого не успел предупредить,— сказал Рамзиль, когда пришли на остановку автобусов, идущих в аэропорт.— Получил телеграмму — и в дорогу.

Рамиля тоже кое-что рассказала о себе. Странное дело, парень вызывал доверие, хотя в нем ничего особенного не было. Девушке просто с ним легко было разговаривать. Душевная открытость Рамзиля, его искренность подкупили девушку, и она не жалела о случайном знакомстве.

Вскоре показался автобус. Рамзиль засуетился, стал извиняться, что отнял у девушки время.

— Спасибо, сестричка, а вдруг еще встретимся,— сказал он с грустной улыбкой.

— Может быть,— неопределенно ответила Рамиля.— Как говорится, гора с горой не сходится...

Парень написал на обрывке газеты свой адрес и вручил его Рамиле, прежде чем войти в автобус.

— Будет настроение, напиши, сестричка!— откровенно попросил Рамзиль и широко улыбнулся.

Девушка ничего не ответила, так была растеряна просьбой понравившегося ей парня.

Случай этот уже успел забыться. Ведь если вдуматься, сколько людей встречаешь каждый день. Но

другой случай заставил вспомнить об этом. Началось все с шутки, баловства.

Прошла зима, наступили чудесные летние дни. За это время Рамиля не написала Рамзилью ни строчки, хотя порою так и подмывало спросить: «Как живешь, «Белая кепка»? Что нового?»

Наступил июль. Гульбикэ и Рамиле не дали отпуск — не хватало водителей. Подруги остались в городе. Поэтому, как только выдавалось свободное время, девушки бежали на пляж. Уфа, как и все города, летом пустеет. Люди уезжают в деревни, на дачи, в дома отдыха, на юг... И лишь немногие продолжают ходить на работу подобно Рамиле и Гульбикэ.

Был выходной день. На пляж подруги пришли с раннего утра, чтобы занять получше место. Девушкам нравится — чтобы и песок был, чтобы и позагорать было можно, и неподалеку чтоб рос тальник, когда хочется полежать в тени — пожалуйста! Только подруги расстелили одеяло и, блаженно зажмурив глаза, подставили свои тела нежарким лучам утреннего солнца, как народ быстро стал заполнять пляж. Вскоре появилась молодежь с волейбольным мячом, с бадминтоном...

И тут неподалеку от подруг расположилась молодая пара: девушке было лет двадцать пять, а парню около тридцати. Они бросили на песок объемные спортивные сумки, девушка кокетливо охнув: «Жарища!» — сняла цветастый сарафан-халат и осталась в голубом купальнике. Рамиля отметила, что, по сравнению с парнем, девушка сильно проигрывает: коротконогая, полновата для своего возраста, а глаза — маленькие и узкие.

«И что он нашел в ней?» — подумала Рамиля. А девушка точно прочитала ее мысли: легла к загоравшему уже другу и начала, повизгивая, целовать его в губы, шею, грудь... Парень поначалу шутливо отталкивал свою подружку, а потом тоже начал целовать ее. Девушка вызывающе посмотрела на своих красивых соседок, мол, что, завидуете, красотки...

Рамиля отвернулась, устыдившись даже за себя и всех девушек, что среди них есть вот такие вульгарные, потерявшие стыд и совесть...

«И чем она только прельстила парня? — снова подумала Рамиля и невольно перевела взгляд на Гуль-

бикэ.— Вот ее подруга, стоит в синем купальнике, притягивая взгляды многих своей статностью, красотой и изящной фигурой. Нежностью и обаятельностью она напоминает издали мраморное изваяние в городском саду...» Рамиля мысленно представила свою подругу на месте большеротой, толстой девушки. «Вот получилась бы чудесная пара!» И тут же подумала: «Интересно, что бы делала эта кикимора, если бы она имела густые и длинные косы, как у Гульбикэ, вразлет брови, большие серые глаза, алые, сочные губы, словно созданные для поцелуев?»

Когда подруга, чему-то улыбаясь, уселась на одеяло, Рамиля обняла ее и восторженно прошептала:

— До чего же ты красивая! Не могу налюбоваться! Куда только смотрят эти парни, если не замечают такой красавицы? — И уже серьезно добавила: — Послушай, подружка, а почему ты не дружишь ни с кем? В самом деле...

Гульбикэ поиграла кончиками кос, улыбнулась печально и, как бы шутя, решила уклониться от ответа:

— Эх, Рамиля, интересная ты! Кто же засмотрится на меня, если я целыми днями кручу руль троллейбуса? Глянь, какие у меня руки? Грубые. Ногти на пальцах короткие от железа и мазута... — Она протянула Рамиле ладони. — Вот посмотри...

Рамиля засмеялась: руки у Гульбикэ были нормальными, пальцы длинные, ногти, хотя и короткие, но ухоженные, покрашены фиолетовым лаком. Подруги громко рассмеялись. Соседи — парень и девушка — перестали целоваться и тискать друг друга. Они недоуменно смотрели на счастливых подруг.

— Фи! — сказала коротышка и снова попыталась обнять своего приятеля. Но тот отвел ее руки и сел, сцепив на коленях пальцы, опустил голову...

Потом вдруг Гульбикэ разоткровенничалась:

— Нет уж, подружка, сгорела раз моя любовь до углей... Видно, теперь и не встречу никого по душе. Понравлюсь кому — он мне чужд. А тот, первый, который нравился, оказался семейным... — Гульбикэ смутилась и махнула рукой. — Да ну, брось, не втягивай меня в такие разговоры, не знаешь, что ли, меня?

Знает Рамиля свою подругу, прекрасно знает. Потому и сидит, размышляет. Хочет сделать ее счастли-

вой, но как? Парней Гульбикэ боится как огня, сторонится их, даже от простой шутки заливается краской или начинает обижаться. К таким ее странностям уже привыкли в общежитии. Из-за такого ее диковатого характера парни предпочитают не попадаться Гульбикэ на глаза, не говоря уже о том, чтобы заикнуться о своих чувствах. Возможно, так оно и бывает, когда сгорают до углей чувства, как говорит сама Гульбикэ.

А Рамиля — прямая противоположность Гульбикэ. Она быстро сходится с людьми, сразу находит общий язык, ее часто провожают ребята после кино, танцев. Случалось, что на вечеринках Рамиля целовалась с понравившимся парнем, потом рассказывала подруге, как млела от чувств. Но все это оказывалось преходящим, мимолетным. Потом сама удивлялась, как она могла целоваться! Видно, настоящая любовь ее еще где-то блуждает.

И вот сейчас на пляже Рамиля вдруг вспомнила встречу в трамвае зимой. И попыталась представить себе Рамзиля, где он сейчас, как выглядит, что делает... Девушка еще раз метнула взгляд на парня, лежащего с толстушкой. Этот — заморыш перед Рамзилем. Он гораздо лучше. Адрес его еще цел. «А что, если написать ему ради потехи? Конечно, для начала надо бы послать ему открытку, поздравить с каким-нибудь праздником. Наверно, он ответил бы, сам же дал адрес, хотя я не просила... А потом... в его голубых глазах была видна симпатия ко мне». Девушка так размечталась, что решилась на откровение.

— Подруженька, Гульбикэ, — с серьезным видом окликнула подругу Рамиля. — Хочешь, с одним хорошим парнем я тебя познакомлю?

Та подняла голову и посмотрела на нее удивленно, пытливо.

— Да ну тебя! — отмахнулась Гульбикэ и снова откинулась на спину, подложив под голову руки.

— Я тебе серьезно говорю....

— Оставь себе.

— У меня же есть... — отшутилась Рамиля и подвинулась ближе к подруге. — Помнишь, я тебе рассказывала про парня из Казани?

— Помню. Ты серьезно, что ли? — Гульбикэ села

и усталилась на подругу.— Тогда попробуй. Чем черт не шутит.

— Я не шучу.— Рамиля встала и испытующе посмотрела на подругу, как бы желая удостовериться, что та не обиделась на ее предложение. И, видя, как у Гульбикэ озорно блеснули глаза, она продолжила:— А ты знаешь, у нас в деревне был такой случай. Как-то наша соседка получила письмо совсем от незнакомого солдата. Тому адрес дали соседи. И пошла между ними переписка. А потом они встретились и поженились.

— Поди ты... В самом деле? — удивилась Гульбикэ.— В наше-то время? Ну куда ни шло во время войны! Быть не может! Что может писать незнакомому человеку молодая девушка?

Обе засмеялись. Гульбикэ находила что-то забавное в этой игре.

Как только вернулись с пляжа и попили чаю, Рамиля достала адрес Рамзиля.

— Вот и напишем ему сейчас, не откладывая! — категорично заявила она и достала из тумбочки чистый лист бумаги, конверт.

Гульбикэ смешалась, зачем-то повертела и так и сяк бумагу и положила на стол, шумно вздохнув, сказала:

— Пиши, раз так загорелась! Мне-то что...

Рамиля не стала долго раздумывать. Она написала, что хочет познакомить его с очень красивой девушкой, своей подругой Гульбикэ, которой она рассказала об их забавной встрече в трамвае.

Гульбикэ вскоре забыла про эту шалость. А Рамиля каждый день ждала ответа из Казани. Когда прошел месяц, она решила, что Рамзиль тоже не дурак, чтобы верить ее словам и затеять переписку с незнакомой девушкой, когда девушек хватало и в Казани.

И тогда Рамиля окончательно потеряла надежду на получение ответа на свое письмо. Но письмо от Рамзиля пришло, адресованное обеим девушкам. Подруги читали письмо с интересом. Оказалось, что обладатель белой кепки был в отпуске и только вышел на работу. По тону письма чувствовалось, что парень был рад весточке от Рамили. Он просил писать ему.

Местами он обращался к Гульбикэ лично, спрашивал, откуда она, кем работает.

Во втором письме Рамиля больше рассказывала о Гульбикэ. На этот раз ответ не заставил себя долго ждать. И что удивительно — Рамзиль прислал свою фотокарточку. На обратной стороне было написано, что она посылается на память обеим девушкам. Рамиля заметила, что парень понравился Гульбикэ. Она долго разглядывала фотографию и положила ее на свою тумбочку. Рамиля была рада за свою подругу и одобрила ее решение продолжать переписываться с этим парнем.

С этого дня зачастили письма в город Казань. В свою очередь Рамзиль тоже писал им красивые, теплые письма и каждый раз просил подруг прислать свои фотографии.

Спустя некоторое время Рамиля и Гульбикэ сфотографировались вместе и послали Рамзилю фотокарточку. На этот раз Гульбикэ сама написала письмо. Прежде чем запечатать конверт, она задумалась и, усмехнувшись, сказала:

— Милая моя сваха, как бы ты не заставила меня море пересечь!¹... — Она уставилась в одну точку, задумалась и вдруг залилась слезами. Плакала она беззвучно, только плечи вздрагивали.

Рамиля растерялась и не знала, что делать. Она впервые видела подругу такой расстроенной. Хотела было она утешить Гульбикэ, но передумала и, решив оставить ее одну, вышла на кухню. «Пусть побудет одна, ей полегче будет. Неужели он так понравился ей?»

А вскоре на имя подруг пришла телеграмма. Рамзиль сообщал, что едет к ним в гости...

Подруги засуетились, начали прибирать комнату, примерять платья. Ведь все вроде бы началось с шутки, а обернулось вон как. Подумав, подруги решили встретить казанца гостеприимно. Прежде всего они поговорили с ребятами и приготовили ему в общежитии место. Не скрывая ревности, парни спросили:

— Кто он такой ваш Рамзиль?

— Гульбикэ двоюродный брат приезжает, — вынуждены были схитрить подруги.

Гульбикэ, которая все время держалась спокойно,

¹ От поговорки: «Сваха-советчик заставит и море пересечь».

вдруг растерялась, когда прибыли в аэропорт. Услышав объявление, что самолет из Казани произвел посадку, ее лицо побледнело, глаза пристально смотрели на подругу.

— Нет, я не могу,— сказала Гульбикэ, возвращаясь к автобусу.— Ты уж одна встречай...

— Ты что! — принялась Рамиля отчитывать подругу.— Взбудоражила человека, в каждом письме твердила о встрече, а теперь в кусты? Эх ты, нюня! Подумай только, с каким трудом отпросились с работы...— И только, пожалуй, последний довод убедил Гульбикэ.

Подруги заняли удобную позицию у входа в зал и стали вглядываться в пассажиров, прибывших из Казани.

— Где он? — шептала Гульбикэ.

— Увижу, скажу. Не трясись, как лист на ветру.

Наконец Рамиля заметила улыбающегося Рамзиля. Парень шагал широко с легким чемоданчиком в руке.

— Вон он идет! — чуть не крикнула Рамиля и сунула подруге цветы.— Иди, встречай!

Пока подруги препирались, Рамзиль подошел к девушкам и, сияя будто солнышко, обнял обеих подруг. Гульбикэ, волнуясь, протянула парню цветы и, совсем засмущавшись, опустила глаза, щеки ее пылали.

— Спасибо! Какие цветы! Мне еще ни разу девушки не дарили цветы! — и он чмокнул Гульбикэ в щечку.

Гульбикэ смутилась, зарделась и не удержалась, чтобы не поддеть парня:

— За цветы вы можете любую девушку поцеловать?

— Вы обиделись? — спросил Рамзиль и шутливо сказал: — Тогда верните мне мой поцелуй обратно..

— Вот еще чего не хватало! — возмутилась искренне Гульбикэ.

Рамзиль и Рамиля расхохотались от такого ответа. К ним присоединилась и смущенная Гульбикэ.

Когда гости устроили в общежитие к ребятам, те не преминули поддеть Гульбикэ:

— Мы и не знали, что ты татарка...

— С чего вы взяли? — не сразу поняла та. Парни в ответ весело загоготали:

— А брат-то твой татарин...

— Но он же двоюродный...

Рамзиль быстро нашел с девушками общий язык. Через день он уже был настолько близким человеком для них, что казалось, они его знают давно. Рамзиль оказался вежливым, предупредительным, с открытым характером и произвел на всех самое благоприятное впечатление. Он не высказывал предпочтения ни к одной из девушек, разговоры вел, неизменно адресуясь к ним обеим. Во всяком случае, так казалось Рамиле, и она под разными предлогами старалась оставлять их наедине. Рамиля видела, что Рамзиль сразу же понравился Гульбикэ и ее подруга чувствовала с ним себя хорошо. Рамиля не могла нарадоваться за Гульбикэ и старалась не быть помехой для нее. В таких случаях Рамзиль как-то ловко, без обиды для Гульбикэ, подхватывал под руку и Рамилю и говорил:

— Как хорошо, девчата, что я приехал к вам!

Большой ли срок — два дня? Они удивительно быстро пролетели.

Подруги и их гость почти не спали. Девушки знакомили Рамзиля со всеми достопримечательностями города. Придя усталые вечером в общежитие, они до полуночи разговаривали о Гафури, Тукае, современных башкирских и татарских писателях, певцах, оперных и драматических артистах.

И вот наступил день, когда девушкам надо было выходить на работу, а Рамзилю возвращаться в Казань. На вокзале они тепло попрощались. Рамзиль до того осмелел, что даже поцеловал обеих девушек в щечки и обещал по приезде в Казань написать письмо. А когда поезд тронулся, Гульбикэ была очень взволнована и, казалось, готова была вот-вот расплакаться.

Прошла неделя, другая, а Рамзиль как в воду канул. Молчание Рамзиля особенно остро переживала Гульбикэ. Поначалу она как бы не придавала значения случившемуся. Как будто Рамзиль не приезжал и не было у них душевных бесед. Но однажды вечером Гульбикэ сказала в сердцах:

— Эх, сваха, видишь, как получилось? Парни, они все такие. Девушки попадают к им на каждом шагу. Ты думаешь таких, как мы, мало? Помнишь, как он

захлебывался, рассказывая про озеро Кабан, о Лебязьем озере, как они там с компаниями проводят время.

Рамиля не нашла ничего лучшего, как обратить все в шутку:

— Ладно, не расстраивайся, подружка, парни в Уфе тоже не перевелись. Наши, если хорошенько оценить, то даже лучше. Просто мы привыкли к ним. А может, мы не понравились ему? Брось, не принимай все близко к сердцу... Оно и к лучшему, когда вот такие, как Рамзиль, вовремя перестают морочить голову...

После того разговора прошло уже несколько месяцев. Пролетело лето, отшелестела листьями осень, наступила зима. А Рамзиль все молчал. Гульбикэ уже перестала интересоваться, есть им письма или нет. О Рамзиле даже не вспоминали, будто он и не приезжал, будто он вовсе не существует. Рамиля, правда, несколько раз порывалась сама написать Рамзилю и высказать ему всю обиду за подругу, но всякий раз девушка откладывала ручку и с сочувствием смотрела на Гульбикэ.

И вот сегодня, когда уже прошло почти полгода, пришло письмо от Рамзиля. Теперь понятно, почему Гульбикэ волновалась, когда сообщила о письме ей по телефону. Только странно, почему письмо адресовано лично ей, а не Гульбикэ? А может, Рамзиль почувствовал себя виноватым, вот и решил действовать теперь через нее — замаливать свою вину таким образом.

Рамиля ведет свой трамвай внимательно, но мысль о письме не покидает ее, она никак не может отвлечься от этого. Она даже надеется, что Гульбикэ ее встретит на какой-нибудь остановке и передаст ей письмо.

То ли подруга прочла ее мысли, но, подъезжая к остановке напротив общежития, она увидела Гульбикэ. Подруга улыбалась ей издали.

Забравшись в кабину трамвая, Гульбикэ достала из кармана письмо и нервно подала подруге. Рамиля почему-то покраснела и торопливо, разорвав конверт, принялась читать. Письмо было написано на нескольких тетрадных листках. Гульбикэ тоже стала пробежать глазами уже знакомый почерк...

«...Дорогая Рамиля, прости за долгое молчание. Я уже решил было совсем не писать. Гульбикэ чудесная девушка, красивая, и мне не хотелось бы ее огорчать. Но пусть она простит меня. Я, может быть, выгляжу смешным, говоря эти слова. Однако мои чувства принадлежат тебе... Я люблю тебя!»

Письмо выскользнуло из рук Рамили. Она не слышала, как пассажиры громко возмущались:

— Вы что, заснули там? Не нашли другого места для болтовни!

Трамвай тронулся с остановки словно нехотя...

ЧЕЛОВЕК ЖИВ НАДЕЖДОЙ

Гульсибэр-инэй расстелила белоснежную, с цветочками по углам скатерть на сакэ¹, убранному по-старинному (поверх войлочной кошмы постелен ковер, в углу горкой возвышаются подушки, вдоль стены лежит свернутое одеяло), расставила всю имеющуюся чайную посуду, выставила мед, пастилу из черной смородины... До блеска вычищенный латунный самовар пыхтел на таком же сияющем подносе на краю сакэ. Протянув ноги, Гульсибэр-инэй сидела посередине сакэ и неторопливо пила чай. Все в мелких морщинках, лицо хозяйки излучало довольствие и благожелательность. Она точно ждала гостей, и те должны были прийти непременно. Блюдца с чашечками были расставлены вокруг гордо возвышавшегося самовара так, что, зайдя сейчас три-четыре человека,— каждому найдется уютное место.

Старушка шумно тянула чай из блюда, ловко поддерживаемого кончиками пальцев, проницательные живые глаза были устремлены на чайную посуду, точно они видели гостей, которые сидят рядом и так же с аппетитом пьют чай, заваренный на душице. Гульсибэр-инэй аккуратненько возьмет кончиком чайной ложки мед, положит в рот кусочек кислого курута и, чуть прикрыв глаза, с упоением пьет чай. Иногда она, хихикнув своим мыслям, улыбается, будто разговаривает с фырчащим самоваром или с не-

¹ Сакэ — лежанка в виде сплошных пар,

видимым дорогим гостем, для которого она приготовила такой вкусный и богатый чай. И вдруг хозяйка и вправду обратилась к самовару:

— Ой, мамоньки мои, я ж совсем запамятовала! Надо же такому случиться! — и она, поставив на сакэ блюдец с недопитым чаем, засемила на кухню — к большой русской печи за дощатой перегородкой. Вскоре она вернулась, осторожно неся перед собою обгорелую по краям дощечку, а на ней сковороду с горкой румяных блинов, аппетитно поблескивающих масляными звездочками. Старушка поставила блины возле вазочки с топленным маслом, оглядела все и, видать, осталась довольной. Тут подбежал пушистый белый кот и, урча, стал тереться о ноги своей хозяйки.

— Учужал, милый... Угощу, угощу, — улыбнулась старушка и положила перед мурлыкающим котом на пол целый блин. — Ешь, из просяной муки! Всем блинам блин!

Гульсибэр-инэй явно не спешила садиться на сакэ и продолжать чаепитие. Она облизала замасленные пальцы, потерла руки, потом, сняв с головы белый, в горошек, платок, помазала маслом седые волосы и стала всматриваться в свое отражение в медном самоваре. Даже провела пальцами по морщинистым щекам, покрутила головой, вздохнула и медленно села на прежнее место.

Остывший чай она слила в пустую чашку и нацедила из самовара свежий крутой кипяток, подчеркнула пахучей заваркой.

Маленькие оконца, похожие на бойницы, слабо пропускали лучи апрельского солнца. Но их света было вполне достаточно, чтобы кроваво-красные герани в горшках на подоконниках заискрились рубинами.

Вторые рамы были уже сняты, и со двора звонко доносилось блеяние двух козлят, их копытца выбивали по доскам завалинки дробь. Лицо хозяйки снова озарилось улыбкой — она всегда сравнивала игру козлят с шумливой возней детворы. И тут же из-под навеса донесся богатырский крик петуха и захлопали его мощные крылья, точно он готов был взлететь высоко-высоко... «Весна пробудила жизнь», — шептали губы хозяйки. Она так была увлечена слушанием

«разговора» своей немногочисленной живности, что стук в окно оказался для нее настолько неожиданным, что она вздрогнула. Стучали с улицы. У завалинки стояла почтальонша Явхария, красивая женщина лет тридцати. Гульсибэр-инэй засеменила к окну, приоткрыла створку. Мелькнула радостная догадка: «Письмо!»

— Здравствуй, Гульсибэр-инэй! — первой поздоровалась почтальонша. — Как поживаешь?

Хозяйка прикрыла краешком платка рот, чтобы не так заметны были хоть и крепкие, но редкие зубы, улыбнулась:

— Спасибо, дочка, пока аллаху не жалуюсь на здоровье. Заходи. Чего стоишь на улице? Чайку попьем. Не зря же в народе говорят, что добрый человек всегда приходит к застолью. Блины из просяной муки горяченькие... Теперь у молодых не хватает терпения печь блины, да и времени у вас в обрез, все спешите куда-то, спешите... А когда тебе семьдесят, спешить уж некуда...

Явхария знает старушку с детства, но никогда она не думала, что ей за семьдесят. Молодые глаза, всегда приветливая улыбка, никогда не брюзжащая и не жалующаяся на жизнь Гульсибэр-инэй выглядела, как казалось молодой женщине, моложе своих лет. Но это было не так. Если бы она была более внимательной, то заметила бы, как время ссутулило ее когда-то стройный стан, натруженные руки перевиты синими венами так, что кажутся мужскими, да и ходит-то она не шустро, а волочит больные ноги...

— Не могу, Гульсибэр-инэй, много надо еще разнести, — и молодая женщина поставила на завалинку тяжелую черную сумку, вынула из бокового карманчика бумажку и подала нетерпеливо ожидавшей старушке.

Пока хозяйка с радостным видом разглядывала бумажку, Явхария притянула к носу стебелек герани и восторженно сказала:

— И-и, как это ты выращиваешь такую красоту?! Миленькие мои, до чего же вы прекрасны! — от умиления у почтальонши появились на глазах слезы. — Твой Уметбай¹ прислал гостинцы через знакомого, — не поднимая головы, говорила Явхария. — Кажется,

¹ У м е т б а й — дословно: богат надеждой.

парня Биктимером звать. Да в записке председатель все написал. Он ждет тебя в сельсовете.

— Какие гостинцы? Какой парень? — до конца не понимая, о чем идет речь, спросила старушка. — Уметбай же всегда домой присылал...

— Бери, Гульсибэр-инэй, самую большую сумку и скорее иди в сельсовет, — пыталась перейти на шутку почтальонша.

— Успеешь, разнесешь свои письма, зайди, доченька, попьем чай, — продолжала зазывать хозяйка в приподнятом настроении. — Не зря сегодня кошка с утра моется. Говорила, к гостям, так и случилось.

— Инэй, лучше я потом как-нибудь зайду. Может, этот Биктимер еще и письмо привез. Вот и читаем вместе...

— Тогда ладно, доченька. Заходи потом, — согласилась хозяйка и уловила на лице молодой женщины тень смущения.

Явхария подняла сумку и пошла, больше ничего не сказав. Гульсибэр-инэй высунулась в окно и посмотрела ей вслед. Она и раньше чувствовала, что Явхария равнодушна к ее Уметбаю. Всякий раз, когда заходил разговор о ее приемном сыне, женщина краснела, смущалась. А сегодня вдруг сама предложила прочитать письмо, если парень привез. Старушка знала, что в молодости она вроде дружила с Уметбаем: вместе ходили на игрища, на танцы, в кино... Но большего вроде никто ничего не замечал. Даже переписывались, когда Уметбая призывали в армию. А недавно она вышла замуж, и говорят, что она ждет ребенка... В деревне о каждом человеке знают все: что нужно и не нужно.

И все же после последних слов Явхарии у старушки остался на душе какой-то нехороший осадок. Конечно, она не знает, почему Явхария не дождалась Уметбая, какая кошка перешла им дорогу, кто из них двоих виноват?! Гульсибэр-инэй знает, что Явхария девушка была степенная, блюла девичью честь, уважала родителей и могла красотой потягаться с городскими... Честно говоря, она мечтала о такой невестке...

Вдруг хозяйка всплеснула руками, наскоро надела на белые шерстяные носки остроносые узбекские калоши и выскочила на улицу.

— Явхария! Яв-ха-рия! — крикнула она вслед удаляющейся женщине. — Повремени-ка! Слушая тебя, совсем забыла спросить, чего же этот Биктимер сразу не заехал ко мне?

— Простынете! Чего же так выскочили? Разве лето! — обернувшись, упрекнула молодая женщина. — Возвращайтесь в избу!

— Может, посчитал дом одинокой старушки никчемным? Может, пойдешь к нему и позовешь? Где он еще отведаёт таких блинов, как у меня?

— Я говорила ему, чтоб он заехал к тебе, но он сказал, что торопится, говорит, проездом. Говорит, будет суждено, как-нибудь приедет с Уметбаем. Он на такси из города приехал... Сейчас машина ждет, а денюжки нащелкивает...

— Она ж стоит! — удивилась старушка.

— Стоит, а деньги все равно плати, только чуть поменьше...

— Рядом же, всего ничего, ну как же он не мог доехать? Посмотрел бы, как я живу, потом рассказывал Уметбаю.

— Дорога ж видишь какая? Развезло. Вдруг бы он тут застрял, как тогда? Да тебе, Гульсибэр-инэй, пройтись ничего не стоит. Все ж человек издалека приехал, гостинцы от сына привез, — уговаривала молодая женщина. — И за это надо уважить человека.

— Я понимаю. Конечно, и председатель, и он — люди занятые, им есть о чем поговорить...

Когда Явхария ушла, старушка вернулась в избу и стала рассматривать председательскую бумажку, в которой он просил ее прийти побыстрее и забрать гостинцы, присланные Уметбаем. «Интересно, что же прислал ей сын?» — подумала старушка и вспомнила, как он присылал посылки с лимонами, апельсинами, индийским чаем, дорогие конфеты... После получения таких посылок Гульсибэр-инэй всегда созывала гостей — таких же старух, соседок, подруг молодости. Конфеты и другие сладости обычно раздавала детворе, которые частенько приходили к ней помочь убраться по хозяйству, напилить дров, прополоть огород. Хотя хозяйка была дома одна, однако она, погладив скатерть, обратилась к самовару как к живому существу:

— Вот мой Уметбай прислал через своего друга

гостинец, не забывает.— Затем она прикрыла сковороду тарелкой, чтоб блины не остыли, и поставила на шесток, прикрыла свежим полотенцем все, что было на скатерти, и по привычке провела ладонями по лицу — благодарила бога за хлеб, жизнь и радость, которую он ниспослал ей сегодня.

Нет, старушка не была верующей, не делала намазов, не соблюдала уразу — великий пост, но неизвестно почему нет-нет да и обращалась к богу, даже в молодые годы, когда грохотала война, она перед сном всегда просила всевышнего, чтобы он принес смерть Гитлеру, сохранил жизнь ее мужу, всем советским солдатам. Но бог почему-то не внял ее просьбам. Хоть бог и не сохранил жизнь ее Габдулхаю и многим соседям, однако из уст он не выпадает. А вот Советская власть, она точно знает, в обиду ее не дает. Особенно это она прочувствовала на себе после войны, в тяжкие голодные годы, и теперь, когда ушла на пенсию. Советская власть и дрова ей привезет как ветерану колхоза, и огород вспашет, и комбикормами поможет, и в праздники поздравить не забывает, да еще подарочек пришлет. А что надо пожилому одинокому человеку? Внимание!

Гульсибэр-инэй взяла стоявшую в углу кривую, отшлифованную временем и руками ореховую палку и, прикрыв дверь на щеколду, вышла на улицу. Апрельское солнце уже палило нещадно, выжимая из сырой земли запахи прелых листьев, свежесть прорастающих на прогалинах трав, арбузный запах не растаявших снегов в канавах, оврагах... Но сейчас ей нскогда было любоваться весенней красотой. Она спешила в сельсовет. Конечно, жаль, что Уметбай сам не приехал, но спасибо за гостинец — не забыл! А ведь он не родной ее сын, хотя она и зовет его сыночек. Уметбай — сын ее покойной сестры и с пяти лет рос у нее. Своих-то бог не дал: с Габдулхаем они поженились накануне начала войны.

Приближаясь к сельсовету, старушка вспомнила Явхарию и подумала, может, она получила письмо от Уметбая и пока ничего ей не говорит, хочет насладиться письмом наедине, а уж потом после работы почтает и ей — старой Гульсибэр-инэй. Наверное, так оно и лучше... Не может же молодая женщина, да еще замужем, вот так открыто говорить о своих

чувствах к другу юности, который, правда, пока еще не женатый. А что Явхария любит ее Уметбая, в этом нет никакого сомнения. Стоит вспомнить, как она провожала его в армию! Никто из девушек не поехал в город со своим возлюбленным, а Явхария поехала! Да и она — Гульсибэр-инэй проводила своего приемного сына (не поворачивается язык так называть Уметбая!) до большой дороги, куда выходила их деревенская, с глубокой колеей, наезженной телегами и машинами, дорога. До сумерек она просидела на этом перекрестке: точно так же в сорок первом провожала своего Габдулхая. Тогда рядом была сестра и нашептывала, что все будет хорошо, вернется солдат... Потом на этом же перекрестке расстались с мужем сестры — отцом Уметбая... Перекресток этот стал роковым для Гульсибэр-инэй. Вот и Уметбай как ушел в армию, так и до сих пор не появлялся в деревне, пишет (с большими перерывами), что после демобилизации поехал на север Тюменской области, работает нефтяником и пока никак не может выбраться в родные края: работы много, планы, длительные командировки... И в конце всегда шутит: «Мамочка, а жениться непременно приеду в родную деревню и увезу самую красивую девушку...» Она уж не написала, что его Явхария совсем недавно вышла замуж... А ведь вся деревня говорила, что девушка ждет Уметбая...

Гульсибэр-инэй неспешно шагает по грязной улице, с бочажками луж, в которых шумно купаются гуси, обходит их и улыбается своим мыслям. Каждому встречному радостно говорит:

— Мой Уметбай гостинец прислал со своим товарищем. Он у председателя Советской власти. Меня ждет. На такси приехал из самого города! Во какой друг у сына! — И уж от себя добавляет: — Обещал ближе к осени непременно приехать. Говорит, соскучился.

Селяне охотно слушают старушку и, не скрывая своей радости, одобряют поступок Уметбая.

— Говорят, молодежь не внимательна к старикам, а твой-то вон какой. Посылку через товарища посылает!

— Всякая молодежь бывает во все времена. И в наше время никчемных было вдосталь... И теперича

встречаются,— отвечает Гульсибэр-инэй, но в душе довольна, что люди так хорошо говорят о ее сыне.

— Долгую жизнь твоему Уметбаю! Поклон от нас передай...

— Как же, передам и скажу, встретились на улице, рядом гуси плавали... Ох и любил он по весне босиком по лужам бегать! На ногах цыпки, а я вечерами их гусиным жиром смазывала... Потешный был.

А день сегодня удался как по заказу! На пригорках, где снег уже растаял и обнажилась земля, проклюнулись зеленые стрелки молодой травы. Они настолько ярки и чисты, что кажется, тронь пальцем, зеленый сок так и брызнет во все стороны.

В подворьях, на полянках гогочут гуси и, вытянув длинные серые шеи, что-то лопочут на своем гусином языке. Есть, оказывается, и среди птиц и говорливые и молчаливые. У каждого свой характер. А могучие гусаки расправляют крылья, громко хлопают ими, головы держат высоко, гордо и ревниво оберегают свой гарем от чужих.

Скрипучий посвист скворцов, чирикание разбушевавшихся воробьев, которые купаются в лужах не хуже водоплавающих птиц, татаkanie на заборах сорок, оглушительная переключка за околицей грачей создают такую симфонию звуков, от которой у человека становится непроизвольно радостно на душе. Это жизнь! Это весна набирает силу, просыпается все живое!

На взгорках небольшими табунками пасутся козы с козлятами, овцы с ягнятами. Малыши так разыгрались, что не замечают лежащих на солнцепеке собак, недовольно ворчащих на них.

У журчащих ручейков мальчишки пускают бумажные кораблики, некоторые в резиновых сапогах бегут по лужам наперегонки, поднимая фонтаны брызг в сиянии множества небольших радуг.

«Что же мог прислать Уметбай? — опять невольно подумала старушка.— Если бы посылка была маленькая, то Явхария и сама бы принесла. Значит, гостинец большой и дорогой. А может, этот самый Биктимер хочет на словах что-то передать ей? На самом деле, какой же Уметбай внимательный, чуткий сын... Лучше б было, если бы сам приехал. Ведь она не

видела его уже лет семь-восемь... Много. Спасибо, хоть пишет...» И опять старушка вспомнила, какой был слабенький в детстве Уметбай, как любил помогать старшим в работе, какой был услужливый, добрый... Оставшись без матери, мальчонка долгое время был неразговорчивым, замкнутым, забивался куда-нибудь в угол и часами мог сидеть молча. Был терпелив и никогда не жаловался, если кто-нибудь делал ему больно. Даже голодные послевоенные годы мальчишка перенес мужественно и никогда не канючил. Ходил с названной матерью собирать колоски после таяния снегов... Молча, без слезинки убегал от объездчиков, которые непонятно почему гоняли их, не разрешали собирать утеранный хлеб. А когда выпадал «сытный» день (Гульсибэр-инэй пекла лепешки из картошки, собранной после таяния снегов на полях), Уметбай уплетал серые лепешки и нахваливал: «Вкусней, наверное, инэй, на свете ничего нет!» От такого питания и рос мальчонка худой, и жилки на висках и руках были чернильно-синие, и казалось, вот-вот лопнут.

За думами старушка незаметно для себя подошла и к сельсовету. Возле крыльца она увидела оранжевую легковую машину с темными квадратами по бокам. Поняла — это такси, на котором приехал друг сына. И непонятно почему екнуло сердце, запылали щеки, точно предстояла встреча с Уметбаем. Гульсибэр-инэй тщательно выскребла калоши о набитые на крыльце железки, вытерла тряпкой, намотанной на палку, и только потом вошла в сельсовет. Председатель поначалу, как ей показалось, смутился, но тут же, встав из-за стола, улыбнулся и поздоровался.

— Вот, Гульсибэр-инэй, этот человек, зовут его Биктимер, приехал издалека от твоего сына... Гостинцы привез... — и он кивнул в сторону крепко сложенного, черноволосого, одногодка, наверно, Уметбая, мужчину, одетого в дорогой костюм.

— Догадалась, догадалась,— смущенно улыбаясь, ответила старушка и подошла к приезжему.

Тот встал навстречу и обнял растерявшуюся женщину, поцеловал ее в щеки, склонил голову ей на плечо.

— Здравствуй, сынок, здравствуй! Как доехал? Приехал бы прямо ко мне... — старушка улыбалась.

— Думал так и поступить, но по вашим улицам надо на вездеходах ездить, а такси — даже не осмеливается...

— Что верно, сынок, то верно. Улица такой была и при Уметбае. Передай ему.

— Обязательно передам, Гульсибэр-инэй... — и широкие брови приезжего сошлись на переносице, а иссиня черные глаза помрачнели. Он на миг умолк и только потом сказал: — Вот, оказывается, вы какая!

— Обыкновенная, сынок, обыкновенная.

Председатель сельсовета нервно ходил по небольшому кабинету и грыз ноготь большого пальца на левой руке. Старушка знала, что когда председатель вел себя так, это значило, что он чем-то недоволен. «Может, он сердится за мою медлительность? — подумала она. — Или он недоволен моим сыном, что он заставил приехать к нам, в такую даль, незнакомо-го человека?» Но эти тревожные мысли улетучились, как только Биктимер усадил ее рядом с собой на диван и стал торопливо и сбивчиво рассказывать про Уметбая...

Приезжий говорил, какой Уметбай большой и сильный парень, какой он верный друг, как его уважают в бригаде и как он любит рассказывать о Башкирии, своей деревне, соседях... И тут старушка не сдержалась и расплакалась, прикинув к груди Биктимера.

— Смотрю на тебя, а будто вижу родного Уметбая, — шептала Гульсибэр-инэй, похлопывая парня по широкой спине.

— Мы ж с ним друзья, может, поэтому... Вот он гостинцы прислал, самому некогда, огромный привет передавал и жаловался, почему долго не было ответа на последнее письмо...

— Ой, и то верно, — махнула легкими, как бабочки, ладонями старушка и прикрыла губы уголком платка. — Некогда было. Так и скажи, мол, маме некогда было. Коза должна была ягниться, а я ждала, думаю, отпишу сколько ягнят принесла, каких... Вот и затянула. Пусть уж не обижается он.

— И какой же масти козлята? — спросил Биктимер.

— Такие славненькие! Один белый — в мать, а

другой пестрый и такой вредный, страсть как! Ты уж обсуди ему...

— Обязательно...

В дверях показалась Явхария.

— Ой-бай! Вы уж совсем стали близкими! Говорила я тебе, спеши к председателю! — трудно было понять, так весело говорит молодая женщина искренне или притворяясь.

Неестественность ее выражения уловила и старушка. Она вытерла слезы радости, отстранилась от Биктимера и вопрошающе взглянула на председателя, потом перевела взгляд на Явhariю.

— За тобой пришла, Гульсибэр-инэй, — продолжала молодая женщина. — Думаю, говорили, гостинцев много сын прислал, дай-ка помогу донести до дому.

— А кто это? Как ее звать? — поинтересовался Биктимер.

— О-о-о! Это наша Явхария! Она росла вместе с Уметбаем, — подсказала старушка, нежно поглядывая на молодую женщину.

— Значит, тогда Уметбай вам привет передавал и часто рассказывал мне о вас, — обрадовался парень и стал доставать из объемного свертка гостинцы. — Вот пальто для весны и осени... Говорит, ей уже семьдесят исполнилось, так что нужно теплое и легкое. Ну-ка, примерьте...

— Что ты, сынок, опосля, — сияя, старушка прижала подарок к груди. — Вижу — в самый раз... Помнит, значит, мой день рождения. Спасибо ему.

Биктимер продолжал доставать из свертка апельсины, пачки индийского чая, отрезки, а сам продолжал рассказывать про Уметбая, как они познакомились в армии, спали рядом, были в одном отделении, после демобилизации решили поехать на Север, где нужны были водители, там же они научились добывать нефть...

— Вот ты же выбрал время приехать, — перебила Гульсибэр-инэй.

— Уметбай уехал в долгую командировку в Африку... Уехал неожиданно, успел только передать подарки, — ответил парень и потемнел лицом.

— Гульсибэр-инэй, сын-то не забыл прислать и черный перец! — подала голос почтальонша.

— Неужели? — обрадовалась, как ребенок, ста-

рушка.— Помнит, родной, что мать любит варить лапшу с черным перцем. Какой же он внимательный. Дай-то, аллах, ему здоровья и сохрани от всяких напастей. Земля чужая, неизведанная... Председатель, чего ты, как старый ворон, молчишь, все крутишься возле да рядом? Али непорядок в хозяйстве?

— Всякое бывает в нашем деле, Гульсибэр-инэй,— буркнул председатель.

— Оно, конечно, у больших людей всегда забот больше, понимаю... Сыночек, а может, Уметбай письмо передал? — внезапно спросила она Биктимера.

— Все дни говорил, напишу, и вот не успел... Я ведь тоже проездом — в Баку спешу... — И деланно рассмеялся: — Нынче молодые все торопятся, суетятся... Вон опять спешу,— он кивнул на окно, за которым виднелась оранжевая машина.

— Верно, торопитесь,— согласилась старушка печально.— А куда?

— В июле я бы мог приехать к вам, можно? — бодро продолжал парень.— Я ведь тоже из Башкирии, родители живут в Уфе.

— Вон как! — изумилась Явхария и сказала старушке: — Чего молчишь, Гульсибэр-инэй? Скажи — приезжай, у тебя же в избе крыша прохудилась, вот и отремонтирует он.

— Да-да, я знаю плотницкое дело, в Сибири всему научился.— И обратился к председателю сельсовета: — Может, разрешите и сена для коз подкормить?

— Председатель разрешит, слава аллаху, он человек чуткий, да и крышу поправит.

Оживленный разговор внезапно был прерван сигналом такси.

— Пора, мамаша, видишь, напоминает,— сказал Биктимер.

— Слышу-слышу... Значит, уже едешь? И чаю не попил, блинов не отпробовал... Уметбай очень любит блины из просяной муки.

— Попью еще, мать, попою,— Биктимер быстро попрощался и покинул сельсовет.

Все вышли за ним. По сердитому выражению лица таксиста было видно, что он очень недоволен.

— Все нормально, шеф. Простой оплачу,— успокоил Биктимер.

Когда машина уже тронулась, Гульсибэр-инэй всплеснула руками:

— Ой, гостинец Уметбаю забыла! Явхария, милая, сбегай в кабинет председателя, там сверточек в белой тряпице...

Пока молодая женщина бегала в кабинет, председатель окликнул машину, и та остановилась.

— Ну что еще там? — недовольно буркнул шофер.

Подбежала Явхария и сунула в окно сверток.

— Сушенная пастила из калины. Ее очень любил Уметбай,— запыхавшись, говорила женщина и тут же, волнуясь, боясь, что машина может уйти, спросила: — Скажи, Биктимер, честно, что с Уметбаем? Я сердцем чувствую, что ты сказал не всю правду... По твоим глазам вижу. Пойми, я ведь его люблю, до сих пор люблю... Из армии я получала от него письма. Когда он уехал на Север, они перестали приходить. Что с ним? Женился он? Но он не такой, он бы написал... Я ждала его больше трех лет... Без одного письма, маленькой записки... Прошу, скажи правду. И вот полтора года назад вышла за нелюбимого... Разве я в чем виновата?

— Извини, шеф, видишь, как все круто замешено. Я выйду на минутку.— Биктимер оторвал кусок пастилы и сунул его в рот. Вышел из машины.— Да, без привычки горьковата.— И строго спросил женщину: — Его матери ничего не скажешь?

— Нет,— едва промолвила дрожащими губами Явхария.

— Тогда слушай. Я верю.

— Когда перестали вы получать от него письма, его уже не было в живых.— Биктимер тяжело вздохнул.— А Гульсибэр-инэй письма вместо него писал я, старался подделать почерк, потом написал, что руку повредил... Мы были неразлучными друзьями. Уметбай рассказывал, как он любит Гульсибэр-инэй, как любит тебя, вернувшись, собирался жениться. Я уже говорил, что после службы мы поехали по комсомольской путевке на Север, там окончили курсы бурильщиков. Однажды случилась большая авария. Уметбай обгорел сильно... Умирал тяжело... До последней минуты боролся за жизнь, верил... О своей смерти не велел писать ни тебе, ни матери... Эти годы послышки посылал я, письма писал я, а деньги посылала

вся бригада. Ребята очень уважали его. А Уметбай очень любил тебя, очень. До последней минуты жизни он называл твое имя... Вот так вот, сестричка. Прошу, матери ни слова.

Явхария стояла бледная и не могла произнести ни одного слова после того, что услышала. Застывшее лицо выражало безмерное страдание.

Биктимер взял ее за руку и сказал:

— Крепитесь надо. Я обо всем рассказал председателю. Договорился приехать летом и остаться у вас. Тогда вот я сам как-нибудь обо всем и расскажу Гульсибэр-инэй. Надо подготовить. А сейчас — нельзя. Эта весть убьет ее. Ты же знаешь, человек жив надеждой.

В это время над деревней пролетели дикие гуси. Их крик был печально-радостный.

— Из теплых краев домой вернулись... — сказала Явхария.

СЧАСТЬЕ ПРИХОДИТ ПЕШКОМ

В Большом светлом зале Дворца бракосочетания хрустальные люстры не зажжены. Поэтому и краеная ковровая дорожка, гасящая шум шагов, и большие картины на стенах, и комнатные цветы в ярких горшках на низеньких резных скамейках кажутся серыми. А хрустальные бокалы на полированном, как зеркало, столе отливают холодным равнодушием.

Несмотря на то что только-только перевалило за полдень, весь мир за окном уже погрузился в грустные предвечерние сумерки. Сквозь огромные окна, через которые свободно мог бы пройти грузовик, едва пробивался серенький свет и с улицы доносился злой вой ветра. Буран неистовствует вот уже третий день, и парадные двери Дворца бракосочетания тоже три дня ни перед кем не открываются.

Первые два дня дворники очищали площадь перед Дворцом от снега, надеясь, что какая-нибудь машина да приедет с женихом и невестой. Но видно, ни одна машина, наряженная лентами, с куклой на ка-

поте и огромными переплетенными кольцами на крыше, так и не появилась на площади. На третий день дворники уже не убирали снег, махнули на все рукой — буран не перестанет, новобрачные в такую погоду не осмелятся покинуть уютные квартиры. Хороший хозяин, как говорят русские, в такую погоду собаку не выпустит. Вон какие замысловатые росписи оставил мороз на стеклах окон, буран намел сугробы, что только под силу могучим снегоочистительным машинам.

Дворец бракосочетания держит связь с внешним миром только по телефону. Звонят из разных концов города взволнованные родители:

— Сегодня подошла очередь наших молодоженов... Вот и сидим в замешательстве... Что делать? Что делать? Надо же такой погоде выдаться!

— Ничего страшного, можете перенести на следующий день, — успокаивает их Хадия, красивая сорокалетняя женщина, отвечающая за регистрацию новобрачных.

— День-то ведь какой, на всю жизнь должен остаться в памяти...

Другие родители уже навеселе и сами успокаивают работников Дворца бракосочетания:

— Гости пришли, машины ждут у подъезда, так что пока придется провести свадебное застолье, а уж там видно будет. — И совсем уж неожиданно успокаивали Хадия, которая вся извелась, что погода нарушила все планы. — Вы там не беспокойтесь, успеют еще, распишутся...

Но были и тревожные звонки. Озабоченные родители говорили:

— Что же делать? Жених поехал в соседний город за подарками, а его все еще нет.

— Ничего, приедет, буран же, — успокаивала Хадия, а сама расстраивалась еще больше. Ведь новобрачные приедут завтра или послезавтра, получится сбой графика, нарушится очередность, выработанный ритм даст осечку, а это испортит настроение новобрачным, исчезнет торжественность ритуала.

Отпустив всех работников Дворца еще до обеда, Хадия сейчас чувствовала себя одиноко — в огромном помещении никого! Даже ее ответы по телефону раздавались эхом по залам, как в горах. Телефонные

разговоры немного, конечно, успокаивали женщину, и всякий раз она делала пометки в регистрационном журнале: «Эти не придут. Те, наверно, завтра нагрянут без предупреждения...» И тут Хадия остановила свое внимание на фамилии, перед которой стоял вопросительный знак. «Почему же они не звонят? Ведь они живут на окраине города. Оттуда и в хорошую-то погоду добираться сюда — проблема!» Женщина вспомнила, что в этом новом районе нет пока асфальтированной дороги, туда не ходят автобусы, троллейбусы... «Может, передумали молодые? Или добираются каким-нибудь транспортом? Но приближается конец работы. А если я уйду, а они придут?» И женщина представила, как будут разочарованы молодожены, первые шаги супружеской жизни будут омрачены! Настроение у Хадии испортилось начисто. Она подняла голову и в какой уж раз устремила взгляд в окно. Казалось, буран разбушевался еще сильнее и теперь открыто насмехается над человеческим бессилием и радуется, что нарушен отлаженный ритм работы Дворца бракосочетания и молодожены не испытают миг торжественного мгновения... И вдруг буран человеческим голосом с хрипотцой изрек:

— Почему, сестричка, грустим? Что случилось?

Хадия не сразу поняла, что это говорит живой человек — вахтер старик Салахетдин. Женщина встрепенулась, обернулась и, смущенно улыбаясь, произнесла:

— А-а! Это вы, Салахетдин-агай! Да вот задумалась... Видите, за весь день ни одной пары...

— Э-э-э! Пустым делом, сестричка, заняты... Какая может быть работа в такую погоду? — Старик неловко переступил с ноги на ногу, как бы извиняясь за свои слова, — как он мог так сказать ответственному работнику, который практически решает судьбы молодых семей. В пору его молодости такие серьезные вопросы решали муллы, к которым и подступиться-то в такие минуты было страшно. Человек наводил мост между самим аллахом и молодой семьей! — Шла бы домой, доченька. Все равно... — старик не договорил и, потупив взор, замолчал.

Хадия и вахтер, как сговорившись, взглянули на красивые часы над дверью. Круглые деревянные часы чем-то напоминали солнце и, наверно, каждому

говорили, что дороже времени у человека ничего не может быть. Время — это жизнь, и прожить ее надо молодым в любви и согласии.

— Позже, возможно, и дома своего не найдете, — нарушил молчание старик. Откашлялся и добавил: — Пошли бы лучше домой. — Видя, что Хадия все еще молчит, Салахетдин-агай спросил: — Случаем, не захворала? Ликом что-то печальна...

— Нет-нет, что вы, Салахетдин-агай. Наверно, от безделья настроение упало. Сами знаете, то за день ни на минуту не присядешь, а тут третий день никого...

— Оно, конечно, без дела завсегда муторно... — вахтер почесал затылок, хотел, видно, что-то сказать, но квело махнул рукой и пошагал к выходу.

Хадия догадалась, что Салахетдин-агай зашел не просто полюбопытствовать о ее настроении, наверное, хотел сказать что-то важное. Женщина хотела было даже остановить старика, однако передумала. Когда вахтер скрылся за дверью, Хадия встала и подошла к большому, почти во всю стену зеркалу. На нее смотрела красивая, чернобровая женщина. Большой белый лоб, прямой нос, полные, еще не утратившие свежесть губы подчеркивали волю и незаурядный ум. Только печальные черные глаза выдавали озабоченность. И вдруг она привычным движением распустила черные волосы, стянутые на затылке в тяжелый узел. Волосы черным водопадом упали на плечи... Печальные глаза заискрились, лицо просветлело, было видно, что женщина нравится себе. Исчезла строгая холодность на лице, ее сменила женственность, и высветилась душевная нежность. Хадия чуть-чуть взбила пышные волосы и кому-то погрозила: «Еще пожалеешь!» — и тут же обернулась в сторону двери, озорно подумав: «Интересно, понравилась бы я Салахетдину-агай?»

Между прочим, а почему ею должны любоваться только старики? Хадия частенько замечала, как на нее поглядывали молодые мужчины, а некоторые даже банально спрашивали, который час, или — как попасть в театр... Женщина повернулась к зеркалу боком, провела ладонями по красивым бедрам и опять осталась довольна собой. Верно говорили ей подруги, ее фигуре могли позавидовать многие де-

вушки, занимающиеся аэробикой. «Ну и что из этого? Красота-то ее сама по себе живет!» И женщина не заметила, как из глаз потекли слезы от жалости к себе, к своей уходящей красоте, давно не обласканной любовью. Она пальцами смахнула со щек слезы, и ей показалось, что за окном вдруг заплакал ребенок. Она рванулась к заиндевавшему окну и стала всматриваться в темноту. Спустя минуту-другую поняла, что так жалобно голосит ветер. И тут невольно вспомнила оставленного дома сынишку. «Как он там? Не страшно ли ему? Был бы отец...»

...С Тимербаем она прожила почти пятнадцать лет. Родила сына, казалось, счастье и предназначено для такой семьи. Но вскоре случилось непредвиденное: они разошлись. Взяли вот так — и разошлись. Не ссорились, как другие. Тимербай оказался хорошим мужем и еще лучшим отцом. Но она как-то взяла и сказала ему: «Тимербай, я устала от тебя, ушел бы ты...» Муж спокойно взглянул на Хадию, точно давно ожидал этих слов, ничего не сказал, собрал вещички, поцеловал сонного сына и ушел.

Хадия тряхнула красивой головкой, снова собрала в пучок волосы, привела себя в порядок — маленьким платочком вытерла влажные глаза и снова села за стол и деловито проверила бланки свидетельств о браке — она снова стала строгой, деловито-собранной. До окончания работы осталось чуть больше часа. В соседнем зале слышались шаги вахтера... Хадия подперла голову ладонями и прикрыла глаза...

...Тимербай ушел тогда и больше не вернулся. Он аккуратно высылал сыну деньги и ничего у нее не спрашивал. Точно ничего и не случилось. А раз она встретила мужа (вернее, уже не мужа, ведь они не жили вместе, а только по свидетельству брачному числились мужем и женой!) на улице и спросила:

— В каких краях ты обитаешь?

— Что за вопрос? Высылаю сыну деньги — и будет с тебя.

Задетое самолюбие так и выплеснулось наружу.

— Ты жесток! Прожив с тобой, Тимербай, пятнадцать лет, я потеряла лучшие годы! Я помню, как ты гордился мною! А теперь! Забыл?

— Почему же? Все помню. Не скрою, гордился и слишком потворствовал твоим капризам, делал вид,

что не замечаю твоего высокомерия, заносчивости... Думал, молодая, пройдет. Ан не прошло. Ты видела только свою красоту... — Тимербай умолк и с нескрываемой насмешкой смотрел на жену. Он видел, как Хадия смутилась. — Раз уж произошла такая встреча и ты первая начала такой разговор, я выскажу все откровенно... — Тимербай старался скрыть свое волнение за иронической улыбкой, пытаясь показать свое равнодушие к бывшей жене. — Неужели ты забыла, как ты насмеялась над моими слабостями: то я не так повязал галстук, то носки надел не под цвет костюма, то прическа моя слишком старомодная, то вилку держу не так... Да что говорить!

— Почему ты так со мною разговариваешь? — вдруг вспылила Хадия, совсем забыв, что она уже не жена. — Почему ты меня укоряешь? Я — все же твоя... — она замялась и робко вымолвила: — Жена, которую ты любил...

— Да, любил! Да, ты была любимой женщиной! Но ты сама, к моему стыду, выдворила меня... Я послушно ушел и опять, думаю, допустил непростительную ошибку...

— Жалеешь о своей любви?

— Зачем же! Я действительно любил тебя, и эти чувства тех лет я пронесу через все годы.

— Тогда в чем же дело? Почему ты... — Хадия снова не договорила. Но Тимербай догадался, что она хотела спросить: почему ты тогда не вернешься?

— Красота твоя, Хадия, не твоя заслуга. Этим ты обязана родителям, а может, даже пращурам. — И жестко закончил: — Не исключено, что красоту эту они дали тебе взаймы, испытать тебя хотели, как ты обойдешься с таким сокровищем.

— О! Как ты заговорил! «Сокровище»!

— Да, красота любая, тем более женская, это сокровище, это дар природы, и не всякий с ней может совладать. Ведь богатство тоже не каждому по плечу...

— Ох каким ты стал красноречивым! — вспыхнула Хадия и стала еще красивей, сама того не замечая.

— Больше скажу, ты — преступница...

— Что?! Что ты сказал?

— Повторяю: ты преступница!

— В чем? — Впервые за всю жизнь красивые глаза Хадии испуганно расширились и потеряли тот томный, привораживающий блеск, который не давал покоя многим мужчинам.

— Хорошо, скажу. Слушай. Ты сына оставила без отца ради своей прихоти. А ведь знаешь, как он привязан ко мне... Я тут тоже виноват — пошел у тебя на поводу. Не отстаивал ни свою честь, ни право на сына. А второе твое преступление заключается в том, что ты, работая во Дворце бракосочетания, наставляя молодоженов на праведную жизнь — беречь домашний очаг, любить друг друга, уметь прощать ошибки, обманываешь их, лицемеришь... Твое сердце никогда не принимало такие условия супружеской жизни. Вот в чем твои преступления перед собою и людьми... Ты не должна там работать... Ты крепкими узами связываешь молодые жизни, устраиваешь праздники счастья, улыбаешься им, и все — тоже фальшиво...

— Перестань! Кто дал тебе право судить меня?

— Наша любовь, извини, моя любовь... Если бы эти молодожены узнали твою душу, твой эгоизм, интересно, как бы тогда они слушали тебя и что бы сказали?! Не стыдно так откровенно врать?

— Стыдно... — прошептала Хадия. Она обхватила ладонями голову и готова была сейчас закричать от душевной боли, от того, что Тимербай тогда говорил ей правду, справедливость которой она поняла гораздо позже. А тогда была безмерно зла на своего бывшего мужа и уверена, что все это он говорит оттого, что она прогнала его, отвергла его любовь, любовь большую, настоящую. Женщина уж в какой раз взглянула в заснеженные окна, надеясь на чудо, а вдруг именно сегодня, сейчас придет Тимербай и у них все начнется сначала... Но как же он окажется здесь, если уж который год работает в Тюмени — добывает нефть. Правда, он всегда наезжает неожиданно, без предупреждений, говорит, по сыну соскучился...

Хадия сидит, слушает заунывный вой бурана, а сама все пытается осмыслить свою жизнь. Только теперь она поняла, почему именно сегодня так остро она чувствует свое одиночество и искренне считает себя несчастной, забытой всеми. Все дни, когда мо-

лодожены проходили перед ней, как на конвейере (а где-то неподалеку работал конвейер с обратным ходом — к разводу), ей не оставалось ни минутки подумать о своей жизни, неустроенности своей семьи. Ей казалось, что, поздравляя молодоженов, она выполняет высшую миссию и эти молодые люди, так красиво и торжественно одетые, так нежно и с любовью смотрящие друг другу в глаза, вечно будут помнить ее напутствие... Хадия даже тайком от своих сотрудниц взяла несколько уроков у драматических артистов, чтобы те поставили ей голос, выправили дикцию, научили элементарному ораторскому мастерству. И поэтому когда она произносила заученную речь, то некоторые не выдерживали и пускали слезы, а пожилые откровенно говорили: «Как в храме она произносит! Надо ж, какой дар у человека!»

Неожиданно ослепительный свет люстр осветил огромный зал, и ковры на полу засияли многоцветием горных башкирских лугов. Хадия поначалу даже перепугалась — кто зажег люстры и для чего? И только когда в дверях показался сияющий Салахетдин-агай и радостно сказал: «Пришли!» — Хадия поняла, что-то случилось, но на всякий случай спросила:

— Кто пришел?

— Ну кто, они! — вахтер встал посередине зала и развел руками, как бы приглашая пока невидимых гостей. — Расписаться пришли...

— Но ведь сейчас, — Хадия взглянула на часы, — без пяти шесть...

— Ну и что? — не унимался старик.

— Но и депутата нет... А без депутата не положено, — робко возразила женщина, все еще находясь под впечатлением воспоминаний.

— В жизни, сестричка, не всегда все делается по инструкции. Вот как сегодня... Ради бога, только не отказывайте им. Ведь в такую погоду пришли! Из другого конца города пришли! Не омрачайте им жизнь... По сугробам шли, пешком... — Вахтер говорил так, точно должны были расписаться его дети. И только тут Хадия поняла суть дела. Она машинально, больше по привычке, выработанной годами, быстро надела через плечо красную атласную ленту с государственным гербом, поправила строгого

пошива темно-синее платье, взглянула краем глаза в зеркало, приняла строгий, торжественный вид.

— Говоришь, пришли в такую погоду? С самой окраины города? — спросила она. Но Салахетдина-агай уже не было. Увидев, как Хадия надевает через плечо красную ленту, он умчался за новобрачными.

Женщина еще раз окинула себя строгим взглядом и нажала кнопку на углу стола. Зазвучал торжественный марш Мендельсона и точно раздвинул стены без того большого зала и заглушил вой холодного бурана. Салахетдин-агай точно только и ждал этой музыки. Он, чуть подавшись вперед, услужливо открыл обе половины массивных дверей. Девушка вся в белом, парень в черном костюме, нежно поддерживавший свою суженую под руку, смутились и приостановились.

— Проходите, проходите, дорогие, — шепнул старик, ласково улыбаясь молодоженам.

Новобрачные оглянулись назад — на родителей и друзей, тоже прошагавших с ними вместе не одну версту сквозь снежную бурю. Друзья, свидетели захлопали в ладоши, еще не успевшие отогреться, отчего звуки получились жесткими и короткими.

— Добро пожаловать, молодые! В добрый час! — теперь уже громко обратился к новобрачным Салахетдин-агай.

По существующему в народе обычаю, друзья, родные, свидетели стали подталкивать друг друга вперед, кому, мол, первым надо войти в этот светлый и торжественный зал. Кое-кто шутливо толкнул новобрачных, стал уговаривать их, чтобы они были смелее, так как в их жизни встретятся и не такие трудности, как преодоление порога этого зала. Шутки, смех несколько сняли напряженность с новобрачных, и они смело шагнули вперед мимо улыбающегося Салахетдина-агай. Пустой зал сразу ожил, стал уютней и даже, казалось, потеплел.

— Добро пожаловать, молодые! В добрый час! — улыбаясь, приветствовала Хадия. Сейчас она забыла о своей несложившейся жизни, уходящей неутоленной любви. Женщина неимоверным усилием подавила в себе обиду на мужа, с которым она была не в разводе, на свою судьбу. Как всегда, красивое лицо ее было торжественным и ласково-доброжелатель-

ным. Новобрачные, которые там, за порогом, чувствовали себя неловко, стесненно, увидев ее полное достоинства лицо и легкую улыбку в уголках алых, еще не увядших губ, окончательно успокоились и прониклись чувством полного доверия к этой торжественно-красивой женщине и радовались, что такой человек будет напутствовать их на семейное счастье.

Салахетдин-агай тоже оказался догадливым и не менее шустрым, чем джигит. Он успел перекинуть через плечо красную ленту, как у Хадии, принадлежавшую представителю депутатской группы, встать возле стола. Желая угодить старому человеку, Хадия поручила ему провести всю церемониальную часть. Салахетдин-агай, который за многие годы работы во Дворце бракосочетания заучил все до мелочей, обязанности депутата выполнил прекрасно. Пока он вел душевную беседу с притихшими молодоженами, Хадия любовалась невестой, напоминавшей белую лебедь, женихом, чем-то очень похожим на ее (ее ли теперь?) Тимербая — такой же статный, широкоплечий, со строгим взглядом, готовый в любую минуту защитить свою суженую... Снова защемило сердце, и она почувствовала, как повлажнели глаза. Когда все документы были подписаны и поставлена государственная печать, Хадия взяла себя в руки и торжественно объявила:

— С этой минуты, жених, объявляю тебя мужем, а невесту — женой! — И чтобы окончательно не расплакаться, обоих горячо поцеловала, хотя в ритуал это и не входило.

Этот ее поступок очень тронул присутствующих, и некоторые девушки и женщины всплакнули и тоже стали целовать молодых.

— Всю жизнь любите друг друга. Берегите свои чувства, — продолжала Хадия. — Любовь, как и жизнь, дается только один раз... Растите детей таких же красивых, как сами, умеете прощать слабости друг друга...

Расплескивая шампанское, Салахетдин-агай наливал искрящийся напиток в хрустальные фужеры и, окончательно войдя в роль депутата, сбиваясь, начал говорить:

— Да, молодые люди, вот вы и семья. Человек

крепко стоит на земле тогда, когда у него обе ноги здоровы. Так и семья, если вы будете дружны, едины в мыслях, то никакие беды вам не страшны, ничто не омрачит вашу жизнь. Вот сегодня вы пришли, несмотря на бурю, значит, очень хотели быть вместе. Это похвально. Вы уже сделали первый шаг к своему счастью. А ведь многие испугались метели, свой приезд во Дворец бракосочетания отложили на лучшую погоду. Решили начать свою семейную жизнь — и тут же поставили ее в зависимость от погоды. Видишь ли, их машины не могли пройти сквозь снежные завалы... Вы же к своему счастью пришли пешком. И это хорошо. Счастье копится крупицами, а не собирается ковшом экскаватора. Экскаватором хорошо канавы рыть, ямы копать... А человеческое счастье — дело деликатное. — Старик обернулся к Хадие, смутился от своего многословия и спросил: — Может, сестричка, я не то говорю?

— Все правильно, Салахетдин-агай... Это мы привыкли говорить по заранее написанным бумажкам... Спасибо тебе. — И она еще раз поздравила молодоженов, пожелала им счастья.

Новобрачная пара молча покинула сверкающий от хрустальных люстр зал, за ними потянулись родители, друзья. Только уже у выхода все зашумели, засмеялись, посыпались шутки. Кто-то крикнул:

— А говорили, погода все испортит! Получилось-то все наоборот!

— Один мудрец, кажется, сказал, что плохой погоды не бывает...

— Точно! Как здорово все получилось! Старик-то молодец, говорит, счастье по крупинке собирают, а не ковшом черпают...

Хадия невольно слушала радующихся людей и чувствовала себя еще горше — обделенной судьбой. Может быть, она тоже хотела черпать счастье экскаваторным ковшом?! Но какое же это тогда счастье! Женщина пришла в себя, когда услышала голос Салахетдина-агай.

— Сестричка, все уже давно ушли... Поздно. Вот теперь-то уж никто не придет. Я выключу люстры?

— Конечно, конечно...

— Какая хорошая пара, не правда ли? — спросил вахтер, стараясь отвлечь Хадия от грустных дум.

— Очень даже... Дай-то бог им счастья. А то ведь сколько разводов после нас! И страдают дети...

— Да-да, времена сложные пошли. Приезжают весело, целые эскорты машин, цветов как на похоронах добрых людей, а итог — через год-два превращаются в кошку и собаку. Ну я выключу...

— Сказала же — выключай.

Погасли люстры, огромный зал снова стал маленьким, неудобным, снова злорадствовала вьюга и пригоршнями сыпала снег в окна. Хадия снова казалось, что кто-то бродит под окнами. И она уж в какой раз сегодня вспомнила сына, который один дома и, наверно, вспоминает и думает об отце, а может, и письмо написал. Привязан мальчишка к отцу, хотя видит его в год раза два. Не может Хадия объяснить такое нежное отношение сына к мужу. (Опять к мужу! Когда же забудется это слово?!)

Прощавшись с вахтером, пожелав ему благополучного дежурства, Хадия неторопливо оделась и вышла. Салахетдин-агай проводил ее до самого подъезда и напутствовал вслед:

— В жизни всякое бывает... Надо все уметь переносить. Так что, сестричка, не падай духом, надейся на доброе...

«Он точно подслушал мои думы! — ужаснулась женщина. — Надо же — «в жизни всякое бывает». Неужели по лицу заметил?» А сама ответила:

— Спасибо, Салахетдин-агай, чтобы я без тебя сегодня делала?

— Управилась бы...

Не успела Хадия отойти от Дворца, как увидела сквозь снежную мглу рослого, широкоплечего мужчину — ни дать ни взять Тимербай. Она раскинула руки, словно крылья, и рванулась к нему.

— Наконец-то живого человека встретил, — пробасил мужчина, прикрывая лицо рукой. — Скажите, пожалуйста, гражданка, какая это улица?

САМЫЙ КРАСИВЫЙ ДЕНЬ

Я приехал в эту глубинную башкирскую деревню в командировку, когда торжествовала весна: благоухали сады, белый наряд яблонь напоминал подвенечное платье невест. Поляны запылали фонариками тысяч солнц-одуванчиков, невысокие взгорья, казалось, были усеяны алой росой — таким урожайным ожидалось лето на землянику.

Работы было много — за короткое время я должен был телефонизировать правление колхоза, сельсовет, школу, амбулаторию и несколько домов руководящего состава местной власти. Мне приходилось за день взбираться на «кошках» на десятки столбов, натягивать провода (хорошо еще, что помогала местная детвора: кто провод подтянет, кто сумку с инструментом поднесет, кто распутает свернувшийся провод), устанавливать аппараты, проверять их работу... За день так наломаешься, что к вечеру едва ноги волочишь. Но вся усталость моментально исчезала, как только я оказывался в избе Гатифынэ, которая охотно предоставила мне одну из трех пустующих комнат. Услышав в правлении колхоза мой разговор с председателем, где бы я мог остановиться на недельку, Гатифа-инэй подошла и так просто сказала:

— Если понравится, сынок, живи у меня. А то все равно изба пустует...

А я возьми да скажи:

— Спасибо, мать, я согласен. Вы не волнуйтесь, я буду платить...

— Э-э-э, сынок, сразу видно городского. Да разве я на тебе заработать хочу! Я ж предложила, что по живому человеку соскучилась... Изба-то вон какая! Да и на вид ты вроде не шалопай... А ты... «буду платить». Вот времена настали, чуть что — плати... Скоро и за смерть, пожалуй, станут платить... — и она машинально провела рукой по складкам просторного, из белого ситца в синий горошек, платья, поправила на голове белый, по-старушечьи повязанный платок.

До этого светлое, доброе лицо женщины потемне-

ло, и она засобиравалась домой, сказав председателю, что зайдет в другой раз.

— Мамаша...

— Гатифа-инэй,— подсказал председатель.— Ты, парень, гляжу, совсем городским сгал.

— Гатифа-инэй,— чуть робея, окликнул я старушку.— Я не в этом плане,— сбивчиво заговорил я.— Я с удовольствием...

— Тогда пошли,— обернулась Гатифа-инэй. Теперь смуглое ее лицо снова просияло, а черные глаза сверкнули мудростью и затаенной щедростью души.

Вот так я оказался в пятистенной, из сосновых желтых, как янтарь, бревен, избе Гатифы-инэй, не особенно разговорчивой, но энергичной и очень чуткой женщины.

Однажды теплым солнечным утром хозяйка, как всегда, приготовила мне завтрак: сварила яйца, поставила крынку молока, выставила земляничное варенье, топленое масло, творог... На медном подносе фырчал большой самовар. Малословная Гатифа-инэй постучала мне в дощатую загородку и пригласила к столу. Я занял обычное место — на покрашенном белой краской табурете в конце стола.

— Ты уж, сынок, поболе пей чайку. Такого, с душицей, пахучим вареньем, у себя в городе не попьешь. Не знаю, а заметил ли, какой вкус у воды? — И сама же ответила: — Где уж вам, молодым, знать вкус воды!

— Из родника берете? — спросил я.

— Оттуда. Почти святая водица. Мягкая, мыла не требуется. А чай можно пить вприглядку на сахар. До чего ж вода вкусна!

И я впервые почувствовал, какой аромат стоит в избе от душицы, заваренной в фаянсовом цветастом чайнике.

— Спасибо, Гатифа-инэй,— вытирая пот с лица, сказал я и заметил, как улыбнулось морщинистое лицо хозяйки, а сухонькая, не знавшая в молодости покоя рука, в синих венах, задрожала, наливая мне из чайника крепкий завтрак.

— Молочком забели, молочком. Городские не любят, наверно?

Хозяйка ненавязчиво и тактично подсовывала мне вкусные вещи и, видно, сама была очень довольна

моим молодым аппетитом. Я с удовольствием пил чай и присматривался к ней.

Обычно я всегда быстро ем и бегу в правление колхоза, потом весь день лажу по столбам. А сегодня я мог завтракать неторопливо, наслаждаясь не только вкусом чая, варенья, но и созерцать их красоту — густой, кофейный цвет чая и ало-красное варенье, вспыхивающее гранатовыми искорками, когда лучи солнца падали на стол.

— Чай надо пить крепким, — сухошавое лицо Гатифы-инэй просветлело еще больше, и она прикрыла беззубый рот уголком платка. Под молодыми, озорно блестящими глазами собрались мелкие морщинки, которые и выдавали немалый возраст хозяйки. — День-то какой сегодня светлый! — выглянула в окно Гатифа-инэй. — Слава аллаху, распогодилось. Теперь уж дожди могли бы и повременить.

В избе было так уютно, так хорошо, что мы городские, отвыкшие от всего натурального, как я тогда, могли бы без усталости любоваться этими гладко отесанными изнутри бревнами, которые не требовали никакой штукатурки и благоухали смолой, точно только что были срублены. От времени бревна слегка пожелтели и приобрели тот мягкий и теплый, ласкающий глаза цвет, неиссякаемый в солнечных камнях янтаря. И казалось, стукни сейчас легонько по стене, как бревна зазвонят, запоют всеми звуками соснового леса.

Бревна были испещрены трещинами, как жилами. В щель одного бревна была воткнута костяная гребенка — старая, теперь таких не делают. Знатоки говорят, такие гребенки не секут волос. Возле небольшого овального зеркальца, прикрепленного к стене, в трещину был воткнут голубой конверт. Хозяйка уловила мой взгляд и просветлела:

— От самого младшенького... Он офицер, на границе служит. Говорит, мама, заберу тебя к себе. Я отказалась, привыкла к избе, родной деревне, всяк меня тут знает, со всяким заговоришь... Под старость иметь хорошего соседа, людей, с кем можно говорить без утайки, — что бальзам на душу. Вы, молодые, этого не поймете. Сын помогает деньгами. Только вот жаль, невестку пока еще не видела, внучат, двое их... Невестка, видать, воспитанная, всякий раз при-

веты шлет, о здоровье интересуется. Она у меня русская. Старшего называли башкирским именем — Булат, а младшего — Володей. Правильно сделали, чтоб обиды не было.

Гатифа-инэй незаметно подливала мне чай и так разговорилась, что я слушал ее неторопливую, похожую на журчание родника речь с упоением. Может, это оттого так было, что раньше я никогда не засиживался за столом? Ее сухая маленькая рука так ладно подавала мне то варенье на блюде, то сахар...

— У вас один сын? — спросил я.

— Нет, есть еще Хисматулла, старшой. Живет в этой же деревне, в том конце. Тоже зовет к себе жить. Он внимательный. Помогает, хотя у самого семья немалая — четверо детей. То дрова привезет, то подворье в порядок приведет, то сено. А к нему не пошла лишь потому, что младшенький всяк раз приезжает, вот и хочу, чтобы изба была обжитой. Изба, она что лопата, любит работу: чтоб жили в ней, чтоб человеческим духом пахло... Пустой дом быстро стареет, хиреет...

Я спросил, а почему же Гатифа-инэй сразу не сказала, что сын у нее в деревне? Хозяйка усмехнулась, помяла пальцами поблекшие губы.

— Если б я сказала, что сын тут у меня, разве ты вел бы себя так свободно? А может, и останавливаться не стал бы. Разве я неправду говорю? Да ты не имей обиду, сынок. Я ж чтоб тебе хорошо было.

Я чуть не поперхнулся крутым чаем, уши запылали. Как же я сразу не догадался, что старый человек не может содержать в таком порядке двор, огород, держать корову, иметь такой ухоженный сад: вишни, яблони, смородина... Сколько одной воды нужно для полива яблонь и смородины! Сейчас все было в цвету, воздух благоухал, скворцы заливались, выдавали рулады не хуже, чем соловьи.

Напившись чаю, я поблагодарил хозяйку и решил полдня посвятить себе — побродить не спеша по деревне, погулять по окрестностям. Выйдя за калитку, я залюбовался небольшой лужайкой по другую сторону пыльной дороги. Густая зеленая трава, расцвеченная тысячами фонариков-одуванчиков, казалась сказочным ковром, упавшим с голубого небосвода. По лужайке, пища, мельтешили желто-серые коло-

бочки гусят, а возле них, что-то сварливо гогоча, расхаживали огромный гусак и белая гусыня. Неподалеку лежала дворняжка и, видно, очень была непрочь поиграть с гусятами, а может, шумно облаять их, да страх перед клювом и могучими крыльями гусака удерживали, смиряли ее пыл. Всю эту идиллическую картину внезапно нарушил гул мотора и лязг железа. Насторожился гусак, вытянув шею, завертел головой, гусыня мигом собрала возле себя своих неумышленнейшей, собака привстала, потянулась и недовольно гавкнула. А тарактение и лязг железа все нарастали, содрокая избы, пугая живность. Даже скворцы спрятались в скворечнях и притихли. Вскоре из соседнего переулка на нашу улицу выехал свежепоккрашенный комбайн. За ним, свистя и улюлюкая (так, говорят, было в тридцатых годах, когда по улице гордо двигался весь железный, с длинной трубой, стальными колесами с зубьями, как у акулы, трактор), бежала детвора. Поравнявшись со мной, комбайнер почему-то сорвал с головы кепку и помахал мне как старому знакомому. Рот расплылся до ушей, руки невольно дернули рычаг, и машина снова затарактела еще сильнее. Видно, это приветствие парня надо было понимать как, мол, знай наших! Комбайн проехал метров сорок, завернул в переулок налево, где находилась колхозная кузница. Из соседнего двора вышел мужик и громко (больше для меня — городского, конечно!) стал костить механизатора.

— Шалопай! Как мальчишка ведет себя на технике! Комбайн только что из ремонта, а он на нем что делает! Нашел автомобиль!

— А кто это? — невольно спросил я, понимая, что сосед Гатифы-инэй завел разговор для меня.

— Да его, Тимерьяна, вся округа знает. Ветер в голове! Как ему технику доверили? Ох-хо-хо! Придется председателю сказать! — погрозил мужик, и его голова в черной бархатной тубетейке пропала за изгородью.

Я ничего не успел ответить соседу и, дождавшись, пока осядет пыль, поднятая лихачом-комбайнером, пошел в сторону правления колхоза — посмотреть, не обвисли ли провода, не завалились ли где старенькие столбы. Пройдя до конца длинной улицы, я свер-

нул на параллельную и пошел в обратном направлении, чтоб вернуться на свою улицу с другого конца. Бросалось в глаза, что народ здесь живет богато. За невысокими оградами были видны почти в каждом дворе машины, а уж мотоцикл с коляской имелся у каждого. Бревенчатые дома стояли под шифером, крепкие ворота с вырезанными из дерева солнечными «гербами» так и кричали о достатке и приглашали в гости. Приятно было смотреть на крепкие строения, полные дворы живности... Когда долго безвыездно живешь в городе, то невольно поддаешься стереотипу, и появляется убеждение, что деревня — это нечто архаичное, бедное... Оказалось, что тут — все наоборот.

И все-таки меня поразил один заброшенный дом, сиротливо стоявший в другом конце улицы. До сих пор не могу ответить себе, почему за четыре дня пребывания в деревне я не обратил внимания на этот обветшалый, с провалившейся крышей дом, скрытый за оградой с выбитыми досками.

Подобных развалюх мне давно не приходилось встречать даже в забытых богом деревнях. Поначалу я подумал, что дом пустует, потому что двор порос бурьяном, подгнившие углы избы осели, окна скособочились, на крыше местами зеленела поросль береза... А пустой разбитый сарай и большая ветла, обвешанная грачиными гнездами, придавали двору совсем убогий вид. Необжитость дома подтверждали и покосившиеся ворота, привязанные толстой проволокой к черным от времени толстеньким дубовым столбам.

Непонятно почему, но дорога здесь вплотную примыкала к ограде. Видно, поэтому остатки былой ограды были облеплены грязью, многие доски вырваны. И мое настроение, которое только что было так приподнято, упало от увиденного. Почему в такой богатой деревне стоит заброшенный дом, напоминая чем-то больного человека, который из-за своей гордыни не может попросить помощи?

Я вернулся к себе во двор и лег под навесом на топчан. Мысли одна мрачней другой давили на душу. Почему могут сосуществовать рядом бедность и достаток? Ведь и бедный человек в загробную жизнь ничего с собой не возьмет, и человек, плавающий как

сыр в масле,—тоже. Почему судьбы складываются так, что одному всю жизнь везет, будь он самый посредственный человек, а другого, талантливого, работающего, щедрого душой, она так мордует, что небо становится с овчину? И вообще, есть ли справедливость на земле? И какая она? И что нужно для этого сделать, чтобы люди не делали зла друг другу? Ведь жизнь дана человеку только один раз!

Уж не помню, уснул ли я или просто задремал. Очнулся, услышав встревоженный голос Гатифы-инэй.

— Сынок, не заболел ли? Ты ж собирался вроде по деревне пройтись?

— Видно, на солнце перегрелся... — соврал я.— Голова что-то разболелась...

— Что-нибудь на голову надо было надеть. Вы, городские, всегда голову открытой держите...

— Сейчас вроде полегчало,— снова соврал я.— Пойду пройдуся...

Доверчивость хозяйки обескуражила меня. Мне стало неудобно за свое вранье. Мог же сказать, что настроение испортилось, однако нет, навывдумывал. А почему? Не хотел выглядеть слюнтяем перед доброй женщиной. А может, не выглядел бы? Может, Гатифа-инэй поняла бы меня и посочувствовала мне, рассказала бы, почему изба так запущена и кто в ней жил или живет...

Время в этот день бежало необычайно быстро. Уже и пастух пригнал коров. На улице клубилась пыль, пахло коровьим потом, парным молоком, бляели разбредшиеся по улицам овцы, козы, слышались женские голоса, созывавшие своих Буренок и Маток...

Во дворе справа, гремя подойником, показалась девушка лет восемнадцати, черноволосая, стройная, белолицая. Она тоже заметила меня.

Двор соседей был полон живности. Тут вольно чувствовали себя корова и телка, овцы, откуда-то из-за дома гордо вышагивали индюки... Я невольно рассмеялся, представив хозяйкой такого богатства эту очаровательную девушку. Она тоже улыбнулась мне и прошла под навес, где у поила стояла корова.

И тут я услышал, как слева скрипнули завалившиеся ворота заброшенного дома. Я обернулся и уви-

дел худую седую старушку в черном платье, она вела на веревке белую козу. Лицо старушки было иссечено глубокими морщинами, глаза тусклы и безразличны. Возле калитки коза заупрямилась и жалостливо заблеяла. Хозяйка, ничего не говоря, продолжала тянуть ее во двор. Несмотря на болезненный вид и худобу, старуха двигалась легко. Тут я услышал стук в окно и оглянулся.

— Сынок, попей-ка парного молока! Уж очень оно полезительное! — и Гатифа-инэй поставила на подоконник большую кружку парного молока и кивнула в сторону соседей справа. — Вон Гульсум, наш цветочек, такая быстрая в работе — и корову подоит, и корм скотине даст, и дом такой держит в чистоте и порядке! В прошлом году окончила десять классов, сейчас на ферме работает. Говорит, на следующий год непременно в институт поступит. Будет учиться на агронома. А уж красавица, глаз не отвести!

Я слушал и в душе улыбался словам своей хозяйки. Ведь в городе едва ли какая соседка может дать такую характеристику соседской дочери, да еще так искренне.

Кто живет от нее слева, спросил я Гатифу-инэй. Она подошла к стене и щелкнула выключателем. Только сейчас я заметил, как быстро сумерки обволокли деревню. Вроде всего несколько минут тому назад я видел Гульсум, старушку с козой, и вот тьма отделила их от меня невидимой стеной.

— Учителка, — помолчав, сказала хозяйка. — Шамсия-енга. Сейчас она на пенсии. Очень уважаемый человек. Моих мальчишек учила... Да, пожалуй, всю деревню выучила. Орденом награждена, но я что-то ни разу не видела, чтоб она носила его...

Рассказ хозяйки был неожиданно прерван гулом мотора и знакомым лязгом железа, снопом света от фар. Крепкий молодой голос пел:

Мы пройдем по улице,
Все ограды свернем,
А встретим красивых девушек,
Непременно уведем.

— Ух уж этот Тимерьян! — в сердцах сказала Гатифа-инэй. — Балаболка несчастная! Это он родителям Гульсум намекает, мол, Гульсум все равно будет моей. Сватает ее. Пройдоха! Зимогор!

Но каково же было удивление хозяйки моей, когда комбайн остановился против нас и из кабины высунулась пьяная физиономия деревенского кузнеца, который, как луна, расплылся в улыбке и пытался еще что-то сказать.

— Тьфу! Старый, а туда же! Хоть бы людей не смешил! — отчитала Гатифа-инэй пожилого кузнеца и тут же принялась за Тимерьяна. — А ты молодой, только выучился на комбайнера — и уже пристрастился к этому зелью! Как тебе не стыдно? Подумал бы о матери! Она же недоедая выучила тебя, твоих братьев, а ты как себя ведешь? Пожалей материнские седины... Связался со старым ослом! Он тебя научит!

Под громкое пение пьяного кузнеца и хохот не менее пьяного механика комбайн протарахтел мимо и скрылся в ближнем переулке. А Гатифа-инэй все еще костила их и проклинала тех, кто придумал водку.

Когда гнев моей хозяйки умерился, я снова напомнил ей о соседке.

— И-и-и, не приведи аллах пережить то, что пережила Шамсия-енгэ. Одна-одинешенька, как молнией обожженное дерево в степи. И все равно сохранила достоинство, хотя и живет в развалюхе, но никакому начальству на поклон не идет. Вот такая она, наша Шамсия-енгэ. — Гатифа-инэй задумалась, глядя в сторону соседского дома, почмокала губами и предложила мне зайти в избу. — Свежего чайку сейчас поставлю. О ней все так на ходу не обскажешь. Заходи, а то на улице и продуть может.

Неторопливо пошел я во двор, а по пути раз за разом вглядывался в соседнюю развалюху, где в маленьком оконце замерцал огонек. Гатифа-инэй уже заправила самовар, и он гудел в трубу, выставленную в открытое во двор окно.

— Вот я и говорю, сынок, как Шамсия-енгэ оказалась в нашей деревне. Ты садись к столу. А привез ее издалека Самигулла, наш деревенский парень, видный такой был, обстоятельный, песни пел и грамоте был расположен. Помню, привез, значит, он ее в жатву... — хозяйка задумалась. — Точно, в уборку. Мой-то старик Фатхи тогда на лобогрейке работал. Палило солнце, как на пожаре. Вдруг на поле появи-

лись местный милиционер, бригадир хромоногий и еще кто-то. Уж не помню теперь, кто еще. Остановили лошадь, стащили мово с лобогрейки и давай ногами его пинать, кричат: «Вор, враг проклятый» — и увезли в район. Оговорили, будто он в карманах домой колосья уносил. Чего только люди не придумают... Я в слезах бегаю по деревне, помощи прошу, но куда там, каждый за себя дрожит. Даже избегали встречи со мной. И тут кто-то шепнул мне, чтоб я обратилась к Самигулле, который привез молодую жену учительку, мол, люди они грамотные и могут найти начало и конец этого наговора. Я, как утопающая, ухватилась за этот совет и бегом на эту улицу. Сердце вот-вот выскочит, а сама бегу, плачу... — Гатифа-инэй примолкла и вдруг подхватила: — Ой, я ж совсем заговорила! Самовар-то небось бежит... — и она шустро скрылась в сених. — Готов чаек! — донеслось до меня. — Сейчас перед сном погреемся...

Услышав это, я вышел в сени, взял самовар и внес его в избу. Хозяйка успела подставить медный поднос, приговаривая:

— Вот сейчас мы с вареньем, сливками чайку попьем на сон... Ничего полезней человек еще не придумал. Чай может пить и дите грудное, и хворый, и здоровяк, каким был Самигулла, и мы, старики... У кого ж была такая умная голова и добрейшая душа? Вот бы узнать! А? Кто бы ты, сынок, думал нашел такую траву и стал ее садить?

— В Китае, говорят, — сказал я.

— Я слышала, будто в Индии... Э-э-э, да все равно, где бы ни придумали, видно, люди те были мудрые.

Как всегда, Гатифа-инэй церемониально расставила чашки, несколько раз переставляла стеклянные вазы с вареньем с одного места на другое, сахарницу с кусковым сахаром и кусачками придвинула к себе. Она любила мочить в крутом чае сахар, а потом посасывать, запивая чаем. Оглядела стол, осталась довольна и наконец присела. Наливая мне первую чашку, заботливо сказала:

-- Ты ешь, сынок. Тебе на ночь не тяжело. А вот нам, старикам, воздержание необходимо во всем. Так на чем я закончила-то? А-а-а, вспомнила. Значит, тогда я, зареванная, прибежала к Шамсие-енгэ. На сча-

стве, и Самигулла оказался дома. Не успела я начать рассказывать о своем горе, как Шамсия-енгэ обняла меня, усадила на скамейку, успокоила, как могла, и сказала, что завтра съездит в район и все там сама разузнает. Вот такая вот она была всегда. Да, я ведь еще забыла сказать, что они оба были партийными.

— Старика-то отпустили? — спросил я.

— Как же, конечно, отпустили. Куда же денутся, когда такие грамотные люди занялись судьбой моего мужа. Черные силы, они всегда легко расправляются с людьми темными, безграмотными, боязливými...

Гатифа-инэй замолчала, шумно дула на блюде с крутым чаем и всякий раз, казалось, любовалась, как мелкая рябь бежит по воде от ее увядших губ. Я тоже пил чай молча и нетерпеливо ждал, когда хозяйка продолжит свой рассказ. Наконец она поставила блюдо на стол, вытерла ладошкой губы, одернула фартук и ровным, монотонным голосом, словно сдерживая горечь и боль, продолжила:

— Снова к нам из района приехала милиция, нашли наговорщиков... Потом одного даже посадили, говорили, что он сам многих ни за что отвел в кузку. Вот так вот. А после началась война. Уж горя такого бедная страдальца Земля, наверно, ни разу не видела. Все люди страдали, но бедная Шамсия больше всех. Это точно. Я забыла сказать тебе, что она родила Самигулле трех парней — один другого краше. Мальчишки росли спокойными, учились хорошо. Оно и понятно: родители грамотные, мать учителька. За год до войны, кажется, Самигуллу избрали председателем колхоза. Человек он был честный, неподкупный и, главное, грамотный. Нечистые на руку люди боялись его и строили ему разные козни. Ведь что нас всех, выбившихся из нищеты в люди, губит? Что? — Гатифа-инэй уставилась на меня. — Не знаешь? А вот что: наша темнота и жадность. Обжираемся как свиньи, набираем, набираем... А куда? Зачем? Ненасытность невежества и губит человека... Самигулла не был таким. Над его головой точно сам аллах все время летал и берег его. Но вот от смерти не сберег. Помню, как они поженились. Давно это было, а помню. То ли это случилось перед самой революцией, то ли сразу после нее. Но Сами-

гулла шел к своему счастью тяжелыми тропками. Давно он приглядел свою Шамсию из соседней деревни, зажиточной семьи. Полюбили они друг друга. И вот однажды зимой он решил умыкнуть Шамсию. Но ее братья так избили Самигуллу, что он едва приполз домой весь в крови. Ума не приложу, уж как его по дороге волки не разорвали! Видно, не встретились. И что же ты думаешь? Через какое-то время Шамсия сама прибежала к нему. Не испугалась отцовских угроз, проклятий. Вот такая была у них любовь! А потом, я уж говорила тебе, пошли сыновья один за одним, выросли в таких джигитов, что одно загляденье! Все у них складывалось хорошо, если бы вот не проклятая война... А ты чего это не пьешь? Ну-ка я тебе крутого налью.— Гатифа-инэй взяла мою чашку, остатки чая вылила в посудину и нацедила крутого, добавила заварки...

— А уж как Шамсия была ловка и быстра в работе! Завидки брали. Всюду она успевала: в школе работала, детей воспитывала, чужую беду принимала как свою. Рассказывала же я про своего мужа... А дом у нее всегда блестел. И она первая в нашей деревне выкрасила пол масляной краской. Всей деревней ходили смотреть, как это она делает. Диву давались и думали, как же это она быстро сможет смыть такую липучую краску. Вот как жили. Потом мой Фатхи простудился, заболел горячкой и помер. Детей я сама на ноги ставила. Всего насмотрелась — и неправды и правды. А уж в войну чего только не пережила! Говорила уже, у Шамсии-енгэ муж погиб в первый же год войны. Когда ей вручили похоронку, она почернела. В школу ей принесли. Мы всей деревней прибежали туда. Тогда каждую похоронку встречали всем миром. Дружней народ жил, хотя и недоедал. Сейчас каждый норовит, как сурок, спрятаться за стенами своего дома, чужая беда отдалилась. А в войну у всех была боль одна... Вот и говорю, на следующий день она пришла в школу вся седая. Некоторые говорят, как это можно поседеть за ночь? А я скажу, если горе клюнет, то и за час человек обуглиться может. В сорок четвертом бедная учителька получила еще две похоронки. Онемела, сердешная, перестала на люди выходить. Жила только школой. В конце войны пришла бумага — без вести

пропал младший — Ринат... Мы думали, не выдержит сна такого горя, сломается, умом тронется. Нет, выдержала, видишь, живет. Но живет как в темноте, погасло для нее солнце... Ее теперь можно видеть и ночью, шагающей по двору или в окрестностях деревни... Разговоров людских избегает, помощи не просит... А сама в молодости кому только не помогала! Мирила непутевого мужа с женой или наставляла на истинный путь молодую жену, учила ее, как вести хозяйство, как удержать непостоянного супруга... Сколько семей сохранила, детишек спасла от сиротства! Сама вот, кроме горя, ничего не нажила...

Я слушал хозяйку и никак не мог понять, почему так случилось, что человек, который отдал людям всю душу, отдал сыновей и мужа, обречен на такое одиночество? Почему жизнь так несправедлива к добрым людям, к тем, которые больше всего нуждаются во внимании и так беззащитны перед всякими жизненными потрясениями? И самое главное, почему доброту Шамсии-енгэ люди подзабыли? Пусть она замкнулась в себе (интересно, кто бы повеселел после такого удара?), пусть стала неразговорчивой, но могли же навесить ворота, помочь старому доброму человеку!

Этой ночью я долго не мог уснуть. Борочался, в голову лезли мрачные мысли, порой я и себя винил в том, что о жизни Шамсии-енгэ узнал только перед самым отъездом. Уснул я уже тогда, когда проголодал первый петух и по деревне прошелся хрипатый звук пастушьего рожка...

Проснулся я где-то около девяти. В открытое окно потоком лилось солнце, неся с собой аромат цветов, молодой листвы и сладковатый запах парного молока... На столе гудел самовар, Гатифа-инэй, выглянув из-за перегородки, улыбочиво заметила:

— Спи, сынок, спи. Такого утра в городе не будет. Утренний сон в молодости сладок... Сама помню...

— Спасибо, мать. Я ведь тоже не отдыхать приехал. Понежился, и будет,— ответил я и, прибрав постель, пошел мыться на улицу. Холодная вода из рукомойника быстро сняла сонливость, взбодрила, обжигая плечи, грудь. Поджаристые блины, щедро смазанные маслом, ждали меня на столе.

— Садись, сынок, таких блинов в городе не отведает — специально намолочила муки из проса...

— Спасибо, — я тепло поблагодарил мою добрую хозяйку. — Мама часто рассказывала мне про деревенские блины, но я никогда таких вкусных не ел.

— Вот теперь верю, что будешь помнить ворчунью хозяйку, — отшутилась Гатифа-инэй. — Блины будешь помнить. Садись-садись, такие блины хороши горячие. Мой младшенький тоже любит их. Поставит чемодан и сразу спрашивает, мама, блины просыные будут? Я говорю, как же, раз приехал офицер!

Я так навалился на блины, что даже не услышал шагов под открытым окном. Только когда раздался девичий голос, я оторвался от трапезы и растерялся — на меня вопросительно смотрела соседка Гульсум.

— Дяденька... Дело у меня к вам... — Белоснежное лицо ее зарделось, черные глаза расширились, словно испугались кого-то. — Я... к вам...

— Гульсум, да не стесняйся ты, говори, — подбадривала ее Гатифа-инэй. — А лучше проходи в избу, попьешь чайку с блинами и обскажешь, что надо.

— Спасибо. Я уж отсюда... Вчера вечером комбайн зацепил ворота Шамсии-енгэ, разбил их, вот надо бы поставить... Вижу, вы так сидите, слыхала, свою работу закончили, вот и решила попросить вас... — девушка опустила глаза, покраснела до мочек ушей. — Она сама никого не попросит, гордая... Да и люди обидели...

— Ах уж этот Тимерьян! Молоко на губах не высохло, а из-за водки сколько беды человеку принес! Ну коли встречу, выскажу ему, не посмотрю, что в женихах ходит и машиной управляет! — погрозила Гатифа-инэй.

— Молодец, что пришла, — поддержал я Гульсум, заканчивая чаепитие. — Мы сейчас мигом поставим ворота, — пообещал я решительно, еще не представляя объема работы.

Пока Гульсум переговаривалась негромко с моей хозяйкой, я мигом рванул за ворота — осмотреть, что же наделали вчера пьяные «удальцы». Велико было мое удивление, когда я увидел Шамсию-енгэ у поваленных ворот. Набросив на плечи шаль, она подбирала куски досок, губы ее что-то шептали. Ве-

терок шевелил белые волосы. Лицо было словно у обреченного человека. Я подошел и громко поздоровался. Старушка ничего не ответила. Она равнодушно посмотрела на меня, подняла с земли поломанную жердину и направилась к дому. Мне показалось, что она ничего не слышит и не видит. Подошли Гатифа-инэй и Гульсум. Они смотрели вслед Шамсии-енгэ жалостливо и беспомощно. Я стал собирать с земли остатки разбитых, поломанных, расколотых досок и складывать у дороги. Оглядел сильно покосившиеся столбы. Они были поломаны у самого основания, и непонятно было, как еще держались на весу. «Доски да жерди можно найти, а где взять столбы для ворот?» — думал я, не зная, с чего начать ремонт ворот. Женщины тоже помогли мне собрать в кучу обломки досок, повздыхали, взглянули на развалюху Шамсии-енгэ и направились домой.

— И правду люди говорят, деньги идут к деньгам, беда никогда одна не приходит, — как бы вслух высказала свое сочувствие Гатифа-инэй. — Ведь пьянчуги не зацепили другие ворота, где мужики здоровые, а непременно надо было сироту обидеть... Окупятся им ее слезы... И слез-то у голубушки уже не осталось, чтоб облегчить душу.

Расстроенный вконец от своей беспомощности, я молча следовал за своей хозяйкой.

Во дворе мы присели на крылечко, а Гульсум, сказав, что придумает какой-нибудь выход, направилась к правлению колхоза. Гатифа-инэй подняла с земли прутик и начала чертить что-то возле своих ног, обутых в войлочные белые чулки, а поверх — блестящие резиновые полусапожки — кэуши.

— Вот я и говорю, беда никогда одна не приходит. Пришла беда — открывай ворота, говорят русские... Я помню, сынок, как Самигулла ставил эти ворота. Как только Шамсия пришла к нему, так он сразу и стал возводить ворота. Видел, наверно, какой толщины столбы? Верст за сто за ними ездил. Дубовые, а время свое берет. Для Шамсии и Самигуллы это были не просто ворота, нет. Это была защита их очага от людей с темной душой. Но эти прочные ворота всегда были открыты совестливым, честным людям. Кстати, эти ворота никогда не были на запоре, никогда во дворе не водились цепные псы, как

у других. Даже когда шалили конокрады и народ страдал от них — то лошадь уведут, то корову, ни замков, ни запоров в этом доме не знали. Под окнами садик разбили, черемуху посадили, березки вдоль ограды... Как сейчас помню, Самигулла до потолка копал глубокие ямы для огромных столбов. Доски, ворота потом несколько раз меняли, а столбы все стояли... Шутка ли сказать — почти шестьдесят лет красовались эти столбы... Ведь для Шамсии-енгэ это не просто вывортили столбы, ворота разбили эти пьянчуги. Они над памятью ее надругались. Она же смотрела на эти почерневшие столбы как на живые, к которым касались руки ее мужа, возле них резвились ее сыновья, когда были малыми, в последний путь ушли через эти ворота самые дорогие ей люди... Пойду-ка я, сынок, навещу соседку, что-то долго она козу не выгоняет, — вдруг спохватилась Гатифа-инэй и легко подняла с крыльца свое маленькое тело. — Уж я понимаю, сердешную, как ей сейчас тяжело... Что же это я сразу-то не подумала об этом!

Слова Гатифы-инэй разбередили мою душу. Я стал думать, как помочь человеку. Время у меня есть, но вот где взять столбы, доски? Нужный инструмент тоже несложно найти в деревне. И я решил, надеясь на человеческую доброту, зайти к бригадиру полеводов, которому я на днях установил телефон, уж он-то не откажет в инструменте, в помощи. Было около полудня, и хозяин должен быть дома.

Я подошел к дому. Навстречу мне от колодца шел улыбающийся Гата-агай. Он умылся холодной водой, и смуглое, загорелое лицо его сияло от удовольствия.

— О-о-о! Кто навестил нас! Проходи-проходи! — повесив полотенце на плечо, бригадир протянул мне сильную руку.

Я коротко сказал о цели своего визита.

— Работа никуда не убежит, а сначала надо подкрепиться. Пройдем в избу. Мы люди простые, деревенские...

По всей избе разносился аппетитный аромат куриной лапши. На столе розовела тушка курицы, обложенная вареной картошкой. Деревянная кружка была наполнена холодным айраном.

От обеда я отказался и подробно рассказал о

случае с пьяными комбайнером и кузнецом. Бригадир ел с аппетитом, как всякий здоровый мужчина, крепко поработавший в поле, и всякий раз кивал мне — соглашался с моими словами. Насытившись, Гата-агай неторопливо вытер вышитым полотенцем руки, громко рыгнул и многозначительно заговорил:

— Ворота, говорите, развалили? Да их развалить не так уж сложно. Поставлены-то были при царе Горохе... — и сытно засмеялся. — Удивляюсь, как они раньше сами не грохнулись! Насчет Тимерьяна вы, конечно, правы, парень он бесшабашный, тут, кстати, комбайн отремонтировали, так сказать, был повод обмыть... Нехорошо, конечно, что зацепил, нехорошо. Я так вам скажу, молодежь у нас пошла неважная...

— Вот и надо заставить его поставить ворота! Шамсия-енгэ, говорят, всех здесь обучила грамоте... Хотя бы из-за уважения к ее старости... Может, вы, Гата-агай, посодействуете достать где-нибудь доски, пару столбов, а мы бы уж как-нибудь миром оградили избу, подправили ее, ворота поставили... Неужели она этого не заслужила?

— Как не заслужила, дружок? Я у нее учился, мои старшие дети учились. А как она интересно вела уроки! Страшно быстро летит время... А вон председатель проехал к себе. Пойдем-ка к нему. Он власть, что-нибудь придумаем. Ему и карты в руки. Кто в деревне не знает Шамсию-енгэ? Да любой про нее доброе слово скажет...

Я слушал и не верил своим ушам. Человек вроде говорил хорошие слова, помнил добро, сделанное учительницей для всей деревни, а так прочно сидел за столом, что не решался пальцем двинуть, чтобы помочь одинокой старой учительнице. Растерянно я спросил:

— А председатель поможет?

— Как же! Святое дело помочь одинокому человеку, да еще такому заслуженному!

Минут через двадцать мы сидели в просторном кабинете председателя колхоза. Успевшее загореть под весенним солнцем лицо председателя расплылось в улыбке, когда он увидел нас.

— Молодец, что решил перед отъездом попрощаться! — сказал он и двинулся ко мне навстречу. —

Отпишем твоему начальству, поработал отлично, дело свое, видать, знаешь по-настоящему. Садись! — И он показал мне на глубокое кресло.

Я сел и, пока Гата-агай говорил, пытался предугадать, что же мне ответит председатель богатого колхоза.

— Он, председатель, пришел к тебе с просьбой...

— Говори, друг, говори, любую твою просьбу выполняю. Ты не можешь понять, что значит для нас телефон! Крутанул ручку — и пожалуйста, любой район, любой начальник, любой нужный человек! А без телефона в наше время все равно что без рук. Так что тебе нужно?

Я, как мог, кратко пересказал историю с воротами Шамсий-енгэ.

Он встал из-за стола, подтвердил справедливость моей озабоченности и, шагая по кабинету, пустился в воспоминания...

— Я ведь учился вместе со старшим сыном Шамсий-енгэ. Жаль, погиб парень. Отличный был джигит...

— Спроси кого угодно, кого война не обожгла? — вставил бригадир. — Вон и мой отец вернулся...

Председатель закурил и спросил бригадира:

— У тебя память молодая, в каком году мы ей орден вручили?

Гата-агай наморщил лоб, поскреб в затылке и сказал:

— По-моему, когда на пенсию провожали. Помнишь, какой пир устроили?

— Тот вечер надолго люди запомнят.

Руководители колхоза так расчувствовались, надо было воспользоваться этим.

— Сами говорите, что человек она заслуженный, пользуется уважением народа, вот и надо бы тогда поставить ей новый дом, окружить вниманием... Сейчас во многих колхозах ветеранов труда окружают заботой... — как мог, многозначительнее сказал я.

Председатель резко вернулся к столу, помрачнел и строго обратился к бригадиру:

— Слушай, когда ты своего Тимерьяна к порядку призовешь? Ведь человек верно указывает на его безобразия. И кузнеца, между прочим, тоже возьми за мягкое место. Мы не позволим обижать ветера-

нов.— И председатель снова встал, протянул мне свою крепкую крестьянскую руку и закончил патетически: — Правильно поступил, товарищ, что зашел ко мне. Мы учтем твоё пожелание. Побольше бы таких неравнодушных людей! Ты, кажется, сегодня-завтра уезжаешь? — Я не успел ответить, а председатель уже заявил: — Ну и отлично!

Бывает в жизни удачное совпадение, что я не уехал ни завтра, ни послезавтра — от начальства получил телеграмму, что командировка продлена на неделю и я должен установить телефоны в домах ветеранов войны и труда.

Дом же Шамсии-енгэ по-прежнему стоял как неподобранный на поле боя раненый солдат. Без ограды, пусть и плохонькой, без ворот изба казалась полной развалюхой и не могла не вызвать сочувствия у каждого человека. Тогда я взял лопату у Гатифы-инэй и решил положить начало — подготовить ямы для столбов, а со временем, может, найдутся селяне, которые помогут достать столбы, доски, гвозди... Шамсия-енгэ несколько раз, проходя мимо, удивленно смотрела на мою работу и ничего не сказала. Даже когда коза — чертова скотина — останавливалась, старуха дергала за веревку и тихо спрашивала: — Ну чего не видела?

На следующий день вечером мне на помощь неожиданно пришла Гульсум с лопатой. Она поздоровалась и сообщила:

— Дяденька, а Тимерьяна оштрафовали... — и покраснела, словно распустившаяся роза.

«Неужели это чистое создание станет женой молодого пьянчуги и балбеса?» — подумал я, и мне стало страшно из-за несправедливости, царящей в нашей жизни. О своих сомнениях хотел было сказать ей, но сдержался: что я знаю об их отношениях?

Мы долго работали молча, потом перекинулись несколькими словами о хорошей погоде, последних песнях, ставших шлягерами... Когда капельки пота бисеринками выступили на ровном, красивом, с чувствительными ноздрями носу Гульсум, я предложил ей отдохнуть. Она выпрямилась, откинула назад пряди черных волнистых волос со лба, приложила ладонь козырьком к голове и воскликнула:

— Ой, кто это к нам идет?

Я вылез из ямы и увидел бухгалтера колхоза — мужика лет пятидесяти. Он нес пилу и топор. Поздоровался со мной и спросил, а где же бревна, доски и вообще стройматериал?

Девушка снова зарделась и, как школьница, сказала, что вот-вот должны ребята с фермы привезти из дальнего отделения столбы, доски — они разобрали заброшенные сараи.

— Тебе бы, доченька, надо быть партийным секретарем! — похвалил бухгалтер. — Молодец, что ткнула нас всех носом... Все видели, все знали, как живет наша Шамсия-енгэ, но никто не догадался ей помочь!

Вскоре стали подходить еще какие-то люди с топорами, пилами, лопатами... А тут подъехал и трактор «Беларусь» с прицепом, нагруженным бревнами, досками. Среди новоприбывших нашлись настоящие плотники, они быстро прикинули, как начать ставить ворота, ограду. Разбили людей по группам, каждому дали задание.

Солнце еще не село, а изба была окружена новым забором и крепкими русскими воротами. Никто не расходился, все ждали возвращения из леса с козой Шамсии-енгэ. Каждый, наверно, думал, как-то старая учительница воспримет нашу работу. За разговором мы и не заметили, как подошла старая учительница. Все обернулись, когда громко заблеяла коза — она, наверно, не узнала своего двора. Ее хозяйка на миг приостановилась, оглядела всех нас и быстро прошла во двор. Мы стояли в недоумении и как-то глупо поглядывали друг на друга. Шамсия-енгэ возвратилась быстро — она держала в руках большой зеленый кувшин, наполненный холодным айраном.

— Спасибо вам, люди добрые... Пейте, пожалуйста, — и, вздрагивая сухими плечиками, снова ушла во двор, там ее звала коза, требуя освободить наполненное молоком вымя.

Откуда ни возьмись на черной «Волге» подъехал председатель колхоза. Вылез устало из машины, прошелся вдоль забора, попробовал качнуть столбы и спросил неизвестно у кого:

— Где взяли стройматериалы?

— На брошенных отделениях. Уж столько лет

там гниют пустые дома... — робко ответил кто-то из парней.

— Кто разрешил гонять трактор?

— Никто не гонял... Туда мы отвезли доярок, бидоны, а оттуда вот привезли бревна... — ответил тот же голос.

И тут председатель увидел меня.

— Ба! Оказывается, и ты здесь! Говорил же, что все уладим, не дадим в обиду нашу Шамсию-енгэ! — и притко скрылся в машине.

После его отъезда снова все заговорили бодро, весело. А Гульсум возбужденно сказала:

— В моей жизни сегодня самый красивый день!

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

- 4 Перекаты
68 В час заката

РАССКАЗЫ

- 186 Проселок
208 Орден
224 Парень в белой кепке
240 Человек жив надеждой
253 Счастье приходит пешком
265 Самый красивый день

Денис Мударисович Буляков

ПЕРЕКАТЫ
Повести и рассказы

Редактор Е. Корнеева

Художник С. Астраханцев

Художественный редактор А. Дианов

Технические редакторы В. Соколова, В. Тушева

Корректоры Г. Голубкова, Н. Лин

ИБ № 5075

Сдано в набор 10.11.87 Подписано к печати 12.02.88. Формат
84x108/32 Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип. № 2.
Усл. печ л. 15,12. Усл. кр.-отт. 15,12. Уч.-изд. л. 15,37.
Тираж 50 000 экз. Заказ 701. Цена 1 р. 40 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза
писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома
Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полигра-
фии и книжной торговли
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30